

25

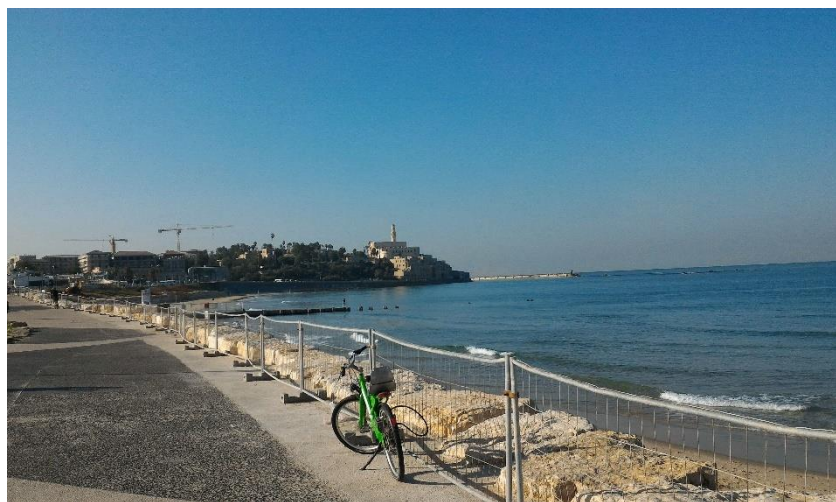
АРТИКЛЫ

АРТИКЛЫ

25

Израильский литературный  
журнал

# АРТІКЛЪ



**№ 25**

Тель-Авив

2023

**מעלות**  
המרכז למורשת יהדות ברית המועצות

# СОДЕРЖАНИЕ

## ПРОЗА

<b>Мадина Тлостанова.</b> «Вересковый рай».....	4
<b>Карина Муляр.</b> Фотография королевы.....	19
<b>Елена Дьячкова.</b> Предел мечтаний.....	23
<b>Давид Маркиш.</b> На Том берегу.....	33
<b>Урмас Соос.</b> Внутренняя логистика.....	40
<b>Аль Затуранский.</b> Наследники и братья .....	60
<b>Святослав Марковец.</b> Шаг от природы творящей до сотворенной.....	85
<b>Александр Борохов.</b> Холодное лето 63-го (два рассказа)	104
<b>Давид Шраер-Петров.</b> Сочи.....	110
<b>Яков Шехтер.</b> Янкл-магид.....	119
<b>Михаил Юдсон.</b> Остатки.....	135

## ИЗРАИЛЬСКАЯ ЛИТЕРАТУРА НА ИВРИТЕ СЕГОДНЯ

<b>Менахем Тальми.</b> «Сами поднимает всё» (два рассказа)..	139
--	-----

## АРФА И ЛИРА

Произведения современных азербайджанских авторов

<b>Афаг Масуд.</b> При последнем издыхании.....	152
---	-----

## ПОЭЗИЯ

<b>Анна Гедымин.</b> Посильная милость .....	167
<b>Ольга Аникина.</b> Нота бене.....	172
<b>Ирина Маулер.</b> Лимоны на столе.....	177
<b>Юлия Драбкина.</b> Привыкая к войне.....	181
<b>Елена Кепплин.</b> Ставь на черное.....	185
<b>Олег Шварц.</b> Человек-невидимка.....	192
<b>Марк Котлярский.</b> Москва, Отрадное.....	196
<b>Андрей Ширяев.</b> В потоке слов.....	201
<b>Геннадий Каневский.</b> В отражённом свете.....	207

<b>Евгений Сельц.</b> Пополам с неделимым.....	211
<b>Игорь Губерман.</b> Свежие гарики.....	218

### **НОН-ФИКШН**

<b>Афанасий Мамедов.</b> Шебеке.....	224
<b>Давид Шехтер.</b> Не ходите, дети, в Африку гулять.....	254
<b>Владимир Ханан.</b> Воспоминания о Покотиловском млыне.....	264
<b>Малка Корец.</b> Туда и обратно ( <i>как я в иудаизм ходила</i> ).....	280
<b>Шимон Хубербанд.</b> На краю бездны.....	295

### **ХРОНИКА ТЕКУЩИХ СОБЫТИЙ**

#### **В ИЗРАИЛЬСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ**

<b>Андрей Зоилов.</b> «Понаехали тут...», или Литература и алия.....	303
<b>Дневник событий русско-израильской литературы Январь-март 2023.....</b>	312

### **БОНУС ТРЕК**

<b>Феликс Чечик.</b> За столом.....	318
-------------------------------------	-----

На титульной странице: «Тель-Авивская набережная. Вид на Яффо». Фотоиллюстрация к рассказам Менахема Тальми на стр. 139.

# ПРОЗА

Мадина Тлостанова

## «Вересковый рай»

*«Остаётся только окно, большое окно мебелишек в Блумсбери; скучное, хлопотное, мелодраматическое предприятие – открывать окно и выбрасываться...»  
Вирджиния Вулф «Миссис Дэллоуэй»*

Утром мы нашли Сержа. Жалобно жужжащее инвалидное кресло не привезло его, как обычно, к завтраку. Не появился он и на йоге, и мы с Нильсом заволновались и пошли его искать. Долго стучали в узкую белую дверь на пятом этаже особого корпуса для психических. На ней был маленький глазок, замазанный серой блескучей краской. Никто не открывал. Потом появилась густобровая сиделка Исабель со своим ключом. Из освещённого солнцем коридора мы шагнули в тёмную, затхлую комнату, пропитанную стойким запахом персикового дезинфектанта, которым здесь щедро поливали все поверхности. У меня закружилась голова, и я бы не устояла на ногах, если бы Нильс не поддержал меня и не помог сесть на плетёный ивовый стул с чопорной прямой спинкой. Я подняла глаза и увидела, что над узкой и глубокой кроватью Сержа, напоминавшей не то колыбель, не то гроб, висели вытянутые спортивные брюки и толстовка, сохранившие форму тела хозяина. Казалось, что Серж стал невидимым и бесплотным, но всё равно незримо присутствует внутри своей пустой одежды, напоминавшей сброшенную насекомым оболочку. От неё веяло хитиновой смертью. На полу валялись красные кеды и бейсболка. Я сразу почувствовала неладное, подошла к открытому окну и посмотрела вниз, как много лет назад, когда из окна десятого этажа я вот так же увидела внизу маленькую фигурку, вскинувшую руки к небу и затем медленно осевшую на землю.

Серж, как видно, дождался ночи, забрался на полуразрушенную башенку над самым последним техническим этажом и прыгнул вниз, но, не долетев до моря, приземлился прямо на ощетилившиеся скалы, сквозь

которые пробивались какие-то колючие растения. Это был северный, одичавший склон за границами территории центра. Там было, в общем-то, совсем не высоко, и он бы мог и не разбиться насмерть. Но нашему приятелю повезло, и острый камень угодил ему прямо в висок, так что всё было сразу кончено. В ржавой проволоке, протянутой по периметру, оказалось довольно много отверстий, и мы легко выбрались наружу, но всё равно нам с Нильсом стоило большого труда добраться до его тела через вересковые заросли. Видимо, Серж был не первым, кто выбрал этот путь. Рядом валялись армейская фуражка неизвестной эпохи и стоптанные синие детские эспадрильи. Чуть поодаль я нашла куклу. Один глаз у неё был зажмурен, и в прошлом она, вероятно, перенесла жестокую трепанацию черепа.

В той книге без обложки, что я нашла на своём подоконнике и читаю вот уже много недель, описан всего один день из жизни женщины. Я не могу отделаться от мысли, что уже читала эту книгу. Я уже знаю, что женщина сама пойдет за цветами, потому что вечером у неё гости, я смутно помню, что она будет размышлять о своей жизни, встречать разных людей, вспоминать о прошлом, слушать звон башенных часов, отмеряющих жизнь и смерть. И есть там ещё что-то, о чём не написано прямо, ну, или почти не написано. И это что-то и заставило меня сначала проглотить книгу за одну ночь, а потом возвращаться к ней снова и снова. Хотя я так и не вспомнила её автора. Героиня радуется тому, что выжила. Бледная и искорёженная болезнью, лишившаяся доверия к своему надорванному сердцу, она ощущает жизнь по-другому, потому что стояла слишком близко к смерти. Нет, это не просто животная радость выживания. Она навсегда отмечена знанием о небытии и при этом прекрасно сознаёт, что мир несовершенен и несправедлив. Но в ней всё же есть непосредственное и сиюминутное ликование при встрече с жизнью, природой, городом, людьми как они есть.

Кстати, вы знали, что Аполлинер выжил на войне, но умер от испанки? Возможно, это как раз то, чего мне не хватает. Я не могу вернуть себе радости жизни, я не могу нащупать то, ради чего стоило бы жить.

Случайно я услышала, как сестра говорила обо мне по телефону: «Для Лили всё закончилось, в общем, неплохо. Поражение лёгких у неё было всего пятьдесят процентов, и уже через неделю её выписали. Она даже вышла на

работу. Ну, бледная немного, ну, одышка. Но главное, что жива». Лора ещё что-то говорила про диссоциативный синдром, но я её уже не слушала. Мне теперь трудно сосредоточиться на чём-то дольше нескольких секунд, да и говорит она вроде бы обо мне, но как бы и нет.

- Лили, иди завтракать!

Ноги послушно несут меня на кухню, но сама я за ними не поспеваю. Чёрт, я не знаю, как это объяснить словами. Я не поспеваю за собой.

- Лили! Ты зачем кладешь сливочное масло в кофе? Ты что, забыла: его надо мазать на хлеб. Сядь, пожалуйста. Я тебе сейчас сделаю бутерброд.

Сегодня я играю впервые после выписки из больницы. Роль небольшая, короткий монолог в минипьеске. Но меня гложет какое-то предчувствие. Так, сфокусируйся на отражении в зеркале. Это ты. Надо сосредоточиться и вспомнить, как наносить грим, и лучше всего это куда-то записать, чтобы можно было подсмотреть, что за чем следует. Какой мерзкий дребезжащий звук. Что это? Воздушная тревога? Пожар? Война? Звук прекращается, чтобы смениться хрипловатым голосом:

- Лили, твой выход через пять минут. Почему ты не в кулисах? Немедленно приготовься.

Потом какая-то девушка, чьё лицо мне было знакомым, но имени я решительно не могла вспомнить, вытолкнула меня на сцену, а двое в чёрном бесшумно помогли мне занять место в ящике в кромешной темноте и прикрепили к моей повернутой набок голове огромную куклу, чтобы казалось, что я вишу вниз головой и произношу свой монолог летучей мыши. Когда моё лицо осветил луч прожектора, я была уже совершенно спокойна, и голос зажурчал легко, практически без моего участия: «Я – не одно и не другое, существо, которое не может примкнуть ни к первым, ни ко вторым, у которого нет друзей, нет дома. Вот тогда я и начала сосать кровь. Раньше ела только насекомых, но потом подумала, если я буду сосать кровь, то всосу в себя квинтэссенцию кого-то и стану кем-то. Но этого не происходит. Вши, клещи, блохи, комары, - никто не хочет признавать меня своей. Поэтому я нашла пещеру и просто вишу головой вниз. Не знаю, почему. Может, это какой-то экзистенциальный протест». И тут я замерла и замолчала. Я покрылась холодным потом, и шея заняла от неудобной позы. Я откуда-то знала, что до конца монолога осталось совсем чуть-чуть. Но вернуться к нему не могла. Я

не просто забыла слова. Это со всеми бывает. Я вообще не понимала, что я делаю на сцене и как там оказалась. И что самое ужасное, меня вдруг стало клонить в сон, да так сильно, что я с трудом сдерживала зевоту. Быстро дали занавес, уволокли меня прямо в ящике, вместе с волочившейся куклой за сцену, и не докуривший сигарету бабуин из следующей пьески был вынужден начать своё выступление раньше обычного.

В театре меня пожалели и дали отдохнуть ещё две недели, а потом ещё две, но следующая попытка оказалась столь же неудачной. Я не просто забыла слова, а потеряла ориентацию, оступилась и упала куда-то в первые ряды партера на ничего не подозревавших зрителей. После этого я совсем потеряла уверенность в себе, и мне стало казаться, что я вовсе не знаю, кто я, что если я выйду из дома одна, то непременно потеряюсь и не найду дорогу назад. Однажды я забрела в парк и присела на скамейку, задумалась минут на десять, а очнулась, когда уже была глубокая ночь. Хорошо, что у меня был телефон, и я позвонила Лоре, чтобы она меня забрала, хотя долго не могла ей объяснить, где нахожусь. Даже поход в супермаркет через дорогу становился испытанием, потому что в какие-то моменты мне вдруг начинало казаться, что время течёт вспять, и я знаю, ощущаю, что случится в будущем, но не знаю прошлого, даже совсем близкого. Я слышала хруст костей, визг тормозов и ощущала пульсацию крови из раны, которой не было. В результате я застывала у перекрестка, не в силах продолжить свой путь.

Лора похлопотала, и мне дали путёвку в недавно открывшийся реабилитационный центр «Вересковый рай». Так я и оказалась на этом крошечном полуострове в Каталонии. Центр был наскоро подремонтирован после нескольких десятилетий запустения. Но от его некогда привлекательных зданий веяло унижением и страданием. Мне досталась угловая комната с обветшалым балконом, с которого открывался умопомрачительный вид на бухту и пляж. Правда, подходить близко к перилам было нельзя, потому что их-то укрепить забыли или не успели. И едва опершись на слоистую, осыпавшуюся балюстраду, можно было легко оказаться внизу, на скалах. Я научилась выглядывать с балкона, не касаясь перил. И у меня даже появилась сине-зелёная приятельница ящерка, которая по ночам пряталась в глубоких трещинах балконных балясин, а днём грелась на перилах, подрагивая хвостом. Когда-то в



этих комнатах, вероятно, стояли в ряд железные ярусные кровати, но теперь постояльцев поселили с большим комфортом, и только ржавые крюки в стенах да забытое деревянное распятие под потолком напоминали о прошлой жизни.

В «Вересковом раю» заведен чёткий распорядок дня. Завтрак, затем щадящая йога с дыхательными упражнениями, прогулки в парке, где и впрямь много вересковых зарослей, столь благотворных для болезней лёгких, солнечные ванны на тихом пляже, почти всегда защищённом от морского ветра, специальный массаж, физиотерапия, невообразимо долгий тихий час, обед на веранде. Здесь-то ко мне и подсел бледный человек в зеленой толстовке с надписью «We were very tired, we were very merry». Строка моего любимого стихотворения сразу же растопила между нами лёд. Хотя я долго не могла вспомнить имя автора и звучное название произведения. Вместо имени и названия я вдруг услышала глухой, хрипловатый голос, всякий раз безошибочно продолжавший начатые мною строки, пока мы не сошлись в рефрене: «Мы были усталы. Веселы мы были». В гулких стенах опустевшей библиотеки мы обменивались строчками, как теннисными мячиками, пока охранники не выключили свет и не вытолкали двух последних посетительниц с сумасшедшими глазами в пропахший прелой листвой сентябрьский вечер. Темнело ещё поздно, около восьми, и река с её бензиновыми пятнами и выгнувшими спину мостиками была всё равно прекрасна. Вместо парома мы катались на голубом облупленном прогулочном парходике, возможно, последнем в том сезоне. И мне казалось, что я была абсолютно свободна, и было возможно всё, что угодно, какая-то другая жизнь, которая не случилась, потому что пару лет спустя мою спутницу застрелил снайпер с крыши соседнего дома.

Бог знает, сколько времени я молчу и смотрю на буквы на толстовке соседа по столику. Впрочем, его это, кажется, не беспокоит. Я заметила, что отношения здесь вообще донельзя простые. Люди сходятся быстро, как в купе поезда дальнего следования или прежде - на водах. И ещё, этот любитель стихов Миллей – вот, наконец-то, я вспомнила имя автора, и впрямь выглядел усталым, но никак не весёлым. И немного сонным. Казалось, что мы все здесь забыли, как улыбаться, у нас словно атрофировались

мышцы, отвечавшие за улыбку, и мы превратились в ходячие карикатуры смерти.

- Вы не против? Я знаю, что свободных мест много, но здесь, в углу, меньше тянет сигаретным дымом, и мне нужен ваш совет.

- Дымом? Это вряд ли, здесь запрещено курить. Вам показалось. Но, конечно, садитесь.

Незнакомец робко уселся на самое дальнее от меня место за столиком и тревожно повёл носом, как охотничья собака. Потом едва заметно кивнул головой, будто отвечал сам себе на какой-то вопрос, и пересел на стул поближе.

- Вы не могли бы мне сказать, чем пахнет салат?

- Как это чем?

- Ну, опишите, чем он пахнет и какой он на вкус?

- Ну, я не знаю. Обычный средиземноморский салат.

Я стала догадываться, почему он спрашивает.

- Салат пахнет напитанными солнцем розовыми помидорами и сладким красным луком, хорошим прованским маслом и слабосолёными оливками этого года, и, конечно же, травами, а в соусе я ощущаю морскую соль и свежий молодой чеснок, растолчённый в ступке с грецкими орехами и чёрным перцем. Так что я бы сказала, что салат - это сладко-горько-пряное удовольствие.

- А запаха гнили нет? Совсем? Ну, примнохайтесь, пожалуйста!

- Нет, совсем нет.

- Я так и думал. А что вы можете сказать о мясе?

- Бифштекс вполне приличный. Слегка жестковат, но пахнет вполне достойно.

- А мертвечиной он не отдаёт? Знаете, такой сладкий запах, замаскированный хлоркой?

- Бог с вами! Вы что, веган?

- Нет, я был всегда мясоедом. Я, знаете ли, работал шеф-поваром, пока не заболел. Меня зовут Нильс.

- А я Лили.

- Лили, а вино, скажите скорее, оно не пахнет аммиаком? Утром я попробовал брют за завтраком, и он был омерзителен, просто какая-то жидкость для снятия лака.

- У вас пропало обоняние?

- Нет, не пропало, а наоборот, обострилось и исказилось! С работы пришлось уйти. И с женой мы разъехались. Мне чудится, что от неё пахнет протухшим луком. И если мы спим рядом, меня прямо мутит.

- Так вы поэтому ко мне примнохивались?

- Ну да. Я боялся. Но от вас пахнет перезревшим абрикосом. А это не так уж и страшно.

- Вы меня успокоили!

- Простите, но если вы всё прекрасно чувствуете и ощущаете настоящие вкусы, то что же привело вас сюда?

- Я всё забываю. Я могу потеряться и забыть дорогу домой. Время для меня течёт медленнее и не всегда в ту сторону, в которую надо. И главное, я забываю слова на сцене и не могу даже вспомнить, в какой я пьесе! Я, видите ли, актриса.

- Как печально. Я даже не знаю, что хуже. И заметьте, ни вы, ни я не сможем вернуться к своей работе, если не вылечимся. Но мы ведь непременно вылечимся, не правда ли?

На последней фразе голос его дрогнул, и вместо того, чтобы закончить её с повышением тона, как подобает вопросительному предложению, он вяло остался на той же монотонной ноте, как будто не способный ни задать вопрос, ни отважиться на утверждение. Мне стало тоскливо.

После обеда вместе с новым знакомым мы отправились гулять в дальнюю, заросшую вереском часть полуострова. Там были какие-то странные постройки, которые явно не успели восстановить и облагородить к открытию постковидного профилактория. Одно здание было когда-то выкрашено в розовый цвет и украшено настенной росписью. И хотя краска давно облупилась, всё ещё можно было разобрать изображения детских лиц и большого костра. Внутри мы обнаружили заброшенную столовую и кухню, уставленную огромными, пыльными и кое-где тронутыми плесенью чанами и котлами. Над проржавевшей плитой была панель управления, и рука моя сама потянулась к тумблеру. Раздался скрежет. Потом зажгётся холодный мигающий свет.

- Лили, это вы? – крикнул мне Нильс из соседней комнаты.

- Да-да, я тут нажала что-то. Простите!

Тут свет окончательно погас, раздалось неприятное жужжание, а из столовой послышался гомон множества голосов. Мы подошли поближе к раздаточному окну и заглянули в тёмный пустой зал, из которого, тем не менее, отчётливо доносились детские крики, смех и возгласы.

- Что это? Вы слышите?

- Да, слышу, да ещё запах.

- Запах?

- Ну да, здесь мерзко пахнет горелой манной кашей с какой-то сладковатой примесью. Вы не чувствуете?

- Нет, я только слышу запах пыли и тлена. Но что это за звуки? Может, магнитофонная запись?

- Да нет же, здесь варили манную кашу.

- Я не буду есть кашу, в ней черви, - произнёс вдруг отчётливо детский голосок прямо у раздаточного окна.

- Ты будешь, тварь, не то я выброю тебе пять стрел и ярмо на твоей безмозглой макушке, - прошипел кто-то взрослый. Потом послышался глухой удар и звон разбитой тарелки.

- Марш в процедурную на прививки. Живо!

Мы застыли в ужасе, прислушиваясь к всхлипам, удалявшимся куда-то вглубь здания. Потом звуки стихли, но в тёмной столовой на полу обнаружилась странная лужица непонятной жижи с несколькими алыми каплями в центре и кривые медицинские ножницы, похожие на щипцы. Не сговариваясь, мы с Нильсом помчались прочь из розового здания, и когда выбрались в сад, оказалось, что уже пора идти на ужин.

К нам за столик посадили ещё одного выздоравливающего. Его звали Серж. Сержа привезли на инвалидном кресле и сгрузили за наш столик. Он был явно заколот какими-то препаратами, потому что плохо реагировал на происходящее, и глаза у него почти не фокусировались. Я тихонько спросила медсестру, что с ним такое. И она так же шепотом ответила мне, что он слышит голоса, впадает в психотическое состояние и становится опасным для окружающих и самого себя. И поэтому ему делают инъекции аминазина. Потому что раньше у них уже было два таких пациента, и когда уже казалось, что им стало лучше, оба покончили с собой. Один выпал из окна, возможно, и по неосторожности, а второй перерезал себе вены.

Впрочем, когда она ушла, взгляд Сержа сразу стал более осмысленным, и он сообщил нам, что до болезни был известным блогером, писал на разные темы. и его идеей фикс были жестокие медицинские эксперименты и насильственные формы лечения прошлого века, которые нередко выдавались за новаторские методы и унесли жизни множества людей. Он и теперь готовил статью о нашем профилактории, и по ночам потихоньку пробирался в местную библиотеку в поисках материалов о детях – носителях палочки Коха и тех, кто был уже в начальной

стадии туберкулеза. Их посылали сюда для длительного профилактического лечения и предотвращения прогрессирования болезни. Но это была только официальная история. Тогда как на самом деле... Серж выдержал драматическую паузу и тут же закашлялся, и стал лихорадочно искать ингалятор. Между его спазмами мы только и успели услышать: «Репрессированы..., режим Франко..., сироты и беднота». В это время принесли крембрюле, и мы так и не узнали, что на самом деле творилось в этих стенах раньше.

Серж работал медленно, его мучили одышка и тахикардия, иногда у него немели руки, и было трудно печатать. И главное, накатывали странные приступы тоски, сменявшейся ажитацией. Он метался по коридорам, вспрыгивал на столы и подоконники, и уже дважды пытался вскрыть себе вены. Тогда его и закалывали аминазином, что, конечно же, надолго выбивало из колеи нашего товарища по несчастью. Впрочем, что значит долго или быстро, мне сказать сложно. Я даже не знаю, сколько времени мы провели в нашем центре. Часов-то здесь нет, дни похожи один на другой, делать зарубки мне пришлось в голову слишком поздно, а провалы в памяти не позволяют осознать ход времени или то, что мы за него принимаем.

Каждый день после тихого часа у нас свободное время. И мы вовсю занимаемся реабилитацией - парами или небольшими группами, хотя есть и одиночки, но они, как правило, ломаются первыми, уходят в себя, перестают разговаривать. В нашей троице, безусловно, верховодит Нильс, а мы с Сержем следуем его предписаниям. Со мной Нильс занимается мнемоническими упражнениями. Мы учим наизусть стихи и потом читаем их друг другу в форме диалогов. Мы играем в города и разгадываем шарады. Сегодня он просил меня заканчивать известные пословицы и поговорки, а я в это время пыталась вспомнить, о чём мы говорили вчера вечером, выбравшись тайком после отбоя на нашу секретную скамейку у моря. Я знала, что это было что-то важное и тревожное, но что именно, вспомнить не могла. Вместо этого у меня в мозгу крутилась Бог знает где услышанная фраза, произнесенная хорошо поставленным дикторским голосом со всеми цезурами и правильной интонацией: «*Juniperus Sabina* – это род можжевельника, красивое растение с ядовитыми ягодами-шишками, которые издревле используются в народной медицине, поскольку можжевельник очищает воздух, испаряя в огромных

количества фитонциды, от которых погибают болезнетворные организмы».

- Лучше синица в руке...

- Чем две в кустах.

- Ну да, почти, смысл тот же. Убить двух зайцев...

- Одним камнем.

- Выстрелом! Ты путаешь разные языки. Не ходи со своим уставом...

- В Рим.

- Ну вот, ты опять! Давай ещё попробуем. Если что-то пообещал...

- Полезай в кузов!

- Ну, Лили, перестань! Последний раз попробуем. Те, кто живут в стеклянных домах...

- Не должны разглядывать чужие соринки! Или там были брёвна? Не помню. Давай лучше потренируем твой нос.

И я доставала тёмные стеклянные флакончики с эфирными маслами, и терпеливо подставляла Нильсу под нос то один, то другой.

- Ты помнишь, как чудесно пахнет бергамот? Он немного терпкий и одновременно свежий, цветочный и чуть-чуть лимонно-апельсиновый, но не совсем, и есть в нём какая-то своя особая нота, которую сразу узнаёшь и в чае, и в духах. Теперь понюхай масло и вспомни, как оно должно пахнуть.

- Прости, но пахнет какой-то гнилью, как будто сгнила луковица в подсобке.

- Давай ещё попробуем. Вот можжевельник. К этому запаху ты уже должен бы привыкнуть, мы же живём в можжевелевом санатории. Я купила это масло на местной ярмарке, и оно сделано из того самого вереска, которым зарос весь наш полуостров. Ты только вдохни – какой живительный, целительный запах. Он вовсе не тонкий, наоборот, это хвойный, едкий и смолистый запах. Говорят, он хорошо убивает микробы.

- По мне, так пахнет скипидаром. У моего брата, художника, всегда стоял такой запах, он растворял скипидаром краски.

- Отлично! Это уже прогресс. Можжевелевое масло и должно пахнуть скипидаром! Так мы скоро перейдем к еде и начнём настраивать твоё восприятие запаха кофе.

На подоконнике моей комнаты обнаружилась книга. Как она сюда попала – ума не приложу. Может, кто-то принёс, а может, я сама взяла её в библиотеке и забыла. Вообще, я заметила, что мои провалы в памяти стали разрастаться

метастазами с тех пор, как я сюда приехала. Раньше это были узкие прогалины между покрытыми льдом кочками моей прежней реальности, и я умудрялась как-то перепрыгивать с кочки на кочку, не попадая впросак. Но теперь прогалины превратились в ручьи и реки. И их уже не перепрыгнуть и не перейти вброд. Вчера утром, увидев своё враз поседевшее отражение в зеркале, я почему-то испугалась и вскрикнула. Умом я понимала, что это я. Но при этом не узнавала своих черт, и мне стало страшно, и показалось, что моё «я» вселилось в чужое тело, которое помнит иномирную потусторонность. Говорят, так бывает с людьми, пережившими клиническую смерть. Они как бы навечно застывают в промежутке между жизнью и смертью.

А книга с оторванной обложкой, так что автора не определить. Но на последней странице сохранился картонный библиотечный кармашек с жёлтым талончиком, из которого явствует, что со времени издания в 1925 году, книгу брали почитать лишь дважды – в 1939 и 1956. Что бы это значило? А сейчас вообще какой год? Я стала лихорадочно искать какую-нибудь газету с сегодняшней датой или телевизор с новостями. Но вскоре поняла, что здесь нет не только часов, но и телевидения, и радио. Это один из невидимых, но жёстких принципов нашего центра. Интернет есть, но он какой-то странный. Мне кажется, кто-то следит за тем, чтобы до нас доходили только определённые новости. На днях Серж шепнул нам за полдником, что нашёл способ обойти препоны и попасть в настоящий большой интернет.

- И что же ты там нашёл? – спросил Нильс, тщательно изображая интерес. Но я-то знаю, что ему уже давно ничего не интересно. Много недель Нильс ест только рис и овсянку, пьет простую воду, и всё время ожесточённо трёт себя мочалкой под душем, так что кожа у него истончилась и покрылась сосудистой сеткой. Ему всё кажется, что от него пахнет гнилой рыбой, и он не может больше ни на чём сосредоточиться. И всё же он делает над собой усилие и изображает внимание и участие. Чтобы не было так страшно.

- Я слышал трансляцию выступления президента ВОЗ. И, скажу я вам, это была неутешительная речь. Мы больше не интересны медицине, как, впрочем, и нашим государствам, международным организациям и родственникам. По всему миру сейчас работают комиссии. Они определяют, кто полностью восстановился и

заслуживает быть допущенным к дальнейшей жизни. А такие, как мы с вами, - причём, судя по всему, нас очень много, - так вот, такие как мы... Словом, слишком дорого обходятся. Тем более что это новая болезнь, и никто не знает, возможна ли после неё вообще полная реабилитация. В общем, всё посчитали и решили нами специально не заниматься. Это невыгодно. Родственники написали отказы. Нас заочно лишили гражданства, и у всех нас есть теперь только электронные документы постковидных синдромников. Отныне это наша единственная идентичность. По всему миру спешно открыли такие вот центры, переделанные из бывших заброшенных пионерлагерей, туберкулёзных больниц и санаториев, лепрозориев и психушек. Самые известные – больница «Уэверли Хиллс» в Луисвилле и остров Возрождения в высохшем Аральском море, чумной госпиталь, а затем психбольница на острове Повелья близ Венеции, санатории «Дю Базиль» в Бельгии и «Стейт Парк» в Южной Каролине. В общем, друзья мои, если не от последствий ковида, - мы с вами рискуем умереть от туберкулеза, тифа или чумы, которые несколько десятилетий дремали в ожидании своего звёздного часа. Шучу!

- И что, нас не будут реабилитировать? – послышался сухой и монотонный голос Нильса, всё больше напоминавший дикцией и интонациями голос глухого человека.

- Да что вы, с нами поступят так же, как когда-то с подозрительными иммигрантами на острове Суинберн в Нью-Йорке или с тифозными больными на Крысином Острове всё там же. Нас будут здесь держать, не выпуская в большой мир, пока мы не умрём. Нас как бы случайно забудут. Вот увидите, сначала будут хуже кормить, потом ограничат доступ к воде. Кстати, вы знаете, что на этом полуострове всегда были проблемы с пресной водой? Вот так, потихоньку, глядишь - и крематорий не за горами. Нам ещё повезло, что мы на юге, и здесь относительно тепло даже зимой. А как быть тем, кого оставят доживать в бывшей инфекционной больнице «Риверсайд», где когда-то содержалась тифозная Мэри? Уже теперь там холодно, а отопления нет.

- Ну что вы несёте?! – возмущается Нильс. - Наши родные заплатили за реабилитацию, и никто с нами ничего не сделает. Мы живём в правовом обществе.



- Разумеется, но это было ещё до решения оставить нас, так сказать, за бортом. Уехать мы отсюда не можем, деньги скоро кончатся. Родным скажут, что заботу о нас возьмёт на себя ВОЗ или ещё какой-то фальшивый международный институт, но на самом деле...

Серж говорил что-то ещё, но мне трудно теперь удерживать внимание дольше, чем в течение нескольких секунд, слова расплываются и висят каким-то облаком над головой, не проникая в сознание. И всё же, я думаю о том, что сказал Серж, вот уже несколько дней, а может, и недель. Пока мне трудно осознать, что вся моя оставшаяся жизнь пройдет в этом «превенторио», я найду последнее успокоение в местном крематории, и моим прахом удобрят каталонскую каменистую почву. Неожиданная развязка сюжета и не слишком весёлая. Она явно не подходит для пьесы или фильма. Я бы не хотела играть в них главную роль.

Какие странные отметки на этой старой скамье. Кто-то вырезал их перочинным ножом Бог знает когда. Мне кажется, они отмечают оставшиеся сроки заключения в вересковом раю. Среди одинаковых зарубок - пара-тройка жирных единичек, с нацарапанными сверху разъяснениями: музей, развалины амфитеатра, зоопарк, и в конце срока - маленький флажок. А рядом с флажком - череп и скрещенные кости. Рука моя машинально гладит круглый белый камень, найденный на морском берегу. Всё тело трясёт мелкой дрожью. Холодно! Кутаюсь в сырой плед. Становится ещё хуже.

- Лили, вот ты где! Я ищу тебя по всему санаторию. Погода испортилась, вот уже шесть часов бушует шторм, почему ты здесь сидишь на ветру? Простудишься. Пойдём!

Слова Нильса с трудом доходят до меня, я слышу их нечётко, будто уши у меня заткнуты ватой или я нахожусь под водой. Но он уводит меня прочь с этой скамейки, где я точно помню, у нас был запланирован какой-то важный разговор. Только какой?

Мы снова заняты нашими тренингами. Это единственное, что склеивает воедино мою теперешнюю реальность, не даёт моему миру рассыпаться в пыль.

- Нильс, скажи мне, какой запах и вкус ты бы больше всего хотел почувствовать снова?

- Не знаю, право; наверное, запах и вкус сочного яблока, откушенного на морозе. Это не передать словами. А может быть, душистый запах донника в свежескошенном сене.

- А я хочу просто оказаться в прошлом. Там мне было бы лучше. В детстве, например, когда ты безумно счастлив и непоправимо несчастлив одновременно, и мир как-то чище красками, хотя и страшнее. Вот я совершенно не помню, как я сюда попала, я не помню, как лежала в больнице, какие роли играла в театре до болезни. Но когда я закрываю глаза, - вижу огромный заснеженный парк, старые деревья, голубые ели, чашу озера у подножья невысокого, поросшего чинарами холма. Я несусь с крутой горки на коньках, мне семь лет, не больше, и я абсолютно счастлива и свободна. Мне даже кажется, что в следующую минуту я взлечу. А внизу меня ждёт отец. Он нервничает, что я могу упасть, но виду не подаёт. И всё заканчивается благополучно, и на какое-то мгновение мне кажется, что так будет всегда.

В моём теперешнем полусонном и клочковатом существовании я и не заметила, что нас перевели в другой корпус. Когда - не спрашивайте, я всё равно не вспомню. Теперь у меня комната поменьше, нет балкона, и кровать такая же узкая и глубокая, как у Сержа. Интернета и библиотеки здесь вовсе нет в целях создания ещё более спокойной атмосферы для пациентов. Упражнения и тренировки сведены до минимума, остались только прогулки и солнечные ванны, да иногда уколы на ночь. Мы по-прежнему встречаемся с Нильсом в столовой, где уже трудно отличить завтрак от ужина, потому что в основном нас кормят манной кашей на воде, правда, пока без червей, и поят отваром шиповника и валерьяны. Мы почти не разговариваем. Впрочем, можно и вовсе не выходить из комнаты. Сегодня я так и сделала. Весь пасмурный день я провела за чтением. И завтрак мне принесли сюда же. Он едва заметно, но ещё ухудшился. Сегодня это была комковатая каша с отвратительным запахом и желудёвый напиток с овсяным молоком. А может, это был и обед или даже ужин. Я почти не встаю с постели и часто проваливаюсь в дрему, и потом долго не могу понять, что теперь, утро или вечер. А в промежутках я всё читаю книжку с оторванной обложкой. Возможно, я уже об этом говорила. Я решительно ничего не помню.

Посреди ночи меня разбудил негромкий стук в высокое и узкое окно моей комнаты на четвертом этаже. Было холодно и не хотелось вылезать из тёплой постели. Но стук не прекращался. Прямо в пижаме я подошла к окну и стала вглядываться в темноту. Никого. Стук повторился. С

трудом, но разошедшаяся деревянная рама мне всё же поддалась. В комнату немедленно просочилось холодное и сырое дыхание ноября, а вместе с ним и тихий детский голос: «Вставай, тебе пора отсюда. Не то они тебя погубят. Я покажу тебе, как уйти. Но только сначала дай мне воды. Я всё время хочу пить. А в источнике минеральная вода слишком солёная, она не утоляет жажды». Голос был бестелесный и монотонный, и каждая фраза завершалась каким-то странным всхлипом.

Я подошла к раковине и набрала воды в большую фарфоровую кружку, которую привезла с собой из дома. Помедлив, поставила её на подоконник, а сама стала почему-то одеваться. Вот так: джинсы, кроссовки, свитер, теплая куртка. В карман сунула книжку с оторванной обложкой. А больше у меня ничего и не было. «Спасибо», - прозвенело с подоконника. Я обернулась и увидела пустую кружку.

- Ещё воды?

- Нет, нельзя медлить. Пойдём!

- Но как? Если я выйду в коридор, меня могут увидеть.

- Не иди в сторону столовой, а сверни в тупичок слева, почти сразу за твоей комнатой. Там закрытая дверь, но её можно легко открыть гвоздём. Гвоздь лежит там же, на притолоке. За дверью лестница. Она ведёт в подвал. Пойдём же быстрее!

Дальше я помню только, как долго шла, спотыкаясь в крошечной тьме и затхлости подвала, а потом вдруг откуда-то потянуло холодным свежим воздухом, и я увидела звёздное небо.

- Прощай! – послышалось из вышней дали. И стало совсем тихо. Даже морского прибоя было не слышно.

Ноги сами несли меня по просёлочной дороге. Вдали маячили огни неизвестного поселения. А я всё шла и шла, машинально повторяя в такт своим шагам: “We were very tired. We were very merry”, и этот простой и немного навязчивый рефрен довёл меня вскоре до окраины города. Стали слышны звуки и запахи обычной человеческой жизни, музыка, гудки автомобилей, аромат барбекю и смех людей. Вот я прошла мимо захудалого бара, откуда доносились громкие голоса и хохот подвыпивших клиентов. Вот обогнала парочку приклеившихся друг к другу подростков, пока навстречу мне шёл белоголовый старичок с бело-рыжим папильоном на поводке. Всё как прежде. Мы ничему не научились. Мы всё забудем или уже забыли. Иначе просто невозможно жить дальше.

## Карина Муляр (Масюта)

### Фотография королевы

Совсем недавно я просматривала старые фотографии и наткнулась на альбом моей бабушки Мани. Я буквально окунулась в то время и тот мир, в котором жила она и люди, окружающие её.

Пожелтевшие довоенные снимки, где все молодые и красивые этой молодостью. Они мне улыбались с фотографий, пытаюсь что-то рассказать, а может, мне это просто казалось.

В нашей семье происходили разные интересные вещи, и было достаточно скелетов в шкафу. Об одном из них я почему-то захотела рассказать. Как жаль, что не осталось людей, которые могли бы подтвердить мои слова, но время неустанно несётся вперёд, унося за собой людей и их истории.

\*\*\*

Война изменила привычную мирную жизнь.

Люди уходили на фронт добровольцами.

Муж бабы Мани, - мамин отец и мой дедушка, - тоже не остался в стороне. В первые же дни войны он, кадровый офицер, ушёл на фронт.

Письма с фронта приходили к бабе Мане крайне редко, а через полгода после начала войны она получила похоронку. На руках была маленькая дочка и больные родители.

Немцы быстро продвигались вперёд. Нужно было как можно скорее эвакуироваться.

Все семьи из города погрузили на поезд, и он поехал в сторону Чимкента. По дороге начался налёт. Люди повыскакивали из вагонов и начали разбегаться в разные стороны, крича от страха. Баба Маня, которой на тот момент было чуть больше двадцати лет, крикнула:

- Ложитесь все под поезд!

И затолкала своих родителей и дочку.

Налёт закончился. Было много убитых и раненых. Люди понуро брели, не зная, что делать дальше. В воздухе царил запах страха и смерти.

Сколько это продолжалось, никто мне никогда не рассказывал. Но потом за ними приехали грузовики с военными, и так они на перекладных добрались до Чимкента.

\*\*\*

В то время мой дедушка не погиб; похоронка пришла по ошибке.

Он воевал. Регулярно писал бабе Мане короткие письма с просьбой ответить, но адресаты выбыли. Об их местонахождении никто ничего не знал.

Так прошли первые годы войны.

Ситуация на фронте резко менялась. Советская армия уже не отступала, а с тяжёлыми боями продвигалась вперёд.

В одном из таких боёв батальон, которым командовал мой дед, был окружён и разбит. Остались в живых несколько человек. Так мой дед Ефим попал в плен.

Это был концентрационный лагерь Дахау.

Что происходило в этих лагерях, нет смысла описывать. Многие люди уже об этом писали.

Как водится, у немцев первый вопрос был:

- Офицер, коммунист, еврей?

Стоявший рядом с дедом солдат крепко сжал руку Ефима и одними губами прошептал:

- Стой спокойно.

Ефим не шелохнулся. Он идеально подходил по всем трём пунктам.

То, что Ефим не вышел из строя, спасло ему жизнь.

В лагере проводили опыты над людьми. Их целью было разработать вакцину от малярии. Здоровых обитателей лагеря заражали малярией при помощи инъекций из слюнной железы самки комаров.

Ефим задумал бежать. Попытка оказалась неудачной. Его поймали и долго били.

Когда его оставили в покое, он предпринял ещё одну попытку побега.

Это было уже ближе к концу войны. Был открыт второй фронт, и немцы особо лютовали, чувствуя приближение конца. Ефим вместе с ещё тремя солдатами решил бежать.

Их снова поймали. Двоих расстреляли на месте. Ефима и ещё одного избili до полусмерти. Затем подвесили вверх ногами и долго били в живот.

Потом всё стало тихо.

Ефим пришёл в себя и попытался освободиться от верёвки.

В это время в комнату пыток зашли солдаты.

Они говорили на английском языке.

Подбежали к нему и, аккуратно развязав, положили на пол.

В лагере всё горело. Немцы, убегая, пытались скрыть следы своих преступлений.

Тогда было спасено 20 тысяч заключённых. Среди них был мой дед.

Спасённым дали возможность немного восстановиться. Люди были измотаны и больны. Многие скончались уже после освобождения.

В один из дней в освобождённом лагере появились несколько человек в штатском. На ломаном русском один спросил:

- Кто из вас умеет водить машину?

Ефим вышел из строя.

- Ты поедешь с нами, - сказал человек в штатском.

Они посадили его в машину и куда-то повезли.

Так мой дедушка оказался в Дании, на должности водителя датской королевы - жены Кристиана X, Александрины Мекленбург-Шверинской.

Между ними завязались приятельские отношения. Александрина немного знала русский язык и охотно училась у Ефима новым словам.

Надо отметить, что Ефим внешне был высоким, стройным и голубоглазым.

Как ни странно - произошло то, что произошло. Ефим стал тайным любовником престарелой королевы.

Александрина обещала ему безбедную жизнь, но его душа рвалась к жене и маленькой дочке. Он каким-то образом уговорил Александрину помочь найти Маню и помочь ему вернуться на родину.

Возвращение заняло долгих четыре года.

Ефим смог вернуться домой только в 1949 году.

В семье тщательно скрывался факт его плена и работы в Дании. Каким-то образом он избежал наказания и тюрьмы - уже от советской власти.

На их адрес раз в году ещё долго приходили посылки из Дании, в которых были красивые шали. Баба Маня в знак мести обвязывала летом этими шальями поясицу.

В течение всей жизни она пилила Ефима за эту связь.

Ефим и Маня стали дедушкой и бабушкой, а война ушла далеко в историю.

Во время их ссор уже я частенько слышала от бабушки:

- Я тебе не эта дешёвка, Сашка-старушка. Королева...

Тьфу! Ни рожи, ни кожи.

На что дедушка подходил к ней и тихо говорил:

- Ну что ты, Манечка? Это была просто влюблённость.

При этом дед всегда почему-то хитро улыбался.

- Люблю я только тебя.

Баба Маня сразу краснела и, довольная, шла что-то кашеварить.

\*\*\*

С тех пор прошло много-много лет. Давным-давно нет в живых никого из них.

Я смотрю на старую фотографию королевы Дании в надежде, что она расскажет мне ещё что-нибудь. Но фотография молчит.

Время уносит людей и их истории. И теперь уже никто не сможет сказать, было ли это на самом деле...

## Предел мечтаний

В первый раз Сергей Петрович увидел её мельком, когда ресепшионист завела представить:

— Светлана, наш новый аналитик.

— А, да, здравствуйте! Рад.

В их большой компании всех людей не упомнить. Столько лиц, столько имён. Да и невелика птица — аналитик. Для менеджера его ранга — вообще никто.

Сергей Петрович — директор по продажам. С острым чутьём и трезвой головой. Опытный, расчётливый. Самые прибыльные клиенты компании — его.

— Тот ещё шакал, — вполголоса объясняет ресепшионист новенькой.

Вместе женщины обходят все отделы. Их так много, что скоро у Светланы начинает кружиться голова. Она возвращается к себе и зарывается в оставшиеся от предыдущего аналитика бумаги.

День проходит суматошно. Мобильный у Сергея Петровича звонит, не переставая. Он договаривается, решает, ездит со встречи на встречу и оказывается в офисе лишь под вечер. В это время обычный рабочий гул уже затихает. Наговорившись за день, сотрудники досиживают оставшееся время в сосредоточенном молчании. Сергей Петрович проходит в свой кабинет и начинает работать с документами. Все они в идеальном порядке — может, его секретарь и не самая симпатичная в офисе, зато самая опытная. Вместе они быстро проходят по договорам. «Дополнительные условия», «форс-мажор», инициалы — страницы переворачиваются на раз-два.

— Я вам сегодня ещё нужна? — спрашивает секретарь по окончанию работы.

— Нет-нет, можете уходить. Доброго вечера!

Оставшись один, Сергей Петрович снимает пиджак и ослабляет узел галстука. У него ещё есть дела: надо прочитать мейлы, подготовиться к завтрашним встречам. Залог успеха — в тщательной подготовке. Чем лучше знаешь то, о чём говоришь, тем выше шансы преуспеть.

Когда всё сделано, в офисе уже никого нет. Одни пустые кабинеты со стеклянными перегородками вместо стен. В



проникающем с улицы оранжевом свете офис смотрится аквариумом без рыб. Таким он нравится Сергею Петровичу больше всего. Скоро уже двадцать лет, как он работает в этой компании, и её успех неотделим от его личного.

— Вы ещё здесь? — в удивлении останавливается он перед открытой дверью отдела маркетинга.

— Да... вот ещё недолго ... я уже почти разобралась...

Утренняя женщина сидит за столом прямо напротив входа. Её щеки пылают компьютерным светом.

— Вам показали, как включать сигнализацию?

— Да... Код... код где-то здесь... — женщина скользит растерянным взглядом по заваленному бумагами столу, — Где я его записала?

— Предлагаю сегодня уйти вместе, а завтра уже найдёте.

— Хорошо, — после секундного колебания соглашается она, — Только подождите немного, я закрою все программы.

Сергей Петрович садится на стул наискосок от её стола. На его глазах женщина выключает компьютер, складывает документы в одну стопку. У неё ловкие движения и слегка вздёрнутый нос. Сняв с вешалки и надев на себя красное, цвета кагора, пальто, она смотрит на него с улыбкой:

— Идёмте?

Сергей Петрович ставит офис на сигнализацию.

— Осторожно, здесь прямо перед зданием перестилают асфальт, — говорит он. — Везде ямы. А фонари, как всегда, отсутствуют.

— Тогда можно я возьму вас под руку? У меня совсем недавно был вывих лодыжки...

— Конечно.

Сергей Петрович предупредительно отставляет локоть, и женская рука тут же проскальзывает вовнутрь. В её жесте чувствуется безусловное доверие, и Сергей Петрович еле сдерживается, чтобы не прижаться к ней плечом — его уже давно так никто не касался.

На самом деле, ремонтируемый участок не настолько велик, и через несколько метров становится и светло, и ровно, и можно отпускать руки, но Сергей Петрович и его спутница продолжают идти вместе. Осенним вечером, таким холодным и сырым, подобная близость уместна как никогда.

— Моя машина в гараже около арт-центра, — замечает Сергей Петрович, чтобы как-то прервать затянувшееся молчание. — Ваша там же?

— Нет, я на метро.

— Тогда позвольте, я уже доведу вас до станции.

Они заворачивают за угол, и, не дожидаясь зелёного светофора, перебегают через проспект. Всё это время Сергей Петрович чувствует на своем предплечье присутствие женской ладони. Такой маленькой, такой тонкой. Как сама женщина.

— Как прошёл первый день? Не очень нагрузили?

— Да нет, просто необходимо время, чтобы во всем разобраться. А так — даже пообедать не успела.

Сергей Петрович ловит себя на мысли, что и сам с утра толком ничего не ел. В течение дня у него было целых два деловых ланча, но разве на таких мероприятиях едят?

— Знаете, я сегодня тоже не обедал. Может, зайдём куда-нибудь?

Они оглядываются по сторонам. Из всех огней ярче всего горит вывеска «Макдональдса».

— По «биг-маку»? — заговорщически, будто предлагая что-то неприличное, понижает голос женщина.

— Сто лет там не был.

— Чего же мы ждём?

В огромном зале ресторана они одни. Там, где в обеденный перерыв некуда яблоку упасть, теперь можно сесть, где угодно.

— Что заказать? — выбирает женщина столик у стены.

— Не знаю, пойдёмте посмотрим. Честно говоря, в последний раз я был здесь ещё с детьми.

— Тогда оставайтесь сидеть, я сама всё закажу.

— Хорошо, но я всё равно должен заплатить.

— Ерунда!

Женщина сбрасывает пальто и быстро направляется к прилавку. Несколько ошарашенный, Сергей Петрович остаётся сторожить её вещи. В его правила не входит провожать сотрудниц к метро, ужинать в «Макдональдсе» и, тем более, позволять женщинам за себя платить. Но этим вечером все правила не в счёт. Остается лишь смотреть вслед. У его новой знакомой длинные, слегка вьющиеся волосы, тонкая талия и аккуратная грудь.

Заказав, женщина отворачивается от прилавка на пол-оборота и начинает выбивать ногой какой-то ритм. «Сейчас,

сейчас всё принесу!» — периодически смотрит она в его сторону...

— Ну, мы и наелись, — выдавливает из себя Сергей Петрович, когда полчаса спустя они снова на улице. Меню из «биг-мака» плюс клубничное мороженое на десерт.

— Знаете что, предлагаю всю эту нездоровую еду срочно погасить кофе и коньяком. Как вы на это смотрите?

— С удовольствием! — смеётся женщина. После плотного ужина она веселее и свободнее, чем раньше.

Они ныряют в первый попавшийся бар и выходят из него, когда уже совсем поздно. Ни о каком метро не может быть и речи, и Сергей Петрович предлагает отвезти женщину домой. Она уже привычно берет его под руку, и они в ногу шагают к машине. Тесная близость больше не смущает, наоборот, нравится. «Какая удача, — думает Сергей Петрович, — что у нас с ней именно такая разница в росте, и её рука так удобно ложится в мою». Он пытается припомнить, когда в последний раз ходил так с женой, но мысли теряются где-то в прошлом десятилетии, а может, и раньше.

В машине они больше молчат. Женщина, немного откинув сиденье назад, полулежит. Сергей Петрович следит за дорогой. Машина тихо скользит по ночному городу. Тот проплывает мимо горящими витринами, пустыми перекрёстками, ослепляющими фарами. Ощущение такое, что Сергею Петровичу и его спутнице удалось перейти на параллельный уровень существования, и всё происходящее за окном их больше не касается.

— Вот мой дом, — указывает женщина на многоэтажку слева, когда они сворачивают в один из переулков в северной части города. — Спасибо, что подвезли.

Сергей Петрович обходит машину и открывает пассажирскую дверцу.

— Спасибо вам. Я уже давно так хорошо не проводил вечер.

У него ещё есть возможность соблюсти приличия, но уличный фонарь, под которым они припарковались, светит уж слишком мягко. В его рассеянном, как туман, свете, женские глаза блестят стеклянной красой. Немного отрешенной, немного пьяной.

— Ты меня совсем не узнаёшь? — спрашивает она после того, как их губы размыкаются.

— А разве мы...

Её пальцы накрывают его рот.

— Спокойной ночи!

Не оглядываясь, женщина быстро уходит прочь. Жёлтый фонарь продолжает светить.

Домой Сергей Петрович возвращается за полночь.

— Который час? — сквозь сон бормочет жена, когда он ложится в постель.

— Поздно.

Несмотря на длинный день, сна нет. В незашторенное окно светит луна. На её фоне оконные рамы кажутся косыми. «Откуда я могу её знать?» — в который раз спрашивает себя Сергей Петрович. В его жизни было не так уж и много женщин, особенно после женитьбы. Иногда, чаще всего в командировках, случайная симпатия — совместная чашка кофе, поспешный секс. Физическая близость как деловая транзакция: быстрая, успешная, без лишних движений и чувств. Могла ли его новая знакомая быть одной из тех женщин? Не уверен... Между ними минимум десять лет разницы. Значит, искать надо где-то в середине жизни, в той её части, когда кажется, что всё по плечу. Нет страха смерти, нет сомнений — одно стремление к успеху. Неужели тогда?

Сергея Петровича вдруг осеняет, что он даже не знает её имени. Весь вечер они проговорили, как близкие люди — без имён. Как же её зовут? Он пытается вспомнить момент знакомства. Ольга? Виктория? Бесполезно — в памяти не отложилось ничего, кроме мерцающих в тусклом свете глаз.

— Где ты так задержался? — на следующее утро интересуется жена.

— Встречался с клиентом.

— Удачно?

— Да.

За завтраком их двое. Дети-студенты уже давно убежали в институт. Накормленная и при этом вечно голодная собака наблюдает из своего угла.

— Я вчера виделась с папой. Он хочет проверить наши платежи по квартплате. Ему кажется, мы переплачиваем за газ.

— А какие на мне сегодня надеты трусы, он не хочет проверить? — не может сдержать раздражения Сергей Петрович. После тридцати лет брака родители жены всё ещё продолжают относиться к нему, как к бедному родственнику: «Наша дочка-балерина могла найти себе мужа и получше!».

— Зря ты так! Папа просто хочет нам помочь.

— Ты права. Это я неблагодарный, — привычно уступает он жене.

По опыту Сергей Петрович знает, что есть сражения, в которых ему не победить. Легче капитулировать сразу.

По дороге на работу он нервничает. Проскакивает на жёлтый свет. Спешит расставить все точки над «і». Не в его манере тянуть и раздумывать.

— Как зовут нового аналитика из отдела маркетинга? — спрашивает он своего секретаря.

— Ту простушку? Светлана.

Прямолинейности его секретарю не занимать.

— Сколько ей лет?

— Около сорока.

Легче всего сразу пройти в её отдел и попросить Светлану выйти. Отвести в сторону, извиниться, выразить надежду на плодотворное сотрудничество в будущем. «Наша компания - как одна большая семья. Все имеют право чувствовать себя в безопасности». Просто, достойно, лаконично. Как и полагается старшему менеджеру. Только сначала надо подготовиться к сегодняшнему совещанию.

В конференц-зале они сидят по разные стороны стола. Сергей Петрович в центре, Светлана справа, ближе к краю. Он периодически смотрит в её сторону, но их взгляды не пересекаются. Во флуоресцентном свете офисных ламп видно, что её глаза не карие, как ему сначала показалось, а тёмно-серые. На губах та же яркая помада. Сегодня Светлана в синем платье в мелкий розовый цветочек. Секретарь права: если новый аналитик и красива, то красотой ширпотреба. В ней нет ни шика, ни шарма его жены. От этой мысли отлегает от сердца, и, когда в конце совещания директор представляет Светлану всему руководству, Сергей Петрович приветственно кивает:

— Добро пожаловать!

Он уже почти уверен, что никогда её раньше не встречал — всему виной коньяк!

Сергей Петрович возвращается к себе довольный, и всё оставшееся время работает как всегда. Так же по-деловому говорит по телефону, так же строго смотрит на подчинённых. Он специально держит дверь своего офиса открытой, чтобы проходящим мимо сотрудникам хотелось побыстрее вернуться на рабочие места. Легкий холодок нетерпения появляется в его груди лишь под вечер, когда офис начинает пустеть. Есть возможность уйти вместе со

всеми, но он решает досидеть до конца. Хочет ещё раз пройти мимо её стола. Точно впервые?

Вчерашняя встреча оказывается случайностью. Отдел пуст, компьютер Светланы выключен. Рядом с ним стоит чашка недопитого чая, на её кромке отпечаток помады. Несколько мгновений Сергей Петрович в задумчивости смотрит на этот полуовальный след, потом несёт чашку на кухню. Там моет её, протирает полотенцем и возвращает назад. Он ставит чашку на стол точно так, как она стояла. Меньше всего ему хочется, чтобы Светлана о чём-то догадалась.

Последующие несколько недель они пересекаются лишь мельком. На лестнице, в коридорах, в лифте. Всегда в присутствии других, никогда наедине. Они общаются взглядами, разговаривают поворотами головы. Иногда им даже удаётся обменяться парой слов, но слов поверхностных, ни о чём. Во время обеденного перерыва в столовой Сергей Петрович выделяет голос Светланы из множества других. На совещаниях смотрит в её сторону чаще, чем следовало бы. «Мне кажется, или у нашего аналитика и вправду на редкость живое лицо? — хочется ему спросить сидящего рядом финансового директора, — Вы только посмотрите, как играют ямочки на её щеках!». Теперь Сергей Петрович на сто процентов уверен, что они со Светланой уже где-то пересекались. Но где? Когда? Составленный список любовниц оказывается на удивление коротким — один блокнотный лист. Большую часть Сергей Петрович вычеркивает сразу, на выходе — всего несколько имён. Светланы среди них нет.

— Послушайте, вы тогда намекнули, что мы с вами уже встречались, — с места в карьер заговаривает он с ней, когда случайно они оказываются одни в офисной кухне. — Что вы имели в виду?

— Только то, что ты меня не узнал.

— Значит, мы знакомы? — пропускает он мимо ушей её «ты».

— Уже да.

— Перестаньте говорить загадками!

На кухню заходят сотрудники, и Сергей Петрович вынужденно замолкает.

— Номер пятьдесят два, — уходя, говорит ему Светлана.

Возможности спросить, к чему относится этот номер, нет. Банковская ячейка, автобусный маршрут, номер квартиры? От последнего предположения пересыхает в горле.

Есть только один способ проверить, и вечером Сергей Петрович едет к ней домой. Благо, бортовой компьютер помнит адрес — сам бы он его никогда не нашёл. Высотный дом горит квадратами окон, Сергей Петрович вдыхает уже по-зимнему морозный воздух. Если выяснится, что он ошибся, и в 52-й квартире живет кто-то другой, он завтра же попросит HR-менеджера перевести Светлану в филиал. Куда угодно, хоть на Луну. Если же дверь откроет она...

Свет на лестничной клетке зажигается с остановкой лифта. Нужная квартира в торце. Синяя металлическая дверь, белая кнопка звонка. Сергей Петрович проводит пальцем по её выпуклостям — последний шанс...

— Ты?! — откликается на звонок Светлана.

— Можно зайти?

Она отступает, и Сергей Петрович закрывает за собой дверь. В прихожей полумрак, видны только её блестящие глаза. Он берет её лицо в руки, целует глаза, потом находит губами её рот. Вместе мужчина и женщина двигаются в сторону спальни. Боковым зрением Сергей Петрович замечает, что в квартире беспорядок.

Последующие несколько часов проходят как во сне. Они целуются, смеются, стонут. Сергей Петрович задыхается в аромате женского тела. Таким знакомом, таким родном! Так в прошлом веке, в детстве, пахло от его мамы: немного сладко, немногопряно. Его губы тонут в ложбинках женских подмышек. А есть ещё груди, бедра, живот! В манере любви Светланы сочетаются непосредственность юности и бесстыдство опытной проститутки. «Не мог же я встречать её в Амстердаме?» — Сергей Петрович безуспешно пытается вспомнить оставшиеся в темноте дешевых гостиничных номеров женские лица.

— Ну, теперь ты мне скажешь, откуда я тебя знаю? — спрашивает он, когда их тела, наконец, насыщаются.

Светлана смеётся:

— Я... я мечта...

Тогда он ей не поверил:

— Ты шутишь?

— Нет, я на полном серьёзе.

Они встречаются почти ежедневно. Сложно представить, что когда-то он жил без неё. С ней — этой милой земной женщиной — он чувствует себя дома. В ней видит черты прошлых возлюбленных, от самой первой, детсадовской, до тех, кем увлекался в молодости. Сергей Петрович постигает их всех, насыщается всеми, любит, как возможно

любить само женское естество. Только теперь он отдает себе отчет в том, что его шакалье сердце уже давно бьётся из последних сил. Какое счастье, что можно остановиться и перевести дух!

На людях они со Светланой ещё соблюдают дистанцию, но искры их любви разлетаются по всему офису. Сергей Петрович ловит на себе недоуменные взгляды сотрудников.

— Давно не видела вашей жены, — как-то между подписанием документов замечает его секретарь. — Вы с ней такая красивая пара!..

— А это в браке главное?

— Для кого как.

Сергей Петрович понимает, что пора. Откладывать разговор дальше – обкрадывать себя. Он говорит жене, что уходит.

— Кто она, кто? — отойдя от первого шока, допытывается та, — Какая-та молодая дылда? Новая балерина? Я для тебя уже слишком стара?

Сергей Петрович думает, прежде чем ответить. Несмотря на все накопившиеся за годы брака обиды, он считает жену родным человеком. Поэтому подбирает слова, способные описать Светлану именно такой, как он её видит. Но вместо этого в памяти всплывает их первая близость, и ответ приходит сам собой:

— Она — предел моих мечтаний, — повторяет он её тогдашние слова.

— Ты сбрендил?

Сергей Петрович возвращается в машину с почти спокойным сердцем. Увольнять ему приходилось и раньше, разве что в этом случае рассчитанной оказывается жена. Конечно, приятным состоявшийся разговор не назовёшь, но дело сделано, и можно ехать дальше. Он заводит машину. Потом, немного подумав, выключает. Из всего сказанного в голове застряла единственная фраза: «предел мечтаний».

За годы работы Сергей Петрович привык считать, что, как бы хороши ни были сегодняшние показатели, завтра они будут ещё лучше. Сделки крупнее, объёмы больше, комиссионные богаче. Скажи ему кто-то, что он достиг своего потолка, - и Сергей Петрович рассмеялся бы в ответ. Предел — он для неудачников.

Деловое нутро недовольно рычит. Сергей Петрович пытается усмирить его, вызвав в памяти образ Светланы. Безуспешно. По какой-то причине он помнит её отдельные черты: руки, грудь, крупную родинку на талии у пупка, — и



не может представить женский образ целиком. Светлана ускользает от него, как силуэт прохожего в вечернем тумане: вот он был, и вот его нет.

На лобовое стекло машины падает первый снег. В предвечерних сумерках он кажется сизым. Сергей Петрович высовывает руку и позволяет нескольким снежинкам приземлиться на ладонь. Снежинки сразу тают, на их место ложатся новые. С той высоты, откуда они летят, снежным запасам нет ни конца, ни края: хватит и на эту зиму, и на следующую. С одной стороны, эта небесная бездонность подтверждает уверенность, что и ему ещё рано останавливаться, и до предела ему ещё далеко. С другой, может, постоянное стремление к лучшему хорошо только в бизнесе?

От размышлений отвлекает телефонный звонок. На экране мобильного высвечивается номер Светланы. Они договорились, что Сергей Петрович перезвонит ей, как только объяснится с женой. Хорошо бы ответить, но Сергей Петрович позволяет звонку отыграть всю мелодию до конца. Ждёт, пока Светлана окончит записывать звуковое сообщение, потом снова заводит машину. «Сначала заеду к клиенту, а потом уже перезвоню», — решает он, включая поворотник.

Машина плавно встраивается в автомобильный поток. Снегопад становится всё сильнее.

## На Том берегу

*«Тишина – вот лучшее  
Из того, что слышал».  
Б. Пастернак*

У Шмулика Фердмана было подвижное лицо. Когда Шмулик улыбался, а делал он это часто и без видимой причины, по лёгкости характера и незамутнённости души, всё его лицо приходило в беспорядочное движение: лоб, брови, щёки и подбородок. И это незаурядное свойство привлекало к нему доброжелательный интерес окружающих людей - он бросался в глаза и запоминался.

Лучезарно улыбаясь, входил Шмулик в роскошный зал приморского казино «Принцесса». Раз в год он прилетал сюда, в Батуми – встряхнуться душой и, отдыхая от однообразия жизни, бегущей наперегонки со смертью, всласть наиграться в рулетку. Привыкнув к распорядку событий, послушно идущих в затылок друг другу, Шмулик Фердман не желал для себя никаких перемен – лишь бы в этот круговорот вписывались ежегодные поездки в Грузию, ставшие для него настоящим праздником.

В напряжённо-праздничной атмосфере казино он чувствовал себя, как птица в полёте. Игровые автоматы и крытые зелёным сукном столы для покера и баккара вызывали в нём снисходительную усмешку – карты он не признавал и не смог бы перекинуться с партнёром даже в подкидного дурака. Только рулетка, бег белого шарика по замкнутому кругу погружал Шмулика в состояние совершенной зачарованности.

Надо отдать ему должное, неизбежный факт денежного выигрыша или проигрыша занимал Шмулика в последнюю очередь, и в этом он решительно отличался от других игроков вокруг стола. Непредсказуемость игры, со всеми её неизменными правилами, захватывала его целиком и вольно несла на гребне волны; сама судьба была заключена в движении белого шарика, она летела, на расстоянии вытянутой руки, перед глазами Шмулика Фердмана, и походила на ангела, порхающего над цветами

вместе с пчёлами и бабочками. Неотрывно следя за целеустремлённым ходом шарика, Шмулик благодарно чувствовал ангельское дыхание на своём лице. Ничего подобного, являясь на свою службу изо дня в день, шесть раз в неделю, он не испытывал никогда.

Шмулик Фердман относил себя к «белым воротничкам». Он никоим образом не был причастен к физическому труду, инженерные занятия также были от него далеки. Финансовые трудности не отравляли ему повседневное существование, а его клиентура насчитывала тысячи персон. Он жил в достатке.

Из земли вышли, и в землю уйдём...

Кладбище – пересадка ушедших от нас поколений по дороге на Тот берег. От первых времён погост приковывал скорбное внимание людей, провожающих себе подобных в неведомое Никуда.

Кладбища похожи на человеческие поселения – большие и маленькие, с улицами и переулками, с центральной частью и окраинами. Центр - поближе к воротам, это для богатых и знатных, а задворки для рядовых и бедняков, их ведь тоже мимо земли не пронесёшь... Есть, говорят, и прямоходящие, что хоронят друг друга в ветвях деревьев или затаскивают на вершины гор птицам небесным на расклёв, но у нас в Израиле такие не водятся.

Водятся другие, они делят последние причалы на «хорошие» и «плохие», в зависимости от расположения и стоимости лежащих мест. В этом заключён свой смысл: Тель-Авив, город «нон-стоп», в разы дороже периферийного захолустья, но публика упрямо тянется в престижную приморскую столицу с её переполненными кладбищами, как будто покинувшим наш круг родным и знакомым небезразлична близость открытых круглые сутки кабаков и баров «города без перерывов».

Кладбище «Маков цвет» располагалось в двадцати минутах езды от Тель-Авива и считалось более чем привилегированным: место залегания обходилось тут в круглую сумму, уступая разве что расценкам на Масличной горе, откуда, как только придёт Мессия, можно будет добежать до иерусалимского Храма за считанные минуты. Подняться из могилы и добежать через запечатанные Золотые ворота, которые по этому случаю распечатываются и пропускают бегущих в Старый город. Тут главное, чтоб не

затоптали: на Масличной горе ожидают Мессию сто пятьдесят тысяч евреев, нынешних и древних, начиная с Авессалома – мятежного сына нашего царя Давида.

«Маков цвет» никаких таких преференций своим постояльцам не предоставлял. Зато этот некрополь, разместившийся в киббуцных краях, отличался толерантностью: здесь и инородца могли захоронить - хоть при попе, хоть при буддийском ламе, хоть при шамане с бубном. Правда, для чужаков был отведён отдельный кластер, а магометане не встречались вовсе: что тут говорить, всё имеет свои границы, в том числе и терпимость. Да и сами мусульмане, точно как и мы, предпочитают лежать среди своих.

А своих здесь насчитывались тысячи и тысячи. Они помещались в ухоженных землянках по обе стороны прямых зелёных просек с тёплыми названиями: Миндальная, Персиковая, Гранатовая, Вишнёвая.

Шмулик Фердман, смотритель кладбища «Маков цвет», разъезжал по живописно присыпанным листвой и цветами бугенвиллии улицам своего хозяйства на юрком синем «миниморисе». Из-за руля машины он зорко, как птица из скворечника, озирался по сторонам: кто к кому пришёл, хватает ли сидячих мест для провожающих; ничто не ускользало от его намётанного взгляда. «Маков цвет» служил для Шмулика местом повседневной работы, и могильные плиты были для него столь же обычны, как письменные столы для конторского чиновника. С посетителей он глаз не спускал, да оно и понятно: всякий, сюда явившийся, хотел получить какую-нибудь помощь и, таким образом, являлся для Шмулика источником дохода. И какая, в сущности, разница – некрополь это или родильный дом? Деньги, дамы и господа, пахнут, и пахнут очень хорошо. А персонал роддомов и погостов относится к выползающим на белый свет младенцам и отчаливающим на Тот берег пловцам без содроганий души: к рождению жизни и приходу смерти здесь привыкли, и эти главные вопросы мироздания никого не бьют в лоб, а обтекают по касательной. Вот и Шмулик Фердман, смотритель кладбища, наблюдая за похоронами и высматривая близких родственников усопшего, не ощущал ничего, кроме течения рабочего времени.

Под началом у Шмулика числились двое арабов-садовников и тройка любознательных молодых волонтеров, приехавших из дальних стран знакомиться с нашей жизнью,

и угодивших в «Маков цвет». Волонтёры мели дорожки и убирали мусор, оставленный посетителями, а арабы ухаживали за цветами и стригли кусты и деревья. Всё это они должны были делать совершенно бесплатно – волонтёры учились жизни и кормились в киббуцной столовой, а арабы получали жалованье. И все эти затраты с лихвой окупались изначальной стоимостью могильных ячей.

Посетители текли сюда рекой, с утра до вечера. У каждого была своя душевная забота: посадить цветы на родную могилу, подсыпать доброй землицы, протереть плиту с надписью, да и просто постоять молча, оборотаясь лицом к прошлому. Много чего нужно было сделать... И приступали к делу, руководствуясь проверенным международным опытом: «не подмажешь – не поедешь». «Подмазать» надлежало - для особого отношения и прилежного ухода – смотрителя Шмулика, немедля возникавшего, как только печальные гости приближались к родной могиле. А как же иначе! Всякий труд требует оплаты, а ещё лучше - предоплаты. Бесплатно даже птица не кукарекает.

«Маков цвет» отличался толерантностью не только по части этнического состава, но также и по прихотливому дизайну. Сердобольная родня давала тут волю фантазии, и никто её за это не корил и не осуждал. Кладбище походило на райскую лужайку, на цветущую оранжерею; цветы всех видов, семейств и расцветок привольно здесь росли и цвели, не опасаясь ревнителей традиций из Похоронного Братства, которые, дай им волю, без сожаления повыдергивали бы растения из земли и выкинули за ограду, на проезжую дорогу. Управляемые бестрепетной рукою Братства, традиционные погосты, не в обиду им будь сказано – ни травинки, ни птички – выглядели довольно-таки угрюмо рядом с цветущим кладбищем «Маков цвет». Что там анютины глазки, петунии и герань! Из конца в конец кладбища произрастали, для смягчения картины, кипарисы, оливы, мирты и усыпанные плодами кусты апельсинов и лимонов во весь рост, а также и карликовые, будто игрушечные. Белые, красные, золотистые бугенвиллии сплетались в беседки, под сводами которых стояли лавочки для общественного отдыха. И Шмулик Фердман, смотритель, заведовал всем этим роскошным хозяйством, в котором он видел место приятной работы, а никак не предместье Того берега.

Отыщутся такие, кто скажут: кладбище не пастбище, зачем там трава? Зачем лимоны с апельсинами, игрушки на детских могилах? К чему скамейки для общественного сидения, когда можно и постоять? У таких сухарей нет ничего святого, а у Шмулика – есть, только он никогда не задумывался, что именно в нём святое, а что обыкновенное, да, строго говоря, он и не дерзал гадать. Просто иногда, остановив взгляд на том или ином предмете, он испытывал духовный подъём, совершенно непостижимый. Примерно так праотец наш Авраам, сидя на своём камне близ шатров, в святом отрешении вслушивался в глас единого Бога, приходящий из ниоткуда, и никем, кроме самого патриарха, не различимый.

Так время и ползло, с пятого на десятое, незарастающих шрамов не оставляя. Одни люди рождались на свет, другие мёрли и отправлялись на Тот берег, а мир, придуманный нами, без помех катился в тартарары.

И длиться бы тому и далее, когда б не досадная загвоздка: директор кладбища «Маков цвет», сидящий в кабинете, достиг преклонного возраста и вышел на пенсию. И на его место был назначен смотритель Шмулик Фердман.

Из окна кабинета, куда повышенного Шмулика водворили приказом по службе, кладбище не просматривалось: директорский офис помещался в центре кибуца, в Доме культуры. Теперь шустрый «миниморис» оказался ни к чему – не пристало директору разъезжать по фруктовым улочкам погоста и встречать гостей с распротёртыми объятиями; источник дохода для Шмулика иссяк в одночасье, как будто его никогда и не существовало в природе. Всё проходит под солнцем, чёрт возьми.

В четырёх стенах начальничьего кабинета, украшенных фотографиями лидеров рабочего движения и отцов-основателей кибуца, над скучными документами Шмулик захандрил и затосковал. Приближался срок его ежегодного полёта в Батуми, в казино «Принцесса», но об этом путешествии нечего было и мечтать: денег не хватало, отпуск перенесли на февраль.

Кровоизлияние в мозг настигло его неожиданно, как гром с ясного неба: голова наполнилась гулким шумом, слух отказал, язык одеревенел, ноги не слушались. Шмулик не смог подняться из-за директорского стола. Врач «скорой помощи», осмотрев больного, поставил диагноз: инсульт. Ох-хо-хо.

В больнице его не обнадёжили: излечение и восстановление маловероятно. Неутешительный прогноз без лишних слов довели до сведения жены Шмулика, игравшей в его жизни второстепенную роль. Всплакнув, жена оценила создавшуюся обстановку, распрощалась с полупокойным мужем, собрала чемодан и улетела в город Сакраменто, США, к сыну-аптекарю от первого брака. А Шмулика Фердмана, после месяца на больничной койке, усадили в кресло-каталку и перевезли в дом инвалидов. Дверь на волю затворилась, началась неподвижная предсмертная жизнь.

В палате было людно. Помимо восьми постояльцев, там с утра до ночи толклись родственники и знакомые лежачих, навещать которых, по разумению Шмулика, было ещё рано: их час ещё не пробил. Явились, однако, посетители и к Шмулику Фердману - два кладбищенских араба-садовника. Гости принесли больному передачу: бутылку кока-колы и брусок деревянной халвы. Спасибо. Копя слёзы, Шмулик выслушал подробный отчёт о жизни погоста «Маков цвет». Сырыми глазами глядя сквозь арабов, он различал густые фруктовые просеки своего кладбища и людей, в одиночку и группами гуляющих не спеша по могильному парку, как по выставке. Иногда они останавливались и для ознакомления читали надписи на каменных плитах. Так читают имя художника на табличке под живописным полотном в золотой раме, в музее.

Арабы ушли, и Шмулик Фердман, под невнятный гомон чужих посетителей, забылся на своей койке у окна палаты. Окно выходило на улицу, застроенную малоэтажными жилыми домами. На балконах сохла стирка на распялках, на плоских крышах торчали, как пеньки, железные бочки для нагрева воды.

Шмулик искал в своём мерцающем воображении волшебную картину: игорный зал казино «Принцесса», чёрно-красное поле рулетки и отмеривающий круги белый шарик с заложенной в него ледяной искрой судьбы. Но ничего такого не всплывало из пучины.

А всплывала облетевшая Гранатовая просека, уводящая в отвратительный жёлтый туман. Ещё недавно то была тенистая галерея, украшенная дивными плодами и листьями, и вот она обратилась в скелет. Шмулик Фердман видел себя в ней со стороны – он шёл меж стволов засохших гранатовых деревьев, загребая пыль дороги больничными тапками. «Недавно, - раздумывал он, шагая, -

это когда? Полчаса назад, вчера, или в прошлом веке?»  
Время сгустилось вокруг него и запеклось, как капля янтаря вокруг допотопного жучка или мошки; из этого золотистого укрытия он выглядывал без всякого любопытства. Не чувствуя по сторонам привычного дуновения времени, он потерял в нём нужду, и оно превратилось в фикцию: вчера, завтра – какая разница...

Другое вызывало необременительное удивление у Шмулика Фердмана: он вдруг утратил потребность дышать, втягивать и выдыхать воздух окружающего мира, и, шагая, легко без этого обходился. И ещё: к несчётным могилам по обе стороны пути он теперь обнаруживал странное, незнакомое прежде касательство, словно бы это его родственники – дядья, племянники – залегли там на покой.

Он шёл, шагал. Просека обрывалась не в цветущую кладбищенскую ограду из бугенвиллий, а в Тот берег, пологий и чужой, и Шмулик покорно ступил на его землю. Кругом не было ничего, кроме тишины.



## Внутренняя логистика

Март был несуразный: с утра слепящим солнцем по пыльным окнам сияла весна, переливаясь шелканьем невидимых птиц, а к вечеру навалилась тяжелая метель. Крупные снежные хлопья некрасиво шлепались на серый асфальт, намакая грязью. Миша шагал к метро и надеялся промочить ноги, чтобы законно надраться остатками того поганого виски, что жмот Серёга подарил на день рождения. Под левой стопой захлюпало...

Вчера всё было хорошо — весна, планы, интересная работа. Работал Миша логистическим посредником: координировал международные поставки средних и мелких партий товаров. Ему нравилась непредсказуемость, да и клиенты часто от души благодарили. Но сейчас работа буксовала: поставщики порвали связи, срывались международные перевозки. Ну да, родная страна ведет «военную операцию», но он-то, Миша Григорович, не имеет к этому никакого отношения. Начальство ещё неделю назад взяло отпуск и свалило, по слухам, в Турцию. Бухгалтерша Валя шебуршала с серьезным видом, на вопросы не отвечала, огрызалась — видимо, что-то знала...

Миша оторвал тяжелый взгляд от мокрой каши — подход к метро перекрывала бурая лужа, слева был заборчик, а справа торчало какое-то существо неопределенного пола в накидке с глубоким капюшоном, где проглядывала нижняя часть прыщавого лица с кольцами пирсинга. К груди оно прижимало лист бумаги с потёкшей надписью «Война или мир».

Ноги были уже мокрые, в лужу лезть не хотелось, и Миша пошёл прямо на существо. Оно повернулось к нему и вытянуло вперёд плакат.

— Это что? — спросил Миша.

— Толстой, Лев Николаевич! — ответило существо звонким девичьим голосом.

— У Толстого «Война и мир», — поправил Миша.

— Ну да, у него и война, и мир, — существо откинуло капюшон и оказалось неопрятной девушкой с крашеными в зелень волосами. — А нам сейчас надо выбирать, понимаете? Между войной и миром. Не может быть и того,

и другого сразу. Тут или одно, или другое. Война — это смерть, а мир — это жизнь, понимаете? Вот вы разве за войну?

— Я за то, чтобы пройти к метро не по луже. Пустите.

Он ступил на поребрик, но нога соскочила, он ухватился за плакат, тот порвался, девица с криком «фашист!» кинулась на Мишу, и он завалился на газон — хорошо ещё, что не в лужу. Он тут же вскочил, взмахнув половиной мокрого листа бумаги со словом «мир». Правая брючина промокла. Миша повернулся к девице и хотел уже было заорать, что ж она делает-то, но поперхнулся от жгучей боли в правой части поясницы. Скрючившись, он обернулся. Посреди мелкой лужи стояли двое полицейских: один повыше и постарше, а другой, молодой и шарообразный, держал в руке дубинку.

— Вы что? Я же... — начал было Миша, и тут же получил дубинкой по плечу. Больно не было, но рука повисла плетью, пальцы едва ощущались слабым покалыванием.

— Ты тут не особо махай, — тихо сказал высокий, — может, кто снимает, потом не отмоешься.

— Ладно, тут не буду махать! — согласился шарообразный. — Сержант Блхна... Вы задержаны.

— Сто-о-ой! — крикнул высокий и рванул вбок за девицей.

Сержант крепко сжал Мишин локоть и потянул в сторону метро.

В скудно обставленной комнате за столом сидел мужичок в штатском и молчал. Миша сидел напротив него и сканировал себя: правая брючина намокла, поясница болела, зато рука начинала слушаться.

— Документы есть? — спросил штатский.

Миша вытащил из нагрудного кармана паспорт.

— Тэкс... — начал штатский, — Михаил Ефимович Григорович... Григорович-Шендерович, знаем-знаем...

Он что-то быстро писал, потом пододвинул заполненный бланк:

— Подпишите!

Миша посмотрел — там было что-то про «распространение заведомо ложных сведений» и «призывы к массовым беспорядкам».

— Там всё не так, — сказал он, — я не призывал...

— Вы не согласны с протоколом задержания?

— Нет. Я там случайно оказался.

— Значит, вы считаете, что вас задержали ошибочно, а наши сотрудники считают, что вы нарушили установленный порядок. Налицо противоречие. Так?

— Так...

— А если есть противоречие, его надо разрешать. Так?

— Так... А как его разрешать?

— На это есть специальный орган, который как раз для этого и существует. Называется суд.

— А нарушение-то в чём?

Штатский откинулся на стуле и с удовольствием начал:

— «Война и мир», говорите? Вы же знаете, Лев Толстой был революционером и выступал против российской государственности, недаром Ульянов-Ленин называл его «зеркалом русской революции». Вдобавок он был отлучён от православной церкви, а это наша основная духовная скрепа. Таким образом, личность Толстого идет вразрез с духовными ценностями русского народа. А использование выдернутого из контекста названия в условиях реалий информационной войны означает желание прикрыть якобы классической цитатой истинную цель — дискредитацию государственной политики, направленную на освобождение человечества от фашизма. Это явно заказная игра на руку нашему идеологическому противнику.

Миша погрузстнел:

— А если я подпишу?

— Административное нарушение, в первый раз штраф.

Миша, не глядя, подписал протокол.

На следующий день вечером, когда Миша уже подходил к дому в предвкушении ужина, зазвонил телефон, номер был незнакомый.

— Слушаю! — осторожно ответил Миша.

— Это Михаил Ефимович Григорович? —  
поинтересовался серьёзный мужской голос.

— Предположим... — Миша слышал, что нельзя говорить «да» по телефону незнакомым людям.

— Михаил Ефимович, это капитан Петров, по вопросу о вашем вчерашнем задержании.

— Да...

— Тут открылись новые обстоятельства. Вам надо подъехать.

— Когда?

— Сейчас. Вас подвезут.

Капитан отключился. Миша удивленно смотрел на погасший экран телефона, и тут его взяли за локоть:

— Гражданин Григорович? Пройдёте, вас ждут.

Рядом остановился синий микроавтобус «фольксваген» с затемнёнными стёклами и распахнул дверцу. Подталкиваемый сзади, Миша ввалился в салон и приземлился на сиденье. Напротив, лицом к нему, сел красивый мужчина и показал какие-то корочки:

— Капитан Петров.

— Меня арестовали? — спросил Миша.

— Нет. Пока нет. Но надо кое-что уточнить.

Его привезли во внутренний двор обычного офисного здания без вывесок и провели извилистыми коридорами в ярко освещенную комнату без окон.

— Присаживайтесь, Михаил Ефимович, — пригласил капитан Петров.

Миша сел на неудобный стул.

— Итак, — начал капитан, — вы видели видеоролик?

— Какой ролик? — искренне удивился Миша.

Капитан вытащил откуда-то электронный планшет и повернул его к Мише. На трясущемся видео был виден со спины человек в черной куртке, которого полицейский бьет с размаха дубинкой. Человек выгибается, оборачивается... И, вот чёрт, это же он, Миша! Кадр замер, а подпись под картинкой гласила: «Полиция жестоко задерживает отважных пикетчиков против войны Михаила Григоровича и Оксану Покровскую. Оксана задержана, судьба Михаила неизвестна, наши адвокаты пытаются его найти».

— Сегодня распространило «Би-Би-Си», — пояснил капитан.

— Ну да... задержали жёстко, — после паузы сказал Миша. — По почкам врезали неслабо... и по руке ещё. Но я же не пикетчик, я случайно проходил и споткнулся.

— Да, звучит правдоподобно, но ведь кто-то это снимал со стороны. Смахивает на провокацию, не находите?

— Но я, и правда, просто проходил мимо.

— Вы же порвали плакат, да?

— Да, но случайно: споткнулся, схватился... Я не знаю, кто это снимал.

— Кроме этого сфабрикованного ролика, где почти ничего не видно, есть ещё записи с камер наблюдения, где всё видно гораздо лучше... — капитан сделал многозначительную паузу. — И там видно, что вы не

прошли равнодушно мимо, как большинство усталых сограждан, а порвали пропагандистский плакат и привлекли внимание правоохранителей к незаконному действию. То есть повели себя как настоящий патриот и ответственный гражданин. Ведь так?

— Ну-у... Наверное, так.

— И вас не задержали, а вежливо попросили пройти, как свидетеля происшествия.

— Но меня задержали, и не совсем вежливо...

— Михаил Ефимович! За недоразумение со стороны рядовых сотрудников линейного отдела я приношу вам искренние извинения. Согласитесь: что взять с рядовых сотрудников, которые вынуждены в это тяжёлое время работать без отпуска и выходных!

Миша ошеломлённо кивнул.

— Ну, вот мы с вами и разобрались, правда? — спросил капитан.

— Да, разобрались.

— А тысячи... возможно, миллионы людей по всему миру остаются одурманенными недружественной пропагандой. Так?

— Ну, наверное...

— И вы, как участник события, должны донести до них правду. Только правдой можно победить ложь. И это и есть самая главная битва.

— Но как я могу?

— Вы можете выступить на телевидении и рассказать, как же всё было на самом деле. Это просто: вам задают вопросы, вы отвечаете. И все узнают правду, сотни миллионов. Наша правда победит их ложь.

— На телевидении?

— Да, в «Вечерних беседах» с Николаем Грачёвым.

Знаменитый Грачёв оказался хмурым невысоким человеком с помятым лицом. Он крепко стиснул Мишину руку:

— Привет, Михаил!

— Здравствуйте! Я так рад с вами познакомиться!

— Все рады... Будем работать. Тебе сейчас выдадут текст. Пока гримируют, прочитай. Учить не надо — будет телесуфлёр. Людмила, проводи!

Людмила, хрупкая женщина со сморщенными руками и лицом, завела Мишу в комнату, похожую на парикмахерскую, и велела снять джемпер и рубашку.

Нежные руки приятно скользнули по его щекам и шее, вздымая тепло в груди. Но тут же жирная и липкая масса тонального крема была брошена ему на лоб — и он поморщился. В поле зрения появилась пачка бумажных листов:

— Текст. Читайте, — сообщил незнакомый голос.

Миша наугад открыл:

«НГ: — Скажите, эта женщина... она вам мешала? Нападала на вас?»

МГ: — Она мне мешала и не давала плакат. А потом набросилась на меня и профессиональным борцовским приёмом кинула прямо в лужу, причём так, что я упал головой и сильно ударился. Когда я уже падал, она ударила меня по спине.

НГ: — Скажите, Эдуард Аркадьевич, вы можете сказать, что это был за приём?

ЭР: — Конечно же, это не обычный женский толчок. Очень похоже на боевую подсечку, применяемую спецназом сил НАТО. Приём жестокий и негуманный, его цель не просто сбить противника с ног, но произвести удар его затылком о твёрдую поверхность».

Так... «МГ» — это он, Михаил Григорович. «НГ» — скорее всего, Николай Грачёв, а «ЭР» — кто-то третий.

— Ну вот, ваш грим готов, — вернула его к действительности Людмила.

Крем на лице подсох отвратительной коростой, лоб был липким и чесался. Потом его облачили в блестящую голубую рубашку.

— Часы снимите, — велела Людмила. — В кадре не должно быть часов.

— Вы готовы? — спросил зашедший Грачёв.

— Да... — ответил Миша. — Но этот текст... Он не соответствует действительности...

— Ах, это?... — отмахнулся телеведущий. — Не волнуйтесь, у нас сейчас проба. Режиссёр там что-то набросал... Не вникайте. Ваше дело сейчас — просто зачитать этот текст. А эфир будет завтра.

— Ага, ну тогда конечно, — согласился Миша.

«Ринг» был ярко освещен, а зрительская часть зала пуста и темна. За столом слева от Миши сидел молодой рыхлый мужчина, а место справа пустовало. Сквозь стеклянную крышку стола проявилась ярко-красная надпись

«ВНИМАНИЕ!», сменившаяся на «МОТОР». Раздались гулкие шаги, и под ярким светом появился Грачёв.

— Добрый вечер, уважаемые гости! — обратился он к пустому залу. — Начинаем наши «Вечерние беседы». У нас в гостях сегодня... Михаил Ефимович Григорович, честный и порядочный человек! — он ткнул пальцем в Мишу, и тот смущенно зарделся. — Темой сегодняшней беседы будет благородный поступок, совершённый Михаилом Ефимовичем, а также отражение этого поступка в кривом зеркале недружественной пропаганды. В студии также находится Эдуард Аркадьевич Рыжов, признанный эксперт по международным отношениям и праву.

Полный мужчина подскочил и заблестал улыбкой. Ведущий подошел к высокому столику, стилизованному под ионическую колонну, облокотился на него, и произнёс в ближайшую телекамеру:

— Давайте посмотрим видео, наделавшее столько шума. Он замер, а затем повернулся к Мише и спросил:

— Михаил Ефимович, о чём вы думали, когда увидели госпожу Покровскую с плакатом?

— Ну, это... Я с работы шёл, ноги промокли...

— Стоп! — вскричал ведущий и поднял руку.

Потом он подошёл к Мише со спины и злобно прошипел:

— Ты что несёшь?

— Что?.. — Миша повернулся на стуле, но встать не решился.

— Тебе что было сказано? — клокотал ведущий. — Читать текст! — он указал рукой на стол, сквозь который просвечивал красная строка.

— Ой, извините, — обмяк Миша, — я забыл.

Грачёв снова подошёл к колонне, облокотился на неё и замер. Секунд через десять он повернулся к Мише, по-доброму улыбнулся и снова начал:

— Михаил Ефимович, о чём вы думали, когда увидели госпожу Покровскую с плакатом?

Миша всмотрелся в стол.

— Я не поверил своим глазам и решил подойти поближе... — начал он читать с бегущей строки.

Миша старательно читал свои ответы и думал о том, зачем нужен этот балаган с телесуфлёром, где вырисовывалась картина, как он спасал авангард человечества от злобных происков проплаченных шпионов. Картина не вязалась с тем, что случилось вчера, но была

цельной и, пожалуй, даже логичной и привлекательной. Ну что ж, линия для завтрашнего эфира понятна.

Приехав домой, Миша открыл бутылку водки из НЗ, но больше одной рюмки выпить не мог — тошно было. Спалось тяжело.

В офис Миша приехал невыспавшимся — и сразу попал на собрание. Весь коллектив толпился в холле, а бухгалтерша читала с планшета послание от шефа:

— «В связи с нагнетанием сложности в общении с зарубежными партнерами, а также невозможностью адекватного планирования...»

Послание было вычурным и корявым, но суть была ясна: их контору закрывают, начальство осело за границей и возвращаться не собирается, фирма будет выставлена на продажу, но неясно, захочет ли кто-либо её покупать. Сотрудникам будет единовременно выплачено выходное пособие в размере двух месячных зарплат, и — всем спасибо, все свободны.

Миша пошёл на свое место чистить диск компьютера — так, на всякий случай. Потом начал читать военные сводки: на харьковском направлении, преодолевая сопротивление противника, наши войска вышли на рубеж... «Сюр какой-то, — думал он. — Какое сопротивление, какой рубеж? Как во сне...» Потом отвлёкся и закрутился, но в полпятого вспомнил, что пора ехать на телевидение, на прямое в этот раз шоу Грачёва.

На парковке его ждала, как и было обещано, чёрная «тойота-камри» с водителем. В машине Миша задремал, а когда открыл глаза, понял, что привезли его не в телецентр, а опять к капитану Петрову.

— Здравствуйте, Михаил Ефимович, — сказал капитан, пожимая ему руку. — Рад снова с вами встретиться, теперь уже в качестве партнёра.

На «партнёра» Миша внешне не отреагировал, а про себя удивился.

— Здравствуйте. Но у меня съёмка у Грачёва, прямой эфир, надо быть там. Всё отменяется? — огорчился Миша.

— Ну, зачем же «отменяется»?.. Вас увидит вся страна! — улыбнулся капитан. — Вы же логистикой занимаетесь?

— Да, логистикой, международной. Знаете, всякие нестандартные заказы...



— Отлично! — кивнул Петров. — Но надо бы вам на внутреннюю логистику переключаться.

— Вы, конечно, правы. Буду искать вакансии.

— Можете искать. А можете сразу взять. Тут как раз есть одна.

Миша пожевал губами и осторожно спросил:

— В вашей... в вашем ведомстве?

Капитан рассмеялся.

— Нет, не в нашем. У нас с логистикой порядок! Но есть одна организация. Проводит мероприятия по всей стране, а логистика хромает.

Миша благоразумно молчал.

— Ну хорошо, хватит загадок, — сказал Петров. — «Русские соколы». Слышали?

Миша покачал головой.

— Патриотическая молодёжная организация, — продолжил капитан. — Объединяет равнодушную молодёжь. Ребята организуют мероприятия, выступления там, концерты, и требуется это обеспечивать логистически, зачастую быстро, на лету.

— И что же, у них нет своей логистики? — удивился Миша.

— Есть. Организатор работал раньше в шоу-бизнесе, толковый, но... Личность творческая, иногда выпадает из процесса, может и на две недели пропасть. Вы понимаете...

— Так эти... соколы — они вашего ведомства?

— Нет. Они, так сказать, из народа.

— Всё равно не понял, — признался Миша.

— Хорошо, я объясню попозже, а сейчас телешоу начинается.

Капитан включил экран на стене — там аплодировала разношерстная публика в зале, потом появился Грачёв в сером френче и спросил куда-то вбок:

— Михаил Ефимович, о чём вы думали, когда увидели госпожу Покровскую с плакатом?

И тут же на весь экран — он, Миша.

— Я не поверил своим глазам и решил подойти поближе, — стеснительно глядя в стол, начал Миша на экране. Завершив предложение, он поднял ошалелый взгляд и посмотрел в камеру. В зале снова зааплодировали.

— Как же так? — вскочил настоящий Миша. — Ведь это вчера записывали. И не было там никаких зрителей. И это не я говорю!

Петров удивился:

— Не вы?

— Ну, в смысле, не от себя говорю, я текст читаю, который мне дали. Видите, я в стол всё время смотрю? Там бегущая строка.

— Но говорите вы?

— Говорю я, но это не мои слова! Грачёв сказал, что это репетиция, а прямой эфир сегодня. Это всё неправда!

— Ну, я думаю, можно выключить, — сказал капитан.

Миша кивнул.

— Ну вот, теперь можно и поговорить, — скрестил пальцы капитан. — Вот вы сказали, что это всё неправда, так?

Миша снова кивнул.

— А что есть правда? Факты же правдивы?

Кивок.

— А факты таковы, что вы порвали плакат и получили дубинкой.

— Но я же случайно, я оступился... Схватился, чтобы не упасть...

— Это не факт, а ваша интерпретация. Плакат порвали вы?

Кивок.

— Ну вот, у нас есть два факта: вы порвали плакат и вас ударили дубинкой. Это и есть основная правда. А дальше рождаются вторичные правды. «Би-би-си» говорит, что полицейский вас ударил, значит, вы выступали против своей страны и народа. Это одна правда. У Грачёва другая правда: вы порвали плакат, значит... вы вступились за свою страну. А у вас ещё одна правда, что вы вообще ни при чём, просто проходили мимо. Какая правда правдивее?

— Моя, конечно! Я там был, а остальные не были.

— Не были, но судить о вашей правде будут именно те, кто там не был. И ваша правда никому, кроме вас, не интересна. Да и вы про неё скоро забудете. И потом своим внукам вы расскажете или бибисишную, или нашу правду, а вовсе не то, что вы случайно споткнулись.

— Это почему?! — взвился Миша.

— Потому что ваша правда скучна и не выставляет вас в нужном свете.

Миша неуверенно кивнул.

— Ну и хорошо, — сказал капитан. — Так что, принимаете предложение?

— А куда я денусь... У меня есть выбор?

- Выбор есть всегда, — серьезно ответил Петров.  
— Хорошо. Давайте попробуем.

В новую работу Миша втянулся быстро: надо было организовывать разезды по всей стране небольших групп людей — билеты, доставка грузов, гостиницы, автобусы. А вскоре возник сложный случай: в день вылета очередной группы в Уфу авиакомпания S7 отменила рейс, а других рейсов на этот день не было. Миша позвонил «папаше», как за глаза называли начальника:

— Имран Ахматович, у нас проблема... Да, сейчас зайду. «Папаша», крупнотелый мужчина с безукоризненной выправкой и серьезным взглядом, выслушал об отмене рейса и распорядился:

— Хорошо, идите. И будьте на связи, вам позвонят.

Звонок раздался через полчаса, номер не определился.

— Михаил Григорович, — представился Миша.

— Здравствуйте, — поздоровался мужской голос. — Это вам надо в Уфу?

— Да.

— Сколько у вас человек?

— Шестеро.

— Багаж?

— Ручная кладь.

— Собраны?

— Да...

— В три будьте у информационной стойки в Домодедово, с документами. Всё.

Миша тут же отзвонился «папаше».

— Недурно! — пропел тот и добавил: — Ребят я оповещу. А вы, Михаил, тоже полетите с ними.

— Как? Но я не готов, у меня ни вещей, ничего...

— Паспорт с собой есть?

— Есть.

— Остальное, что надо, купите — оплатим. Непреодолимых препятствий нет?

— Вроде нет...

В аэропорту у стойки плотной кучкой стояла группа крепких ребят со спортивными сумками — его клиенты.

— Добрый день, — подошёл он к ним.

— О, привет! — протянул один из них руку. — Ты, что ль, Михаил?

— Я.

— А я Коля. Летим?

— Летим. В три подойдет человек, проведёт. А я пока кофе глотну.

Ребята отвернулись, а он купил стакан капучино и рогалик в уютном кафе, потом походил кругом, разглядывая обложки журналов в киоске и рекламу по стенам.

В 14:57 к ним подошел мужчина со связкой карточек на шее.

— Вы Михаил Григорович? — спросил он Мишу.

Миша кивнул.

— Добрый день. Я Алексей. Идите за мной.

В боковом коридоре он открыл неприметную дверь без вывески и через узкие коридоры вывел компанию на улицу, где ждал микроавтобус, который привез их на дальнюю стоянку к маленькому самолётику.

— Ого, круто! А ты силён! — воскликнул Николай. — Частный джет?

— Ага, — подтвердил Алексей. — Одного олигарха. Рыжего.

— Рыжего? — удивился Миша.

— Ну да, сам сбежал, а барахлишко оставил.

Самолетик оказался маленьким и страшным, несмотря на удобные кожаные сиденья. После отрыва от полосы он заложил такой вираж, что Миша вцепился в ручки кресла и побледнел. Вскоре трясти перестало, надпись «Пристегните ремни» погасла.

— Слышь, Миш, а ты, говорят, герой! — начал Василий, сидящий напротив.

— Герой? — удивился Миша.

— Ну, в телике выступал. Шпионку вражескую арестовал. Расскажи?

Миша развёл руками:

— Ну что там рассказывать... Шёл с работы, у метро девица с плакатом... Я подошёл, не удержался, плакат и порвался. А потом мент... полиция прибежала, меня тоже загребли, чуть почки не отбили.

— Я ж и говорю — герой! Наш человек!

Миша заёрзал на кресле и сменил тему:

— А что в Уфе делать будем? А то Имран Ахматович меня отправил, а не сказал...

— Мы поддержку оказываем, — пояснил Коля. — Моральную.

— Кому? — спросил Миша.

— Правильным людям. А неправильным — наоборот. Поддержка наоборот как называется?

— Не знаю, но понятно. А правильные — это кто?

— Слушай, давай не будем ребятам мешать. Пойдём в хвост, — Коля встал и пошёл в конец салона.

Миша проследовал за ним.

— Давай я изложу диспозицию, — негромко говорил Коля. — Идёт война. Ну да, это назвали «спецоперацией» в силу формальных причин, но по сути это война. И вовсе не против Украины.

— А против кого? — спросил Миша и сам испугался.

— Со временем поймёшь, — серьёзно ответил Коля. — Да это и не важно. Есть силы, которые это начали и хотят вести до конца. А есть те, кто хочет это закончить. Ни те, ни другие нас не спросили. И так получилось, что мы оказались на одной стороне — и должны делать свою работу.

— Так, а на чьей мы стороне?

— На стороне тех, кто будет идти до конца... Мы на стороне нашего президента. На войне как на войне. Вопросы есть?

Миша хотел было спросить, что насчет тех, кто думает иначе, как та девчонка с плакатом, но спросил другое:

— А зачем вы мне это рассказываете?

— Чтобы доверять друг другу, мы должны понимать основы. Нужны не фанатики и психи — их и так слишком много, а профессионалы, которым можно доверять. Если не согласен, скажи сразу — и вали. А если согласен, мы одна команда — ты рассчитываешь на меня, я на тебя. Согласен?

Миша кивнул.

На дело Мишу не взяли. Он остался в гостинице решать текущие логистические дела. Ближе к вечеру позвонил Коля:

— Слышь, Миш, мы закончили почти. Организуй кабак — посидеть там, расслабиться. Столик на десятерых, подальше от прочей публики.

— Ага, понял. Сделаю.

Кроме их группы, за столом было трое местных, на вид — типичные братки: все мясистые, короткошеие, налысо стриженные. Судя по разговорам, мероприятие прошло спокойно, и участники были этим недовольны.

— Видать, жёстко вы их тут взяли, не высовываются, — говорил Коля.

— Ну дык, а то! — гордо ткнул себя в грудь один из местных, Серый. — Спуску не даём!

— Надо ослабить, — сказал Коля. — Пусть подумают, что отпустило, голову поднимут...

— Как это — ослабить? — местный даже вскочил. — Они голову поднимать, а я — лыбься, как слепой на шухере?

— А Колян-то дело говорит, — усадил его другой местный. — Ты ж, когда на сохатого идешь, даёшь ему подойти поближе, и тогда уже...

— О, понял! — радостно заорал Серый. — Тут нужно с подветренной стороны зайти, чтобы он не учуял.

— Точно! — кивнул Коля. — А что значит — с подветренной? Это значит, что вашего запаха быть не должно.

— В смысле? — напрягся Серый.

— Можно кого другого послать. Вон, как Мишу.

Серый посмотрел на Мишу мутнеющим взглядом и глубоко кивнул:

— Ну, за охоту!

— Ну что, Миша, сможешь ребятам? — спросил Коля.

Мишины уши потяжелели и нагрелись, а сердце застучало громко и неровно — никакого желания помогать браткам у него не было, но и отказывать было страшновато.

— У меня же логистика. На завтра дел полно... — пробурчал Миша и выпил стопку.

— Ну ладно, посмотрим, — буркнул Коля.

Этого Миша допустить не мог. Он встал и, покачиваясь, пошел в сторону туалета, но туда не завернул, а вышел в бодрящие сумерки и набрал номер «папаши».

— Да, Михаил, что случилось? — сразу ответил тот.

— Имран Ахматович, Николай предлагает мне завтра помочь местным, за кем-то проследить. Я не очень понял...

— Зато я понял, — жестко ответил «папаша». — Это их работа, а не ваша. Ваша — обеспечивать тылы!

Вернувшись в зал, Миша подошел к Коле и шепнул:

— Я позвонил Имрану Ахматовичу. Он не разрешил мне участвовать в этом, — и махнул рукой в сторону местных.

Коля то ли с изумлением, то ли с восхищением посмотрел на него и тоже прошептал:

— Ого! Понятно.

Прошло полгода с того февральского утра, когда художественно единый мир раскололся на «наших» и всех прочих. В последнее время Миша почти бросил пить — боялся опьяневшего таракана, который пинал его изнутри в висок и кричал: «Да ты посмотри, кем ты стал! Ты хуже, чем они, — они-то тупо верят, а ты всё понимаешь!»

Звонок в полшестого утра не мог означать ничего хорошего. «С мамой что?» — екнуло сердце. Но оказалось, что звонил «папаша»:

— Михаил, извините, что разбудил, но дело срочное.

— Да, Имран Ахматович. Что?

— Не по телефону. Немедленно берите такси и приезжайте... Адрес я вам сейчас пришлю сообщением.

Пока Миша брился, телефон звякнул — пришло сообщение с адресом. Яндекс-карты показали какие-то промышленные строения в двадцати минутах езды.

Расшатанная «школа» остановилась около ржаво-зелёных железных ворот, к правой половинке которых была приварена бывшая когда-то красной металлическая звезда. Миша расплатился с таксистом и подошёл к воротам, высматривая звонок или дверцу. В воротах лязгнуло, и невидимый голос спросил:

— Фамилия?

— Григорович. Меня должны ждать.

— Заходи.

Открылась узкая щель между створками ворот. Миша вошёл внутрь и осмотрелся. Сбоку стояла корявая застекленная будочка, а рядом военный в форме без видимых знаков различия и с автоматом. Тут же был и Имран Ахматович, небритый и очень взволнованный. Пахло от него не крепким дорогим ароматом, а самым натуральным потом. Он провёл Мишу в металлический барак, где несколько бородатых типов грузили тяжёлые зелёные ящики в двенадцатикубовый фургон. Несколько ящиков были открыты — там лежали чёрные бронежилеты, короткие автоматы и цинки с патронами.

— Имран Ахматович... — медленно начал Миша, — мы же... мирная организация...

— Мирная, мирная. Но сейчас надо защищать то, что нам дорого.

— Кого защищать? Что происходит?

— Происходит попытка государственного переворота. Наша задача — организовать оборону.

— А как же нацгвардия, армия, ФСБ, наконец?

— Надо держать оборону до подхода верных частей. А ваша задача — сопроводить этот груз на нашу базу и организовать два автобуса. Через час автобусы должны быть на базе.

— Имран Ахматович, да где же я их сейчас найду?

— Не найдёшь — будет считаться изменой. Денег не жалеть! — потом добавил тихо: — И не дай твой бог, если позвонишь кому не тому... Шамиль будет тебя сопровождать.

Шамиль, невысокий крепкий бородач в спортивных штанах и камуфляжной куртке, втиснулся рядом с Мишей в кабину, и они поехали.

К тому времени, как фургон подъехал к знакомому зданию, два автобуса были организованы за сто пятьдесят тысяч наличкой.

На базе, среди нескольких дюжин крепких ребят, препираться с которыми мало кто рискнул бы, оказался знакомый по Уфе Коля.

— Привет, турагент! Суперлимузины организуешь?

— Нет, обычные автобусы. — Миша оглянулся и тихо спросил: — А что происходит?

— Вояки взбунтовались, вроде бы переворот устраивают... типа захватить президента и объявить, что он устал... и всё такое.

— Ага, знаю: «Я устал, я ухожу...» А мы-то тут при чём?

— Там охрану уже заменили на чеченов, они безбашенные и верные, а нам надо во внешний круг встать. Держаться, пока наши части не подспеют.

— Как это — держаться? С автоматами против танков?

— Не ссы, можно и с автоматами, ежели умеючи. Да и не будет никаких танков, не девяносто третий год.

Александровский сад был мрачен, несмотря на светлую прозрачность раннего утра. Группа собралась у бетонной коробки касс. Коля, бывший за старшего, выглядел тревожно.

— Слышь, турагент, надень-ка броник! — сказал он Мише.

— Зачем?

— На всякий случай. Случаи, они, знаешь ли, разные бывают...



Бронежилет был тяжёлым и неудобным — и, удивительно, не давал чувства безопасности, а наоборот: казалось, вот теперь ты стал мишенью.

У Коли зажужжал телефон, он приложил его к уху, а потом схватился за рацию:

— Занять позиции! Ждать команды! Всё.

За кустами показалась колонна небольших автобусов с наглухо тонированными стеклами. Четыре автобуса остановились, остальные поехали дальше. Из автобусов выскочили бойцы в чёрном и, как в кино, заняли круговую оборону. Коля побежал к ним, держа руки на виду.

— Что он делает? — спросил Шамиль.

— Не знаю, — ответил Миша. — Договориться, наверное, пытается.

— Какой договориться? — возмутился Шамиль. — С врагом не договариваются, его у-нич-то-жа-ют... — последнее слово далось ему с трудом.

Вскоре Коля в сопровождении нескольких чёрных бойцов пошёл назад. Рация у кого-то за Мишиной спиной захрипела Колиным голосом: «Отбой, всем собраться у касс».

— Что за... херня? — спросил подошедший Василий, которого Миша тоже помнил по Уфе.

— Смотрите! — Коля включил свой телефон и повернул к ним.

На экране телефона были президент и круглолицый Кадыров.

— Я не справляюсь с возросшей ответственность в такой сложной обстановке... Я складываю полномочия... Временно исполняющим обязанности... президента Российской Федерации... назначаю Рамзана Ахматовича Кадырова, — запинаясь на каждом слове, произнёс президент.

— Как временно исполняющий обязанности президента, я ввожу в Москве чрезвычайное положение и приказываю... — голос Кадырова был твёрд и уверен.

— Во-о-от с-с-сука... — прошипел кто-то сзади.

— Ну что, Николай, всё понятно? — спросил один из чёрных.

— Слушай, ты же видел, президент сам назначил Рамзана Ахматовича, — вдруг выскочил Шамиль. — Мы все должны...

Коля едва заметным движением впечатал приклад автомата в бороду Шамиля. Мерзко хрустнула кость, и тот

скорчился на полу, что-то вскрикивая. Один из чёрных быстро обыскал Шамиля и надел на него наручники.

— Псковские на подходе, — сказал Коля. — Будем ждать?

— Нет, — ответил чёрный. — Сразу идём. Только уточню детали.

— Ну что, турагент, идёшь на дело? — Коля повернулся к Мише.

Мишин мозг заработал на предельных оборотах: «В историю мы уже вляпались, а тут есть возможность ее творить. Самому! Подстрелить могут? Могут... Ну и чёрт с ним! Зато будет что вспомнить, детям рассказать. Блин, а детей-то и нет... Зарекаюсь: если вернусь — женюсь, детей заведу. Пора!»

— Я в деле! Только я... это... стрелять не умею, — уверенно ответил он.

— Ничего. Вон те ребята, — Коля кивнул в сторону чёрных, — каждый тридцати таких, как ты, стоит. И псковские тоже не детсадовцы... Да и мы... Будешь оператором!

— Кем? — удивился Миша.

— Оператором, — Коля достал из кармана небольшую камеру «GoPro». — Будешь снимать всё, что происходит. Пользоваться умеешь?

Миша взял камеру в руки.

— Вроде да. Вот тут включить-выключить, вот тут отправить в сеть...

— Отставить в сеть! Снимешь, потом отдашь мне. И никаких съемок на свой телефон. Ясно?

— Так точно!

Подошла вся команда чёрных.

— Всё готово, — сказал старший из них. — Нам откроют проход, дальше действуем сами. ФСО не вмешивается и на глаза не попадается. Мы идём первыми, вы прикрываете. Идём компактно. Хаттабов в плен не брать!

Чёрные, постоянно перегруппировываясь, легко побежали к входу в Кремль, а за ними «соколы». Миша старался не отставать от Коли. Камеру он держал правой рукой на уровне груди.

— Слышь, турагент, — обернулся Коля.

— Да?

— Держи! — он протянул Мише небольшой чёрный пистолет. — Дай бог, не понадобится...

Миша кивнул.

На экранчике камеры мелькали какие-то коридоры, переходы, иногда кусты. Чёрные бойцы быстро пропали из вида, и Миша старался не отставать хотя бы от Коли. Он плюнул на съёмку, прицепил камеру на какую-то петельку на бронежилете и побежал, ориентируясь на тёмные фигуры. Впереди послышался громкий треск, Миша рванулся туда, но его кто-то схватил за руку и затащил в боковой проход — это был Коля, на его распаренном лице блестели глаза с широкими круглыми зрачками.

— Погоди, — сказал он. Его рация хрюкнула, он махнул своим и крикнул Мише: — Вперёд, снимай! Держись у стен! — и скрылся в проёме двери.

Миша шагнул вперед и обомлел — это был знакомый по телевизору кабинет президента. У противоположной стены стоял знаменитый несоразмерно длинный стол, справа на стене висело панно с двуглавым орлом. В помещении пахло гарью, на полу лежали несколько тел, вроде бы не «наших». Миша медленно обвел интерьер камерой и вдоль стены двинулся налево, туда, где скопились бойцы. Он обошёл лежащего ничком парня в камуфляже, чья босая нога была неестественно оттопырена вбок, а под животом чернела лужица крови. Уже пройдя мимо, Миша услышал движение и оглянулся — парень перевернулся на бок и поднимал лежащий рядом автомат. Миша вытащил из кармана пистолет, но сообразил, что тот наверняка на предохранителе, а как снимать — он не знает. Ему стало страшно. Не выпуская из рук пистолета и камеры, он ногой попытался выбить автомат у лежащего. Удар оказался болезненным для подъема ступни, но автомат остался в руках у бородача. На шум обернулись чёрные бойцы, у одного из них в руках вспыхнуло и хлопнуло, а под ногами у Миши противно чавкнуло. Лежащее тело вздрогнуло и опало.

— Вот, сука, живучие... — буркнул стрелявший боец.

— Ничего, небось уже выбирает себе девственниц посимпатичнее, — усмехнулся другой.

«Какие девственницы?» — ошарашено подумал Миша, стараясь не смотреть на тело, а потом сообразил, что исламским мученикам обещано моментальное попадание в рай, где каждого ждут то ли сорок, то ли семьдесят девственниц-гурий.

— Что дальше? — шепотом спросил Миша у Николая.

— Ждём, — ответил тот.

Подошел чёрный.

— Ушли, — сказал он.

— Куда — известно? — спросил Коля.

— Тут вариантов немного. С того конца уже работают. Мы пока тут блокируем.

Миша почувствовал, что ноги не держат от усталости, опустил в стоящее неподалеку кресло и закрыл глаза.

— Эй, турагент, просыпайся, — кто-то тряс Мишу за плечо.

Он с трудом открыл глаза — над ним стоял Коля.

— Что? — спросил Миша.

— Всё!

— Что — всё?

— Совсем всё. Уходим!

Миша встал и, покачиваясь, пошел за Колей и другими «соколами». Чёрных уже не было.

— А что дальше? — спросил он.

— С нами-то? — хмыкнул Коля на ходу. — Как карта ляжет. Могут к ногтю, а могут в герои. А лучше бы просто мимо проехали.

— А не с нами?

— А это не наше дело. Придешь домой — включи телевизор... или врагов почитай в инете.

Они снова вышли в Александровский сад и направились к своему автобусу.

— Ну, бывай, турагент! — сказал Коля, потом помолчал и добавил: — Слышь, ты это... Времена сейчас могут разные наступить. Если какая... специфическая помощь потребуется — найди меня. Позывной — «Филин». А ты — «Турагент» теперь.

Он крепко стиснул Мишину ладонь и, уже не оборачиваясь, зашагал к группе «соколов». А Миша открыл телефон и быстро прошерстил новостные сайты: кроме упоминания о грубо сделанном фейке с якобы отречением президента, новостей не было.

Он вздохнул и подошёл к курящему в стороне водителю:

— Ну что, поехали?..

## Наследники и братья

*(фрагменты детективного романа  
«Полуулыбка девушки в чёрном»)*

Артур бежал, что было сил, с места происшествия, пока не остановил попутку. Добрался он до квартиры брата, тяжело дыша, в самых расстроенных чувствах, какие только может испытывать человек, потерявший внезапно близкого друга, и которого преследуют! Преследуют ни за что, лишь с одною ясною целью – арестовать и посадить в тюрьму!

Он позвонил в интерком при парадном подъезде. На его счастье, ему тут же ответили и открыли дверь. Он пришел как раз, когда его сестра Анна Львовна с мужем Григорием Павловичем собирались уйти от Генриха Львовича.

— Заходите, возвращайтесь, господа! У меня есть сообщить вам нечто совершенно потрясающее!

Все в тревоге вернулись в дом.

— Что ещё?! – в ужасе воскликнула супруга Генриха Мария Григорьевна, растрёпанная, неприбранная и совершенно потерявшаяся в этом содоме.

— Только что погиб Фёдор. Дядя Федя... Преданный водитель отца. Это случилось у меня на глазах. Его убил следователь Мартынов...

— Что?! — хором вскрикнули все. Тень ужаса пробежала по лицам присутствующих.

Артур бросился в широкое мягкое кресло в гостиной и закрыл лицо руками. Анна Львовна подала стакан воды. Артур выпил залпом. Через минуту он как будто успокоился и рассказал всё, что пережил в этот день.

— Он преследует всю семью,— мрачно сказала Анна Львовна, — и он не успокоится.

— Почему? Почему? – всплеснул руками Генрих Львович. – Вот чего я не понимаю!

— Он ищет деньги. Большие деньги, господа! – веско произнёс Григорий Павлович.

— Возможно... А возможно, он ищет нас, – раздумчиво заметил Артур, более всех склонный к художественной интерпретации событий. – Помните Фридриха

Дюрренматта? Его трагическую комедию «Визит старой дамы»?

— При чём здесь театр?! – раздраженно воскликнул Генрих Львович.

— А при том, братец, что этот Мартынов разыгрывает перед нами, - а по-настоящему втягивает нас в психологический спектакль, - где каждому отведена своя роль! Спектакль жуткий, как «Визит старой дамы». Я вот только не понял, кто стоит за этим натуральным действием. Может быть, сам наш гениальный папаша? Его скоропостижная смерть и немедленная кремация тела вызывают у меня подозрения! А не пытается ли наш «Большой брат», оставаясь за кулисами, вызвать среди его наследников конфликтную ситуацию со страшным призраком смерти, преследованием семьи, диким напряжением всех эмоций, чтобы понаблюдать за нами и, в конце концов, узнать, кто действительно любил своего отца, а кто только ждал наследства. Как вам мой сценарий?

Артур с кривой улыбкой и лихорадочным блеском в глазах уставился на брата.

Присутствующие онемели. Трудно было переварить в одночасье столь резкий переход от настоящей трагедии к некой пошлой комедии, с потугами на серьезность.

— Господь с тобою! – махнул рукой Григорий Павлович. – Честное слово, Артур, ты не пьян ли?

— Да ты же сам видел тело отца... и заключение врача! – вскричал Генрих Львович. – Артур, я понимаю, тебе нужно отдохнуть, выспаться, ты переутомился, пережил сумасшедший день... – он запнулся и с удивлением, и даже опасением посмотрел на сестру. – Артур, дружок, а может, мы обратимся к доктору... ну, к этому...

— Психиатру? Не дождетесь! – нервно выкрикнул Артур и, поднявшись с кресла, подозрительным взглядом осмотрел всех. – А может, вы все здесь заодно?! Нашли козла отпущения?! А? Навесите на меня отцеубийство и запрячете в психушку! – он обвел воспаленным взглядом присутствующих. – А денежки папашины разделите потихоньку и выйдите чистыми из воды...

— Артур, дорогой, сядь, успокойся, – сестра медленно направилась к нему; так осторожно подходят к бешеной собаке, чтобы одним махом схватить её и усыпить. – Гриша, подай ещё холодной воды. Маша, неси срочно успокоительное, что там у тебя есть! Ты всегда глотаешь какие-то таблетки... Артур, вот, выпей... Ты действительно

видел, как убили Фёдора? – вкрадчиво переспросила Анна Львовна, подвигая стул к креслу Артура.

— Видел, – он отпил глоток-другой, проглотил таблетку успокоительного, стал легче дышать. – Спасибо, уже лучше. У меня астма, а этот стресс вызвал приступ. Давно уже не было. Я бежал с того места на попутках... Так противно; оставил Фёдора одного...

— Не плачь, брат, возьми платок, – Генрих подал ему чистый носовой платок.

Через несколько тягостных для всех минут Артур пришёл в себя, оглядел присутствующих более спокойно, и неожиданно предложил:

— А может, поговорим об отце? Мы всё равно здесь, как в мышеловке. За нами следят, за нами охотятся, сейчас мы сидим в одном месте; возможно, призрак очень скоро появится снова, придёт за кем-то из нас. Но если то, что я видел сегодня, действительно произошло, – а это произошло, – то виновником всему – наш папаша! Давайте поговорим о нём.

— Что ж, это, пожалуй, не Дюрренматт, а детектив Агаты Кристи, – положив ногу на ногу, произнесла Анна Львовна с ироничной усмешкой. – За окном воет ветер, тьма, холод, в гостиной собрались наследники, подозревающие друг друга в убийстве отца и грязной закулисной игре с его завещанием и наследством. Всё так, теперь можно говорить о почившем батюшке.

— Отец, в сущности, был нормальным человеком. Что ты на меня так уставилась, Анна? – испугался Генрих Львович пылающего взгляда сестры. – Я не хочу говорить о нём ничего плохого! Человек умер, как любой другой человек, и унес всё плохое с собой в могилу; и говорить о нём плохо – значит осквернять его память.

— Кто ж тебя просит говорить о нём плохо? Или ничего хорошего у тебя не найдётся сказать об отце? – съязвил Артур.

— Именно найдётся! – разгорячился Генрих. – Мы никогда ни в чём не нуждались! Помню, как-то, я был мальчишкой, мы играли во дворе в хоккей, и мне специально один мальчишка сломал клюшку. Я ужасно расстроился, пришёл домой в слезах; отец меня увидел, спросил, в чём дело. Назавтра у меня была новая клюшка, да ещё какая!

— Это всё? – нетерпеливо спросила Анна Львовна.

— Я же сказал – одно хорошее,— твёрдо произнёс Генрих Львович.

— Одно хорошее, говоришь? Мы здесь не на панихиде, Генрих, мы на суде совести. Это наш Судный день, если хочешь. Отцом надо гордиться. А я, да и ты, брат мой, - мы не любили отца. Дань, которую он платил нам, своим детям, была чисто материальной. Генрих прав, мы не нуждались материально, но мы были обездолены морально. О, как я хотела гордиться моим папой! Точно, как гордилась своим отцом моя близкая подруга! И, как я слышала, гордились другие девочки в классе. Но от нашего отца веяло осенним холодом, даже зимней стужей и отчуждённостью.

— Ты не права, сестра! Я помню, как он брал нас с мамой в парк по воскресеньям. Или мы выезжали с Фёдором за город.

— Это было так редко!

— Да, но жизнь - это не те дни, что прошли, а те, что запомнились!

— Но для ребенка важнее поцелуй матери, дружеское объятие отца, его одобрение, его поддержка, его пример! О Боже! И это теперь только открывается мне во всей своей болезненной правде! Я столкнулась с неумением справляться с трудностями, с которыми мог научить меня справляться только отец. Но он был глух к нам. А дети всё понимают, всё видят, всё помнят, - чего взрослые даже и не подозревают, что может помнить ребёнок!

— Анечка, успокойся, дорогая, возьми себя в руки... Сейчас не время... Пусть всё было так, пусть ты права, но вспомни нашего деда, его отца! Он был чёрствым и деловитым, как робот.

— Это не снимает с папаши ответственности.

— Это многое объясняет, Анна, и передаётся по наследству. Да ты сама не слишком ли строга со своей Анжеликой? Ей уже восемнадцать, а ты её на привязи держишь и повелеваешь, как диктатор. А?

Генрих говорил с болью. Он не желал обидеть сестру или выгородить отца; главное, чего он откровенно пытался добиться - это погасить пожар страстей, старых обид, накопившихся в душах под слоем прошедших лет и готовых в критическую минуту прорваться наружу. Он, может быть, единственный понимал всех, но будучи безвольным человеком, предпочитавшим всё сглаживать, а не воевать, - понимал своё бессилие что-либо изменить радикально и



хотел направить беседу в прагматичное русло решения насущной проблемы. Но Анна словно и не слушала его.

— Зачем он женился на нашей матери, если не любил её? Он мог подождать и жениться на любимой им Ольге Исааковне! И ведь женился, и как! Года не прошло после кончины мамы, а он уже расписался с новой женщиной, твоей матерью, Артур, и ввел её в наш дом! Мы с Генрихом были ещё в школе, мы получили шок, просили его не делать этого, говорили, что даже по еврейским обычаям мужчине надо подождать год, всего лишь год скорби, почитая память умершей. Но он не хотел нас слушать! Хуже того, ты должен знать это, Артур, твоя матушка вошла в наш дом, будучи уже беременной тобой! Ты родился через пять месяцев после свадьбы. Это значит, что ты был зачат ещё в то время, как наша мать угасала в страшных муках! А это значит, что наш папашка волочился за Ольгой Исааковной еще при жизни, а вернее сказать, во время болезни Ребекки Гиршевны. Ты знал об этом? Да, впрочем, откуда?! Но если б знал, как бы ты отнёсся к нему? И как могла Ольга согласиться на такое?! Я готова была её убить в то время...

Артур сидел в кресле, закрыв глаза, сцепив тонкие длинные пальцы рук, ужасно бледный, и видно было, что он потрясён и смущён чрезвычайно.

— Анна! Ну, при чём тут Артур?! – вступился за брата сердобольный Генрих Львович. – Что он мог тогда сделать? И что может сейчас? Ты просто ставишь человека в неловкое положение, даже глупое положение, вот и всё.

— Нет, Генрих, – очнулся Артур, – вовсе не глупые вопросы задаёт мне сестра. Я этого ничего не знал. Я всегда чувствовал, что вы, особенно же Анна, недолюбливаете меня, но не мог понять - почему. Теперь я знаю. И не осуждаю, даже одобряю. Я и сам бы чувствовал точно так же, если бы так любил свою мать, как вы вашу. Но у меня... Но мне не представилась такая возможность, ну, то есть - любить мою мать... Она погибла в дорожной катастрофе, когда мне было семь лет. Мне сейчас тридцать, значит, двадцать три года я не знал любви мамы, то есть лишь из воспоминаний детства...

— Артур, прости! – вскрикнула неожиданно для всех, а, пожалуй, и для себя самой, Анна Львовна, однако вполне искренне. Она встала, намереваясь подойти к нему, но он остановил её жестом.

— Но в то время отец и его доктор Алла Ильинична практически восстановили мой рухнувший детский мир! Создали иллюзию, будто ничего не случилось... Матушку я хорошо помню, особенно по её замечательному портрету маслом, заказанному отцом. Вы не любили отца и его доктора, которая, как я понимаю, стала в ту пору его сожительницей. Но вы же сами знаете, как отцу было тяжело после смерти второй жены, которую он, кажется, - не могу знать достоверно, - любил больше первой, то есть вашей матушки. Могу ли я судить его? И кто из нас без греха? Я могу судить лишь себя! Я не был хорошим сыном. Я уехал в Америку, когда отец тяжело болел. Я же не знал, что он был здоров, как утверждает Анна, но я был крайне эгоистичен и видел лишь свои интересы. По отношению к нему, на его взгляд, я выглядел просто предателем.

— Ты прав, брат! Мы все эгоистичны! Мы были настолько ослеплены нашим горем, ранней смертью нашей мамы, так злы на отца за его шаг с женитьбой, так долго и глупо оберегали, в кавычках, эту дурную память, не в силах простить и забыть, что не видели, да и не хотели видеть его глубочайшей трагедии. Всё перехлестнулось, смешалось... Наши личные чувства, смерти мам, твоё рождение, - и наше чувство покинутости, даже беспризорности... Да, да! Странно звучит, но именно это чувство было у нас, помнишь, Анечка?.. Мы с Аней скоро поступили в университеты и оставили дом, а значит, и тебя. Так что связь между нами стала совсем поверхностной. Только позже, буквально накануне твоего отъезда в Америку, мы с тобой сблизились, и я был безумно рад этому.

— И я, Генрих.

— Ну и хорошо! Значит, примирение! – захолопал своими крупными ладонями солидный Григорий Павлович. – Но теперь, господа, самое время решить, что делать? Ты нашел Бергмана, Генрих?

— Бергман исчез, – болезненно поморщившись и потирая виски, мрачно произнёс Генрих.

— Исчез?!!

— Да, исчез. Второй день его телефоны не отвечают. Ни дома, ни в конторе, ни в машине. Нет и его семьи. И никто не знает, где он, и где все они.

— Чёрт! Мы в ловушке! Этот Мартынов, дьявол, может нагрянуть сюда каждую минуту, – Артур нервно поднялся и зашагал по гостиной.

— Успокойся. Сядь. Слушай меня, – необычно для него строго сказал Генрих Львович. – Вот ключ от моей машины, вот моя визитка, вот деньги на билет и на дорогу. Мчись в аэропорт «Пулково», найди Бориса Васильича, передай от меня привет и визитку, он тебя посадит на любой самолет в Европу, Америку, Израиль, - куда угодно. Улетай скорее. Спасайся. Мы с Аней здесь свои, да и нужны мы многим, а ты здесь уже чужой. А теперь ещё тебя могут арестовать за участие в покушении на полицейского! Это плохо, очень плохо. Не уверен, что у меня найдутся такие влиятельные люди, чтобы тебя запросто вытащить. О твоей доле наследства не беспокойся. Как только всё прояснится, получишь свою долю. Я обещаю.

— Спасибо, брат! – Артур обнял Генриха Львовича.

— Да, Артур, лёгкого полёта, а главное - скорейшего вылета, – присоединилась к ним Анна Львовна.

В эту минуту в прихожей раздался продолжительный и тревожный звонок в дверь. Все замерли в напряженных позах. Звонок повторился дольше и настойчивее.

— Артур, скройся в моей спальне, по коридору до конца. Все садятся вокруг стола в гостиной, пьют чай. Я пойду... открою, – Генрих Львович поправил свои густые длинные волосы, заметно поседевшие за последние несколько дней, и мужественно пошел открывать дверь. Он даже не спросил: «Кто там?», а просто распахнул её, демонстрируя полную уверенность в себе.

На пороге оказался частный детектив Юрий Иванович Карп. Он тут же без приглашения прошёл в прихожую.

— Юрий Иванович! Слава Богу! А мы ожидали другого... – воскликнул хозяин, не скрывая своей радости. – Прошу вас, проходите.

— Другой по дороге... возможно... – буркнул детектив и прошёл в гостиную. – Добрый вечер, дамы и господа, позвольте представиться: частный детектив Юрий Карп. Мы с Генрихом Львовичем сотрудничаем, некоторым образом.

— Да, это мой хороший старый знакомый, консультант, он много лет работал в милиции, а потом в полиции, и, я думаю, поможет нам советом, а мы в долгу не останемся.

— Оставьте долги, Генрих Львович, дело очень серьезное. Я буквально вчера находился совершенно случайно в кабинете моего старого друга, полковника Барсина, когда произошла встреча между ним и следователем Мартыновым. Мартынов взбешён, требовал ордер на арест вашего братца, Артура Львовича. Если он

не здесь, его нужно предупредить, чтобы он немедленно исчез из Петербурга.

— Он здесь. Артур! – крикнул Генрих Львович вглубь квартиры.

На зов появился Артур, бледный, с испуганным взглядом.

— Я уже распорядился, Юрий Иванович, он на моей машине сам едет в Пулково, там садится на любой самолет, хоть в Израиль, хоть в Японию, и сегодня же ночью улетает.

— На вашей машине ему ехать нельзя. Я отвезу его в аэропорт.

— А что нам делать? – в растерянности спросил Григорий Павлович.

— Вам желательно всем разойтись. До свидания.

Он повернулся к выходу, остановился, обратился к Артуру.

— Замаскируйтесь как-нибудь, натяньте, что ли, шапку глубже на глаза, и шарфом скройте пол-лица. В лифт не садитесь. Я выйду первым, а вы сразу за мной. Если кто-то появится на лестнице, поднимитесь осторожно этажом выше, когда пройдут, спуститесь вниз и из подъезда сразу направо, я там с «жигулями» буду вас ждать.

Он быстро вышел. Артур получил от брата мохнатую шапку, Анна повязала ему шарф.

— Ну, в добрый час, Артур! Не робей, Юрий Иванович - надежный человек. Иди, с Богом.

Генрих Львович обнял его. Анна тоже обняла брата. Тот стоял, как замороженный. Наконец собрался с мыслями, тряхнул головой и быстро вышел.

\*\*\*

После долгих поисков встречи с дядей, Артур, наконец, достиг цели. Дядя Игорь принял его в своем особняке в дорогом районе Антверпена, но предупредил, что времени для встречи у него совсем мало; это звучало сухо и означало, что на любезности и сантименты не следует рассчитывать.

Артур давно не видел дядю. Вообще все их встречи были случайными, короткими и холодными. Он уже понимал, что, скорее всего, причина этого кроется в отношениях между братьями. Игорь Давидович на два года был старше отца. Уехал он из России совсем молодым. По рекомендации его отца, Давида Гиршевича, он был принят

еврейской общиной города и начал свой бизнес, который медленно и постепенно пошёл в гору.

Слуга провел Артура в кабинет. Когда Артур вошел, он чуть не вскрикнул, до того поразительно было нынешнее сходство дяди с отцом.

Игорь Давидович был одет с иголочки. Крупный бриллиант, изящно оправленный в большом перстне, сверкал на мизинце правой руки. Тонкая золотая оправка очков для чтения блестела, словно говоря: «Мы служим королю». Волосы прямые, изрядно поседевшие, но ещё довольно густые, он зачёсывал назад, открывая высокий лоб. Лицо его холёное, тем не менее, было усеяно мелкими морщинками, а глаза, небольшие, светлые и быстрые, смотрели холодно и приметливо. Надменные губы были тонки и загибались уголками вниз, что придавало лицу выражение брезгливости или пренебрежения, в то время как у Льва Давидовича уголки губ бывали обычно направлены вверх, точно у маски развеселой комедии.

Таким запечатлел дядю острый глаз фотографа–художника Артура Фридланда. Холодок пробежал по спине Артура, и даже слабость в ногах испытал он, когда только ступил на порог дома дяди. Теперь, в шикарном кабинете, куда его вежливо проводил слуга, чувство это ещё усилилось.

В отличие от своего брата, Игорь Давидович, казалось, отталкивал собеседника, тогда как Лев Давидович привлекал. Выражение лица дяди не только не располагало к себе, а даже немного пугало, уничтожая всё желание встречаться с ним. «Злобная, жадная и мелкая душонка», - подумал про родственника Артур.

— Как вы меня обманули, Артур! – воскликнул неожиданно дядя вместо приветствия, поднимаясь из кресла ему навстречу. – Представились покупателем, а я и клюнул. Стар стал. Нехорошо.

Он пожал племяннику руку, но не очень горячо, а скорее сухо, и предложил сесть в кресло напротив него.

— Какой же вы хитрец, однако! Так провести дядьку! – он искусственно рассмеялся.

— Так вот ведь и вы нас обманываете, – глядя прямо в глаза собеседнику и немного волнуясь, произнёс Артур.

Лицо дяди передернулось, и губы сделались ещё тоньше, как две верёвочки. Он помолчал.

— Дурно так начинать, молодой человек. Мы так можем и поссориться, – угрюмо проговорил он. – Не за этим же вы сюда приехали.

У его ног лежал огромный пёс корсиканской породы, черной масти с белым треугольником на груди. Пёс, реагируя на тон хозяина, наострил уши и сел, вперив свои маленькие коричневые глазки в Артура.

Артуру сделалось не по себе. Опять разболелась голова. Назойливый взгляд враждебных глаз нервировал его ужасно.

— А можно собачку... куда-нибудь отправить! Очень злобно она на меня смотрит.

— А можно не грубить и выбирать выражения? - дядя неприязненно смотрел на Артура. - Не бойтесь, пока я приказа не дам, Центурион никого не тронет.

Артур потупил взгляд. Он действительно приехал не ссориться со своим дядькой, а только, пожалуй, на первый раз познакомиться и выяснить истину о деньгах отца и завещании.

— Вы меня простите, дядя Игорь... Конечно, вы правы, так дурно начинать встречу... Тем более, что не виделись мы с вами, наверное, ведь уже десяток лет, нет? Больше! Я это без умысла... не подумав... наболело...

— Вы за деньгами приехали? - уже чуть иначе спросил дядя.

— Нет... То есть да, но не для себя... а для маленького брата, для сына младшего отца моего...

Игорь Давидович заметил, как нервничает молодой человек, и более того, обратил внимание на особенную болезненную черту собеседника. Лицо Артура вдруг сделалось землисто-серым, и он уже не смотрел в глаза, а куда-то в пол, потирая при этом руки. Дядя нажал незаметную кнопку в подлокотнике кресла, и в дверях появился слуга. Хозяин что-то сказал ему по-французски, и тот быстро удалился. Через несколько минут он вкатил в кабинет тележку с кофейным набором, блюдом с пирожными, сахарницу, шоколад. Слуга вежливо наклонился, предлагая гостю кофе со сливками. Артур немедленно согласился.

— Добавьте сахар и возьмите эклер. В моей кондитерской их делают в лучших традициях. Сдаётся мне, молодой человек, у вас проблемы со здоровьем.

— Нет, нет, дядя Игорь, никаких проблем, просто устал... Давно не ел и... перенервничал. Но спасибо за угощение.

Артур отпил большой глоток из чашки тонкого фарфора, и сразу по его телу побежало целительное, успокоительное тепло. Игорь Давидович молчал напротив. Центурион, повинуясь жесту хозяина, снова улёгся у его ног.

Картина была довольно карикатурная, если не сказать - жалкая: нищий студент пришел просить милостыню у богатого дядюшки! Действительно, Артур в длинном шерстяном свитере, в поношенных джинсах, с волосами длинными и взъерошенными, и с усталым болезненным лицом сидел против своего дяди, похожего на барона Ротшильда, - в смысле роскоши вокруг, да ещё с породистым псом у ног. Чёрный Центурион поглядывал на хозяина и, кажется, ловил его мысли.

Закончив пить кофе, Артур благодарно посмотрел на дядьку, откинулся на спинку кресла и тут же, сам того не желая, погрузился в дрему. Веки его тяжело сомкнулись, и он уже не видел ничего вокруг. Погружаясь в сон, Артур успел ещё подумать: не отравил ли его добрый дядюшка, дабы избавиться от назойливого просителя. Это была последняя мысль, которую он успел запомнить в тумане меркнущего сознания.

— Однако, - иронично глядя на племянника, только и произнес Игорь Давидович, обнаружив того заснувшим в кресле в кабинете. Он приказал слуге перенести Артура в отдельную комнату, раздеть и уложить спать.

Наутро Артур, отдохнувший, выспавшийся и принявший горячую ванну, сидел за столом в столовой дома дядюшки и наслаждался непривычно для него обильным завтраком. Слуга предложил Артуру шампанского в запотевшей холодной бутылке.

— В честь чего это, дядя Игорь? – недоуменно оглядывая стол, спросил Артур.

— В честь моего племянника!

— О, вы лукавите, дядя Игорь!

— Ничуть. Я люблю принимать гостей, - и не меньше вашего папеньки. Так вот, позвольте мне принять вас, как подобает родному дяде, тем более что после смерти вашего отца мы теперь - самые близкие родственники. Формально, конечно, вы теперь сирота, как и я, впрочем, но ваш дядя ещё жив и к вашим услугам. Выпьем!

Они выпили, чокнувшись бокалами. По столовой прокатился кристально чистый звон.

— Угощайтесь, молодой человек! Поскольку вы изволили спать до полудня, наш завтрак превратился в бранч,

поздний завтрак или ранний обед, так это называется, не так ли? Прошу, пробуйте. Устрицы свежайшие. Рекомендую вот с этим соусом. Икра черная, русская. Прошу.

После завтрака и кофе они вышли в оранжерею с яркими тропическими цветами и деревьями.

— Это мой пустынный уголок...

«Приветствую тебя, пустынный уголок,  
Приют спокойствия, трудов и вдохновенья,  
Где льется дней моих невидимый поток  
На лоне счастья и забвенья».<sup>1</sup>

Артур приподнял брови и с уважением посмотрел на дядю; тот шёл задумчивый, словно взвешивал, говорить ли с Артуром откровенно, или отложить разговор. Наконец, он решился.

— В Европе любят цветы, а в Бельгии особенно, впрочем, это не предмет разговора. Итак, мы виделись последний раз лет десять назад? Я тогда прилетал по делам в Нью-Йорк, ну, и заглянул к вам на бруклинскую квартиру. Ещё там, или сменили?

— Там.

— И как дела двигаются?

— Медленно. Но я кое-чего добиваюсь.

— Хорошо. Я тогда виды на вас имел, но вы, молодой человек, меня почему-то отвергли. Ну, да это уже в прошлом. Вы помните ту нашу встречу?

— С трудом.

— Неприятно вспоминать?

— Нет, просто плохо помню. У меня тогда действительно трудности были. Да и с отцом конфликт был — не мог он принять мое непослушание; вы правы, дядя Игорь.

— Понимаю. В чём-то мы даже похожи. Я работал с ранних лет. Запомните, молодой человек: кто не работает с юности, тот обрекает себя на медленное самоуничтожение.

Артур подумал, что дядя сейчас впадёт в маразматический пафос, и приготовился к худшему.

— Я начал трудиться, иначе говоря, зарабатывать себе на жизнь, довольно рано. И это при всём том, что семья была обеспечена абсолютно. Но после гибели в первых же боях под Ленинградом старшего брата, первенца отца, мой папаша стал со мной особенно резок и придирчив, будто я был виновен в этой семейной трагедии, гибели брата на войне. Но я терпел, страдал и молчал. М-да, но ваш отец,

---

<sup>1</sup> «Деревня». А. С. Пушкин



Артур, мой младший брат, был, в некотором смысле, необыкновенным человеком, – продолжил дядя вкрадчивым, как показалось Артуру, голосом. – Он рос, как и все мы, в семье деспота. Отец наш был деспотичен, вспыльчив, ворчлив, но только Лёвочка сумел найти ключи к его сердцу. Это, согласитесь, Артур Львович, искусство! Но, добавлю вам: мы все любили Лёвочку. Да и как было его не любить?! Остроумный, весёлый, быстрый на решения, и немного с хитрецей. Но, согласитесь, так ведь и положено человеку деловому. Вы так не считаете, Артур Львович?

Игорь Давидович незаметно бросил на Артура очень внимательный, изучающий взгляд.

— Я думаю, что отец был действительно человеком сложным. Знаете, я ведь узнал его больше, когда всё это случилось... И когда я приехал к нему в Израиль, на его как бы воскрешение.

— Интересно, интересно, продолжайте, Артур; мне очень бы хотелось узнать побольше о моем покойном брате.

— Разве вы его не знали?

— Хороший вопрос. Но я отвечу вам честно – нет, не знал.

Они пошли обратно. Артур тоже украдкой посмотрел на собеседника. Игорь Давидович Фридланд являл собою пример в высшей степени хорошего тона и утончённого вкуса. Кроме одежды и манер, это ощущалось в подборе картин на стенах, статуэток в разных комнатах его жилища, всего интерьера большого дома, а также в его знаниях вин и самых изысканных блюд европейской кухни.

— Так вот, – усевшись в креслах в кабинете, продолжил Игорь Давидович, – старший брат погиб под Ленинградом. Нас же во время войны эвакуировали на Урал. Отец там работал в каком-то ведомстве. Для всех времена были тяжелыми, но для нас относительно терпимыми, потому, что отец умел всюду устраиваться, – кроме отношений внутри семьи. Младший брат Лёвочка стал баловнем отца и его любимцем. Это бывает у тиранов. Можете себе вообразить, молодой человек, какое детство у нас было? Мать вообще думала только о себе, но и ревновала отца ужасно. И это – всю их совместную жизнь. Сколько сцен ревности, унижительных и ненужных для детского глаза и уха, мы видели и слышали!

В его тоне было много горечи, а лицо исказилось выражением то ли сожаления, то ли жалости к себе. Артуру

на миг почудилось, что его дядя, чисто внутренне, похож на помещика Плюшкина из гоголевских «Мёртвых душ», только вместо старых вещей, как у Плюшкина, в кладовке его души пылились старые заплесневевшие обиды. Артур вздрогнул, неожиданно поняв весь невероятный диссонанс между блестящей внешностью дядюшки и его внутренним миром!

Дядя сделал знак собаке, и огромный зверь послушно улёгся у его ног.

— А вы знаете, дядя Игорь, я нахожу некоторое сходство между нами. Отец тоже не был достаточно справедлив с нами, его детьми, был вспыльчив и резок, но меня как-то выделял из всех, и баловал больше, и я это только недавно понял. А потом я попал к нему в немилость.

— Да, да, как и я у своего! Поразительно, как похожи наши судьбы!

Он примолк. Артур пытался разобраться в дядиных намерениях. Что-то ему мешало поверить в чистоту помыслов последнего.

— А вы знаете, Артур, что означает закон первородства?

— Признаюсь честно, весьма поверхностно.

— Не знакомы с историей Иакова и Исава?

— Это из Библии? Сыновей Исаака? Весьма приблизительно. Я, конечно, интересовался Библией, но только ради общего ознакомления, всё-таки Книга Книг. Но вот когда я побывал в Израиле, ещё при самой первой встрече там с папой, — Артур заметил, как при слове «папа» дядя болезненно поморщился, — познакомился с раввином, который начал опекать семью отца. Так вот, он стал посвящать меня в премудрости Святого Писания. Но мы едва начали, времени не было. А жаль. Сегодня я понимаю, какие горы, целые Гималаи человеческой мудрости мы недополучили! Что ж, пробел в образовании...

— Больше! Пробел и в воспитании! Похвальная самокритика. Но вам, Артур, даже трудно понять пока, насколько глубока эта книга, насколько она отражает человеческую психологию, глубинные мотивы движения души человеческой. Да, я интересовался ею серьезно, включая частные и регулярные занятия с почтенным раввином местной общины. Признаюсь, Тору, как её называют верующие иудеи, невозможно понять без комментариев мудрецов, без объяснения текста знатоками Торы. Но тут я столкнулся с удивительным для меня явлением, а именно: все толкователи представляли

описанные в Библии события по-своему! И спорили, и отстаивали каждый свой взгляд! И каждый в комментарии своём был прав! Не уникально ли?! Отсюда родилась поговорка: «Семьдесят лиц у Библии». Но вы понимаете, Артур, какой вывод из этого следует?

— Как и в природе, Игорь Давидович: многообразие видов, жанров, мнений! Не так ли?

— А вы мне нравитесь, молодой человек! – дядя улыбнулся и хлопнул ладонью по подлокотнику кресла. – Именно право на многообразие мнений. А ещё точнее: право на своё мнение! И это при едином каноническом тексте. Позже выделились группы толкователей, которые сами стали классиками в понимании сказанного в тексте от Бога.

Он встал и размял затекшие члены.

— Пойдемте, молодой человек, долго сидеть вредно. У нас с вами впереди сутки, не правда ли? Вы улетаete послезавтра?

— Да.

— Ну, вот и замечательно. Одевайтесь. Поедем на природу, в парк, там и побродим. Если, конечно, вам ещё не надоел старый брюзжащий дядька.

— Почему же надоел? Вы себя оговариваете, Игорь Давидович, с вами очень даже интересно.

— Хм, – удовлетворенно хмыкнул дядя и пригласил слугу, который помог хозяину облачиться в тёплое пальто с каракулевым воротником, подал шапку и распахнул двери, провожая к машине, ожидавшей у входа.

— Да, люблю Ривиренхоф! Чудное место для прогулок пешком, а можно и на велосипеде. Летом я ещё катаюсь здесь на велосипеде, да, да. А зимой приятно по снежку походить. Но последнее время всё меньше снега бывает. Погода, знаете ли, в последние годы совсем изменилась к худшему. Да, впрочем, как и всё вокруг. Здесь ещё и концерты весьма приличные можно послушать. Ну, вот и приехали. Выходите.

— Совсем близко, – удивился Артур, выходя из машины.

— От центра двадцать минут на трамвае. Я, когда только приехал в Бельгию, в Антверпен, в свои молодые годы, сюда на трамвае приезжал. Или на велосипеде. Злость из себя изгонял, крутя педали до седьмого пота. Знаете, молодой человек, весьма помогает в подобной ситуации физический труд.

Они пошли парком с чудными прудами, где в зеркале вод плавали серые облака.

— А расскажите-ка, молодой человек, о вашем роде бизнеса.

— У меня фотостудия, дядя Игорь. Заработать этим делом можно, но чтобы жить действительно богато, надо подняться на вершину этого искусства. А это приходит с опытом, с терпением, с поиском. Искусство портрета я ценю выше всего. И неважно, это портрет музыкальный, живописный или литературный. Только мастер портрета – настоящий художник!

Артур говорил восторженно, увлечённо, как и всё, что он делал.

— Ведь во взгляде, повороте головы, напряжении губ, складках лба, морщинках век – весь человек! Кто это сможет передать – тот гений!

— И как бы вы, Артур Львович, нарисовали меня? Хотя фотография, вы уж меня простите, на мой взгляд, всё-таки – простая копия предмета наблюдения, его отражение на фотобумаге. Не сравнить с картиной кисти художника.

— Это зависит, Игорь Давидович, от того, кто стоит за фотоаппаратом. Как и от того, кто стоит за мольбертом.

— Что ж, пожалуй, убедили. Итак, мой портрет в ваших глазах, господин юный Рембрандт ван Рейн.

Артур остановился, отошёл от дяди, который замер на месте, словно памятник; внимательно окинул взглядом с некоторого расстояния, зашёл справа, слева. Дядя, тем временем, с усмешкой следил за движениями племянника.

— Трудно, Игорь Давидович.

— Что ж так? – приподнялись брови Игоря, а губы искривились в досадливой усмешке.

— Боюсь, не схватить натуру. Мало знакомы ещё, дядя Игорь.

— Вот как? Для простой фотографии нужно долгое знакомство?

— Для фотопортрета, Игорь Давидович. Тут нельзя ошибиться. Ну, представьте себе, что я, вместо доброты душевной, высвечу жадность и коварство? Что почувствует заказчик? Или наоборот, деспота и тирана превращу в добрейшего и развесёлого дядюшку? В угоду ему, разумеется.

— Как? И такое возможно в фотографии?

— Ретушь, «фотошоп», техника, и, главное, установка художника.

— Непостижимо! Что ж, вы меня заинтриговали.

Они медленно брели по тропинкам старого парка. Ветер дул холодный и, казалось, именно он охлаждает атмосферу между идущими рядом мужчинами. Впрочем, в процессе общения оба они стали ощущать некоторое потепление между ними.

\*\*\*

— Дядя Игорь, я всё же хочу понять, куда девались деньги отца?

Игорь Давидович застыл, точно сфинкс. Он опустил глаза, скрестил пальцы рук и, казалось, заснул в своём кресле. Так длилось минуты три. Артур уже начал беспокоиться, что с дядей что-то случилось. Однако после долгой паузы дядя поднял глаза и пристально посмотрел на племянника.

— А никаких денег у твоего отца нет!

— Нет?

— Он мне остался должен десять миллионов долларов, — жёстко глядя Артуру в глаза, сурово сказал Игорь Давидович.

— Как так?

— Ваш папа однажды просил меня прислать ему для особых клиентов бриллиантовые кольцо с серёжками и перстнями на общую сумму в десять миллионов долларов. Он просил меня выполнить заказ у известного ювелира. Я выполнил его просьбу. Заказ с посыльным и с соответствующим сопровождением отбыл к нему в Петербург. Деньги же я не получил, потому что, по утверждению Лёвушки, он не получил заказ! Такого в моей практике никогда не случалось! Мои коллеги здесь были весьма озабочены. Посыльные не вернулись. Что произошло с бриллиантами, осталось неизвестным. Я уплатил все издержки из своего кармана. Что там произошло, непонятно.

— Тогда же погибла моя мать?

— Да... Никаких вразумительных объяснений от брата я не получил.

— Но... должны же быть объяснения... — медленно и напряженно произнес Артур, не глядя на дядю.

Опять началась головная боль и та противная тошнота, что почти всегда сопровождала её. Он встал и налил себе воды. В мозгу его начали путаться странные образы и события, которые сами собой выстраивались одно за другим в ещё не ясной последовательности. Он силится

уловить эту взаимосвязь, но всякий раз вывод ускользал от него. Это походило на игру в шахматы, когда противники пытаются просчитать ходы свои и чужие вперёд, и на каком-то этапе теряют возможность предсказать не только ход партнера, но даже свой собственный.

Появился перед глазами образ отца. Не того петербургского, лощёного, ухоженного, похожего на дядю, а израильского, - усталого, растерянного, беспомощного и одновременно горящего острым желанием помочь сыну, спасти его и жить новой жизнью! Возможно, - нет, неоспоримо! - он видел в этой борьбе за спасение сына, самого маленького, самого нуждающегося в нём - и своё воскресение! Своё искупление грехов юности! Да, он не раз говорил Артуру, в короткие встречи их в Израиле, что он «заново родился!». Но о смерти матери, о причинах её гибели, как и об отношениях с братом и сёстрами, он не говорил. Он лишь настаивал, чтобы Артур ценил и не рвал родственные связи с Генрихом и Анной и, конечно, с маленьким Шаем. Просил его примирить всех, и убедить Анну и Генриха простить отца за все его ошибки, которые он теперь видит и признаёт.

В это же самое время Артуру вдруг припомнилось одно вскользь брошенное отцом выражение: «рубашка беленька, да душа черненька». Так сказала о юном Игоре их старая няня баба Даша. И к брату Игорю у него было отношение особое. «На вид пригож, а внутри – на чёрта похож», - бросил тогда отец и добавил рекомендацию Артуру не приближаться к дяде. Но это было всего один раз, и сказано случайно, вскользь. А теперь Артур находился в доме, - да что там в доме, во дворце дяди! - и чувствовал себя в нём очень неуютно. Его охватила дрожь, и мурашки пробежали по спине.

— Но кто убил мою мать?! – неожиданно, кажется, даже для себя, спросил Артур.

— Убил? Это была авария, – холодно, выдержав паузу, ответил дядя.

— Как вы знаете? – ледяными губами прошептал Артур.

Ему показалось, что с потолка салона опустилась холодная свинцовая туча, словно перед грозой, и воздух в помещении наполнился запахом болотной гнили. Вдруг сделалось страшно и тоскливо, озноб пробежал по всему телу, и он с ужасом уставился в застывшие, как у кобры, глаза Игоря Давидовича. Но тут же Артур отвёл взгляд.

Молчание становилось зловещим. Наконец, дядя нарушил тишину.

- Что ж, раз мы подошли к решающей стадии нашей встречи, то нечего и тянуть. Карты на стол, как говорится, – произнёс он неожиданно мягким, доверительным тоном.

Артур, сидевший в высшей степени напряженно, не ожидал такого поворота в тоне дяди, и с удивлением поднял на него глаза.

- Так вот, мой мальчик, – дядя чуть подался вперёд в кресле, – кровные узы всегда самые крепкие. Кому унаследовать кровные, тяжким трудом нажитые деньги, как не своей кровинушке?! Согласитесь, Артур. Это ведь и справедливо. Зов крови. Даже если эту кровинушку ты видел и встречал за всю жизнь считанные разы. И, тем не менее, родная кровь - она ближе сердцу, нежели чужая. А я всё-таки наблюдал за тобой, хоть и издали, и ты очень близок мне по крови, да и судьбы у нас похожие... Так вот, если эта кровь готова воссоединиться с твоею, и продолжать общий семейный бизнес, то этому подарку судьбы и цены нет! – Игорь Давидович перевел дух, внимательно наблюдая за реакцией племянника. – В прошлом, конечно, ты обидел меня своим отказом. Это при первой нашей встрече в Нью-Йорке. А я ведь тебя тогда усыновить хотел, ну, не буквально, но взять под свою опеку, ну, что ли, как собственного сына. Ты ведь знаешь, детей у меня нет. Ну, вот я и решил тебя приблизить, тем более что твой отец был зол на тебя и не баловал поддержкой. Но ты почему-то оттолкнул мою протянутую руку. Гордость? Молодость? Я понимаю.

Артур обратил внимание, как дядя перешел с ним «на ты», оставив формально-вежливый тон. Видно было, что сейчас он подходит к главному и очень важному для него пункту.

- Слушай, Артур, внимательно. Я говорю с тобой искренне, в полном сознании, и отвечаю, за то, что говорю, – он сделал предупреждающий жест, чтобы Артур не перебивал его. – Я готов дать тебе всё! Всё, Артур! Только оставь свою нью-йоркскую богадельню с дешёвой студией и мизерным доходом. Я посвящу тебя в большое дело! Я введу тебя в избранное общество, в которое я пробился благодаря упорству и уму. Я представлю тебя как моего наследника, продолжателя дела! Я проведу тебя по коридорам власти, где встречаются только избранные, - и только в тени, где нет фотокорреспондентов, - именно там

вершатся судьбы мира! Деньги, финансирование, вклады, доходы и их распределение – вот что управляет миром! Это очень интересная жизнь, не видимая никому, но тем более значимая и необходимая обществу! Ты увидишь другую сторону Луны, которую простой смертный не видит и не увидит никогда. И ты бы никогда не увидел, не случись тебе родиться Фридландом! Тебе ведь даже не надо менять фамилию, у нас одна фамилия, мы одна семья, одна команда! Артур! Ты поднимешься на вершины славы и финансовых возможностей!! Ты станешь финансовым магнатом! И я, я, твой дядя помогу тебе! – он чуть не захлебнулся от охватившего его на секунду восторга. – Да, тебе даже и не придётся совсем бросать твою фотографию, просто будешь зарабатывать большие деньги, огромные деньги другим путём. Сможешь купить новую студию, нанять фотографов, корреспондентов, создать целое агентство фотонОВОСТЕЙ! У тебя будут покупать снимки крупнейшие газеты и журналы Америки и Европы!

Дядя говорил восторженно, как ребенок, зарываясь в свои фантазии. Артур его таким даже не представлял. Но чем больше он говорил, тем на душе Артура становилось горше и противнее.

- Поверь мне, сынок, твоя фотография - пустое развлечение! Это не искусство, это не деньги, а вот агентство новостей - это вещь необходимая, за это платят, этого все ищут, особенно если новости свежайшие, скандальные и зафиксированы на фотоплёнке!

Артур чувствовал себя так, словно стоит в чистом поле под артиллерийским обстрелом. Предложения дядечки, одно заманчивее другого, с обязательством всё исполнить в точности из сказанного, давило тяжелым грузом - в свете последних событий и хронического безденежья. Но...

Вспомнилось предупреждение отца: держаться подальше от его брата. И фраза адвоката Бергмана, которому Артур почему-то до сих пор доверял, о том, что Лев Давидович выкупил свою душу у дьявола, но оставил дьяволу деньги. О каком дьяволе он говорил? Не о брате ли отца?

Но было и ещё что-то такое, что останавливало Артура и мешало принять предложение дяди. Это предложение, конечно, не миска чечевичной похлебки! Но не есть ли оно лишь выкуп обратно своего права первородства? И получения как бы права на всё, что принадлежит всем членам семьи Фридланд?



И ещё одно обстоятельство вызвало подозрение у Артура в чистоте намерений дяди. Тот выставлял его, Артура, как своего наследника и продолжателя дела... Вот в чём суть! Продолжателя дела! Наверно, в этом закрытом обществе просчитывают своё будущее, смотрят на потенциальных будущих партнёров, на их связи, их голубую кровь в каком-то смысле. И вот стареющий дядечка, вполне вероятно, почувствовал на себе пристальные вопросительные взгляды: а кто придёт за ним? Кто унаследует его миллионы? Когда человек одинок, дела его плохи, даже если он богат, как Крез.

Всё это вихрем пронеслось в голове Артура и привело в смятение. Ещё одна деталь показалась подозрительной, а именно - высокие сферы закрытого общества, якобы правящего миром. Возможно, такое общество в самом деле существует, как существует ложа масонов, и среди братьев тайно находятся весьма влиятельные и сильные мира сего. Но как его дядя, безродный эмигрант из России, смог проникнуть туда? Закрытое общество - оно и есть закрытое. Конечно, дядя мог баснословно разбогатеть, и разбогател, но это ещё не повод быть принятым в высший привилегированный клуб. Это показалось Артуру неестественным.

Все эти мысли метались в «черном ящике» Артура, постепенно выстраиваясь в довольно логичную цепочку умозаключений. И, тем не менее, он не мог абсолютно игнорировать сиюминутную реальность. Ведь всё-таки он в настоящую минуту сидел в доме родного человека, своего дяди, предлагающего стать его наследником! Единственным наследником! Предлагающего ввести его, нищего Артура, в неведомый, фантастический и по-своему интересный мир! Почему он должен отказаться? Да и надо ли отказываться?

О, какие безумные противоречия теснились в его бедной голове. От напряжения он опять почувствовал боль в висках и затылке, тошноту и головокружение. Всё начало погружаться в белесоватый туман. Но усилием воли Артур заставил себя остаться в сознании и думать, думать.

«И что он себе в голову взял это право первородства? Что это за право такое? Сегодня это вообще пустая формальность и никакой реальной силы не имеет! И всё же, если дядя так настойчиво возвращается к этому, значит, в этом что-то есть. Господи, ну почему Ты посеял в душе человеческой сомнение?! Ведь как просто

согласиться с предложением дяди, и сразу стать обеспеченным, способным решить все материальные проблемы! И надо ему ответить всего-навсего только короткое: да или нет!»!

Артур тяжело вздохнул. Чёрт возьми! Вот он, дядя Игорь, сидит напротив и смотрит на него, словно бурит нефтяную скважину, желая внедриться в его нутро! И тут же псина его, глядит так ужасно ему в глаза... И оба ждут, ждут... его смерти?.. «Господи! Услышь! Помоги! Протяни свою щедрую длань нуждающимся! Смилуйся над бедным мальчиком и братом его!»

— Да, да, кричи, говори, кто услышит? - различил Артур странный голос рядом. Он вздрогнул. Кто-то услышал его молитву?! Он огляделся. Никого вокруг, только перед ним огромный черный пёс с наострѐнными ушами, ужасно похожий на дьявола!

— Как кто? Он!

— Экий смешной ты человек! Как же Он может услышать, если Он один, а вас, просящих, много: тысячи, сотни тысяч, миллиарды! И все обращаются к Нему одновременно! Даже если информация потечет к Нему со скоростью тысяча мега в секунду, всё равно все каналы Его будут забиты, закупорены! Он ничего не слышит. Он отдыхает.

— Как отдыхает? Как не слышит?! Он же велик!

— Велик, но один.

— Так как же быть? Кто же поможет? Кто?..

— Ты! Ты сам и поможешь! Ни на кого не рассчитывай. Только ты и ты. Ты один.

Вдруг пелена, которая застила на мгновение глаза молодого человека, спала. И он ясно увидел перед собой дядю и его чёрного пса, сидящих рядом.

У Артура безумно разболелась голова. Игорь Давидович сидел внешне спокойный, но со временем, пока Артур хранил молчание, лицо его становилось всё более напряжённым и злым. Похоже, он совершенно не ожидал сомнений со стороны племянника. Возможно, предполагал видеть, - и даже уже предвидел наяву, - слёзы благодарности на глазах Артура, их объятия, взаимные поцелуи, и даже слёзы умиления, то есть его собственные слёзы. Хотя как раз Игорь Давидович не любил сантиментов и родственной слюнявости, а был человеком прагматичным, жёстким и расчётливым.

«Что он себе думает?! - подавляя нарастающее раздражение, мысленно возмущался дядя. – Что, он получает такие предложения каждый день? Такое случается раз в жизни, да и то не у всех! А он ещё размышляет!!».

- Я даже не знаю, как вам ответить, Игорь Давидович... Странно мне всё это... Столько лет никакого внимания ко мне, а тут вдруг усыновить решили, или... Я не знаю, что...

Артур перевёл дух и проглотил слюну; в горле першило, и он чувствовал, как поднимается жар во всем теле.

- Я вот только думаю, что не я нужен вам вовсе, то есть такой, какой я есть Артур Фридланд, а вам нужен Лев Фридланд, что во мне, только покорный и покорённый вами! А я - это чисто внешнее проявление, как марионетка, которую можно будет держать на привязи, под надзором; и колоть, и унижать, когда и как вам это вздумается. Потому что вы очень напоминаете мне вашего деспота папашу! Да, очень уж вы похожи с ним. Мне даже страшно сделалось в какой-то миг, когда я понял, как вы похожи.

Он опять передохнул, ему трудно было говорить.

- Что вам до моего творчества?! Что вам до меня? Вам нужен сын? Но я не ваш ребёнок! Вы ничего не вложили в меня! Вы даже не были рядом всё моё детство, да и позже. Я не готов стать вашим сыном и переделать себя в послушного пай-мальчика, который только поддакивает папочке, а в душе желает его скорейшей смерти, как избавления от деспотии! Вы всё лжёте о вашем расположении ко мне и о всегдашнем желании помочь! Потому что тот, кто действительно хочет помочь, помогает, не спрашивая! Помогает тихо, тайно, анонимно! Но разве вы способны на такое?! Ваш мир - это только вы и ваши деньги! И ваш долг отцу, напротив, огромен! И не он должен вам, а вы ему! Недаром адвокат Бергман сказал, что вы и с него, то есть с его честно заработанных у отца денег, снимали шкуру! И что мой отец выкупил душу у дьявола, но оставил дьяволу деньги!

- Хм, он так сказал?..

- Да вам не понять всех терзаний моей души и возмущения в ваш адрес. Потому что у вас, господин Фридланд-старший, просто нет души!

- Что ж... Тогда пошёл вон!

Центурион грозно зарычал, в точности подражая хозяину, и поднялся на ноги. Артур вздрогнул.

- Не бойся, пока я не прикажу, он тебя есть не станет. Но я прикажу... не ему... Я поступлю лучше, чтобы подтвердить ваше безжалостное утверждение в моей бездушности! Я лишу вас, вас всех, и особняка в Петербурге, и квартиры, и вообще всего, чем семейство Фридланд, петербургская ветка, ещё владеет. А сейчас убирайся и не заикайся больше о прощении! Ты для меня мёртв! Мёртв!

Дядя вышел из себя и орал на племянника так, что и пёс приготовился к прыжку.

- Да вы просто чудовище!! – покачиваясь, словно в бреду, выкрикнул Артур. В его воспаленном мозгу бешено билась безобразная, почти невероятная мысль, которая безудержно рвалась наружу! Рвалась, не спрашивая его, Артура, позволения!

– А ведь это вы, вы подстроили гибель моей матери! И вы подкупили убийцу моего отца! Вы, только вы могли осуществить это! Потому что вы его ненавидели! Да, ненавидели, и не из-за миски чечевичной похлебки, а из зависти, которая век в вас тлела! Вы завидовали младшему брату за то, что тот был талантливее вас, успешнее вас, любимее вас! За то, что жил по любви, жил как хотел! За то, что нарожал детей, имел семью и знал с ней минуты радости и минуты горя! Вы погубили его... Вы монстр!!

– Цент, взять его!! – вырвалось с клёкотом из перекошенного рта хозяина дома. Разъярённый пес взвился и с рёвом бросился на Артура. В ту же секунду на крик распахнулась дверь, и слуга с револьвером в руке появился на пороге. Артур бросился в коридор, сильно толкнув дядиного телохранителя локтем в грудь. Через мгновение за его спиной прогремел выстрел и послышался страшный визг собаки. Артур, не оборачиваясь и успев на ходу в прихожей подхватить своё старенькое пальтишко, выскочил на улицу и бросился бежать.

Шёл холодный дождь. Артур скользил по мокрому асфальту, а в висках стучала одна мысль: «Домой! Домой! Домой!»

Отбежав порядком от дядиного дома, он увидел такси. Во внутреннем кармане пальто он нащупал паспорт и билет. Слава Богу, что он не переложил их в рюкзачок, который остался в доме дяди.

Минут через двадцать, с пробками, такси прибыло в аэропорт Антверпена. Артур направился к стойке американской авиалинии. Рейс Антверпен – Нью-Йорк.

Багажа у Артура не было, и он сразу прошёл на регистрацию билетов.

«Бежать, бежать из этого содома! Скорее домой; закрыть все дела в Нью-Йорке, вернуть ключи хозяину квартиры, - и к Номи и Шаю! Быть с ними, помогать им. Там тоже можно заниматься фотографией и открыть студию. Скорей, скорей уже...»

Неожиданно к нему подошли двое полицейских и человек в штатском.

— Господин Артур Фридланд?

— Да, это я.

— Ваши документы.

— Прошу вас.

— Пожалуйста, пройдите с нами.

— Но в чём дело?! Я гражданин Соединённых Штатов Америки, и у меня вылет через...

— Вы задержаны по подозрению в попытке покушения на жизнь гражданина Бельгии господина Гарри Фридланда, до выяснения обстоятельств.

Ведомый полицейскими, Артур оглянулся на взлётную полосу, мерцающую за его спиной в холодно-серых струях дождя, и в глазах его застыла смертельная тоска.

## Шаг от природы творящей до сотворённой<sup>1</sup>

*(Отрывок из романа «Сражение войны»)*

Солнце уже полностью взошло на востоке. До выхода оставалось тридцать минут. Добровольцы второй роты опустошили ротный арсенал. Было тихо, но долго это продолжаться не могло.

Сборы не были б сборами, если бы где-то в стороне препротивно не взвизгнул рупор Ангайнора.

— Живей, седьмая рота! У нас с вами нет времени! — доносилось до подчинённых Пирра Леонидовича с юга.

Скоро всё было подготовлено. Подразделение построилось. Марафонов прошёлся вдоль него и осмотрел всех пристально, но без придинок.

Дотоле безоружные мужчины наконец-то ослабились оружием, но ни один из них не улыбался сам. Каждый был собран, но ни один не был подготовлен. К чему готовиться? Все знали только то, что, когда они переступят незримую линию, каждый выстрел может стать для них смертью — один-единственный выстрел и станет ею. Это было единственное правило — заповедь, которую все должны были знать. Единственное, что отделяет Жизнь от Войны.

Жаль, что раньше людей не учили жить в соответствии с этой заповедью: столько бы их могло остаться жить и созидать прекрасное на благо Мира. Жаль, что не раньше. Жаль. Но, в данном случае, лучше поздно, чем никогда.

Три взвода смотрели на Марафонову, а он заглядывал поочерёдно каждому из добровольцев в глаза. Он хотел увидеть в каждом из них поддержку, они хотели услышать от него воодушевляющее слово.

В приграничном лагере было тихо. Ни рупора, ни голоса. Минута тишины. Две минуты. Три минуты.

Зелёная — рядами ровными — сидящая рассада. Овощные культуры взбунтовались. Раньше их водили войной на сорняки, сегодня же они стояли рядом.

---

<sup>1</sup> Natura naturans и natura naturata (лат. - природа творящая и природа сотворённая) — важнее природа творящая, чем природа сотворённая (примечание автора).

Сочувствие — первое, что прочитала вторая рота в глазах командира. На шеях камнями висели чёрные автоматы: как перед казнью, когда на шею вешали валун и толкали с помоста в воду. Боеприпасы занимали половину всего снаряжения. Чуть-чуть еды, чуть-чуть медикаментов, несколько грамм одежды и пули, пули, пули... на кого столько пуль?

Лжесолнышки шевронов тускло бледнели в свете единственного истинного Солнца. Тяжёлые рюкзаки давили к земле. Как с ними идти? Как хочешь. В армии это никого не волнует, и в добровольческой тоже, ибо армия всё-таки - армия.

Техника со второй мировой армией на Пустошь не шла. Весенний опыт показал, что на колёсах по Пустоши не пройти, гусеничный транспорт же посчитали опасным: больше людей раздавит, чем спасёт. Вся медицинская помощь - не считая идущих маршем Мира с армией санитаров и медсестёр - должна была лечь на плечи вертолётчиков, коих было, конечно, много, но почти все они были боевые, а медицинских — считанные единицы.

Чтобы помочь, техники не было, но чтобы поддержать огонь, техники было - завались. Вот и приходилось второй мировой армии всё тащить на себе: от оружия и боеприпасов, до провианта и бинтов - всё, от слова «всё». Со всем этим как-то ещё надо было до Тремора пройти. Двое суток пути не выглядели страшными до утреннего построения, когда от бессонных ночей каждый день стал видиться за неделю. Минута тишины.

Рота была готова. До выхода оставалось двадцать минут.

- Затяните ляжки потуже, - начал Марафонов, - легче будет восприниматься груз, и не сотрёте кожу на плечах. Но не переусердствуйте, - добавил он, когда в строю послышалось движение, - чтобы не нарушилось кровоснабжение: кровь должна хорошо бежать по венам, не то к вечеру вовсе выбьетесь из сил, в то время как основное действие наступит только завтра.

Никто из ротных сейчас не кричал, и даже Ангайнора с рупором не было слышно: все они вполголоса, но отчётливо говорили людям то, что считали нужным перед началом марша. Старшие офицеры все уже стояли с вкопанными на шесть-семь сантиметров в пустошный прах ботинками и ждали, пока полки построятся по фронту.

- Сначала наш путь ляжет через «лес», - Марафонов сам себе усмехнулся и показал в сторону редких обрубок деревьев, чёрными полами трубами разбросанных по безжизненной равнине, сколько хватало взгляда: редкие «трубы» стояли, но почти все лежали. Добровольцы посмотрели туда, куда показывал их командир. - Потом мы пройдем один населённый пункт. Раньше в нём жили люди. Многие из вас видели его, когда смотрели прямые эфиры похода первой армии, ведь она шла именно тем путём, которым пойдём мы.

Он помолчал.

- Потом будет небольшой «перелесок», такой же, - Пирр ещё раз указал на усеянный углями прах равнины. - Он продлится недолго. Вскоре после того мы выйдем на совершенно оголённое поле. Это будет то же самое, что и «лес», только что без углей: просто ровная голая поверхность - «Ничто безо всего». Оттуда нам уже отчётливо должен открыться Тремор.

Он снова помолчал, проходя вдоль выстроенных коробочек взводов.

- Будет непросто. С тяжестью рюкзаков и оружия вы уже скоро свыкнетесь, - говорил Пирр, за плечами и на груди которого был тот же самый вес, что и у всех, та же ответственность.

Солнце вставало выше.

- Будет непросто, но самое страшное, с чем мы там встретимся - это самый наш страх. Рано или поздно он заберётся в душу каждого. Но вы не поддавайтесь. Всё, что может пойти не так, всегда идёт не так, потому что люди боятся и пытаются себя обезопасить. Поиск укрытия всегда только усиливает страх, ибо, когда укрыться некуда, всё, что остаётся, - это встретить свой страх лицом к лицу и превзойти его. Поиск убежища всегда приводит к краху. Устраните убежище, устранится и жалоба на вред. Устраните жалобу на вред - и устранится самый вред<sup>1</sup>. Ничего не бойтесь. Если вам станет страшно - не бегите. Кто принимает страх, тот смело идёт дальше, а кто бежит, за тем страх гонится. Не бегите от страха, но и не бейтесь с ним. Оба сценария принесут поражение. Идите как ни в чём не бывало, не моргнув глазом, не поведя бровью. Трус во

---

<sup>1</sup> Марк Аврелий Антонин, «Размышления. Наедине с собой»: «Устрани убежище, устранится и жалоба на вред. Устрани жалобу на вред и устранится самый вред».



веки веков будет гоним. Храбрец увязнет в тягостном сражении и погибнет. Мудрец спокойно пойдёт, куда шёл, и обретёт своё. Худшее может случиться. Смерть всегда стоит у нас за спиной. Но я призываю вас не верить в то, что она стоит позади, чтобы забрать нас! Я призываю вас признать неделимость Жизни и Смерти, признать то, что они – одно, и не бояться их. Возьмите силу их! Сегодня начинается марш Мира, призванный к сражению Войны. Сегодня человек в последний раз в истории берёт в руки оружие. Может быть, и настанет худшее: земля смешается с небом в вихре огня и разрушения, но мы поверим в это лишь тогда, когда это случится, но не раньше! Сколько благих устремлений было заживо похоронено в ожидании худшего. Но мы не ждём его! Мы выбираем свет, и потому мы здесь. Ради ваших родных, ради ваших друзей, ради себя и ради всего мира я призываю вас отринуть страх! Завтра у Тремора мы втопчем в прах орудия Войны! Мы отправляемся с вами в последний поход — в последний поход Военного Мира. И мы не бросим оружия по пути, потому что его нельзя оставить - зачем нам старые болезни на Новой Земле?<sup>1</sup> Мы бросим оружие в горнило новой истории и переплавим саму военную память. Сегодня впервые братские узы станут крепче стали; мёртвое небо оживёт, и цветы вырастут на месте праха! Сегодня мы отказываемся сражаться! Сегодня мы отправляем Войну в небытие!..

До выхода оставалось десять минут.

- Построиться по фронту!

Точно по незримому мановению весь приграничный лагерь ожил в одно мгновение. Девятьсот тысяч человек стали огромными шеренгами к невидному барьеру. Старшие офицеры молча приветствовали группу армий «Запад». Плечом к плечу стоял почти миллион человек: разные лица, разные характеры, но все, как один, любящие люди. Никогда Мир ещё не знал подобной силы, и никогда более не узнает. Первая и последняя армия, победившая Войну.

Единый фронт был выстроен. Ни с севера, ни с юга шеренгам не было видно конца. Старшие офицеры были уже «там», а они ещё «здесь».

---

<sup>1</sup> Строка из песни «Ледокол Вега»: «Зачем старые болезни на Новой Земле?»

Святослав стоял вновь на краю Пустоши, но в этот раз никакого тяжёлого дыхания не слышал. Ничего странного. Теперь Пустошь уже не виделась ему чем-то ужасным и невыносимым: он проникся состраданием к ней, а она - к нему. Он ступал на неё не для того, чтоб её покорить, но для того, чтобы помочь ей. Она впускала его и всех таких же, как он, тоже не для суда, а для того, чтобы помочь людям открыть глаза.

Они стояли друг против друга. Офицеры смотрели на часы. Часы были точно подведены и шли секунда в секунду. До выхода оставалось не больше двух минут.

Поэт закрыл глаза и попытался представить, что испытает он, когда во второй раз перешагнёт невидимый барьер, но ощущения вчерашние, он знал, не повторятся. Теперь он знал, что у праха есть «дно»; теперь он ощутил его и своей кожей, и своим нутром. Он был готов: ко всему, что ни ждало бы - он был готов.

Врата в потусторонний - в прямом смысле - Мир медленно отворялись. Осталось несколько секунд...

«Инна! - вдруг воскликнула мысль. - Где ты?»

Поэт потерял спокойствие и ощутил всю усталость бессонных дней, как только что свалившуюся разом на него. Он заозирался по сторонам. Он стал искать её, но повсюду были только зелёные люди с глупыми касками на головах. Они все стояли плечом к плечу - все были одинаковы. Но он искал не их, а худенькую девичью фигурку в беленьком халате.

Всё было зелено! Из-за бесконечного множества людей он не видел её. Может, она шла где-то позади? Или её всё же оставили?! Он очень хотел, чтобы было именно так: чтобы она осталась в третьем поле. Скорее всего, так дело и было, ведь главврач видел, как она работала все ночи напролёт. Он надеялся, что её оставили, а не отправили с ними на марш, хотя откуда он мог точно это знать? Он так хотел сейчас увидеть её, но зачем, если он не желал, чтобы она шла с ними? Непонятно зачем. Он искал её, но в гигантской толпе, конечно, так и не увидел.

- Шагом марш! - громко скомандовали голоса передовых командиров полков, в том числе и Иностранцева.

Семь часов утра. Гигантская армада начала движение.

Слышал кто-то сейчас дыхание Пустоши или нет? Думал ли кто-то в первую секунду, что сейчас утонет? Приковал ли песчаный прах с первых шагов к себе чёрные ботинки? С первого шага стало тяжело, словно каждый доброволец

прибавил половину собственного веса. Ходить по праху Пустоши и по земле - было совершенно не одно и то же. Святослав вспомнил свои ощущения: не песок, не вода, не снег, не даже рыхлая земля, а что? А просто прах. Зачем пытаться с чем-то сравнивать, когда сравниваемое уже есть что-то? Прах, как ни называй его, всегда прахом лишь и останется. Но от чего был этот прах? Ото всего, что только попало в радиус действия «площадной» — прах земли. У всего на свете есть собственное имя, так и у Пустоши оно есть тоже: Пустошь. Сплошной, на тысячи квадратных километров интегральный прах.

Он сделал шаг.

Пыльное облако поглотило его ступню прежде, чем она достигла поверхности - теперь этот низкий кожаного цвета туман ещё долгое время не оседет: за первой шеренгой пойдёт вторая, третья... сотая - облако будет постоянно идти вместе с ними. Суть этой пыли был всё тот же прах, только не лежащий теперь, а воспаривший, как появляются грязные облака, когда ты ступаешь на илистый участок водоёма, разве что цвет другой и никакой воды - самая сухость.

Они выходили точно Солнцу навстречу - ровно на восток, оставляя все до единой тени позади, за спинами, и беря с собой тени собственные, да лишь те немногие, которые грезились в пыли под ногами, если туда смотреть - чего лучше не делать, не то чересчур многое можно увидеть, после чего недолго будет и ополоуметь.

Странное непривычное бессилие, павшее на писателя в мгновение воспоминания об Инне, делало каждый новый шаг тяжелей вдвое. Только сейчас он по-настоящему ощутил, как сильно хочет спать, но до ближайшего привала было ещё долго. Пока же приходилось самому подбадривать себя, и самому справляться со всякими мыслями, что на фоне внезапной слабости без промедления приступили к осаде.

Мысли были различными, но каждая новая менее всех предшествующих ей была приятна. Так к Святославу в голову пробрались и слова, сказанные им ранее друзьям, которые лучше бы сейчас в памяти его не проявлялись, но они проявились: «МССГ мало пролитой крови. Им, для того, чтоб осознать свою неправоту необходимо жертвоприношение новое, что столь кровопролитным станет, что прозреют и слепцы, - вспоминал он собственные слова. - И я его им предоставлю».

Меньше всего ему сейчас хотелось, чтобы эти слова, произнесённые ранее в кругу друзей, пророческими стали, и чтоб слепцы прозрели именно тогда, а не чуть-чуть пораньше. Одно дело готовиться к приношению себя в жертву, и совсем другое - себя в эту самую жертву принести.

Пытаясь прогнать кровожадное воспоминание, поэт быстро отрицательно покачал головой, но на него в плотном строю никто даже не посмотрел: сейчас каждому в голову лезли разные недобрые мысли. Хорошо ещё, что «Запад» шёл навстречу восходящей звезде, не то куда сложнее было бы добровольцам с нерадостными мыслями-воспоминаниями совладать. В этом отношении тяжелее всего было группе армий «Восток» — для них свет Солнца оставался сзади, а впереди ползли мрачные тени.

Из-за отсутствия здорового сна первые несколько часов после пробуждения Святослав и многие другие добровольцы чувствовали себя измождёнными, хотя со временем, пускай и медленно, как и обещал Марафонов, силы возвращались.

Пустошь была совершенно безжизненна, совершенно пуста, но за считанные минуты на её прахе вырос целый лес — огромный передвижной лес «барашенных деревьев». Они вгрызались корнями в истощённую почву, и медленными тяжёлыми большими шагами продвигались вперёд, они грузно дышали и втапывали в туман из пыли всё, что встречалось на пути: это был последний поход «барашенного леса» и старого Мира.

Огромная зелёная «барашенная» опухоль медленно расползалась по иссохшей равнине, и потом, когда последняя шеренга оставила лагерь, красочным пятном неровного прямоугольника поползла на восток, примерив на себя роль перекасти-поля, что, однако, было целенаправленно, ибо ветер не дул, а оно шло и шло, перекачивалось и перекачивалось: гигантское перекасти-поле-переросток состоящее из почти миллиона маленьких перекасти-полей - одинаковых зелёных округлых безвкусных касок.

Чем больше времени проходило после преодоления невидимого барьера, тем сильнее прямоугольник строя растягивался с севера на юг и с востока на запад, однако формы прямоугольной не теряя, хотя геометрические пропорции фигуры и нарушались всё более с каждым новым шагом.

Жёлтые пятнышки пестрели всюду. Хорошо было находиться в первых линиях, или хотя бы в боковых, или в последней — там не рябило в глазах этой желтизной, либо, на худой конец, была возможность от неё отвернуться. Средним же линиям было совсем уж туго: куда ни посмотри - всюду они. Если в небо смотреть, то рано или поздно врежешься в кого-то, если всё же по сторонам, то от пестроты шевронов и нашивок сдуреешь скоро, если же под ноги, то будь готов к непрерывным видениям театра праха.

Облако тяжёлой кожаной пыли недалеко стелилось вослед добровольцам — вместо того оно просто ползло по Пустоши одновременно с ними: где они, там и оно. От низкого постоянного и непроглядного тумана было некуда деться.

В плотном строю через «лес», в котором не было деревьев — только угли — всё равно идти было неудобно, почему первая шеренга часто попросту сваливала держащиеся на честном слове полые стволы. Лёгкие обожжённые стволы падали от малейшего прикосновения и разбивались в мелкую щепу, рушась на мягкую повсеместную труху Пустоши. Наступающие на них вороньи ботинки обращали щепу в труху и прах. Чёрный ковёр-песок длинным хвостом тянулся бы за группой армий «Запад», если бы поднимаемая ею же тяжёлая пыль тут же не накрывала перемолотые угли «трубных деревьев».

Не было слышно ничего. Когда бы не общение людей между собой, можно было представить себя в каком-то вакууме. Девятьсот тысяч человек шли по Пустоши тише, чем бабочки летают над полями. Даже если бы нарочито захотелось топнуть, ничего бы не вышло. Не было слышно ни единого шага, только негромкие людские голоса, тихое шуршание рюкзаков, слабое позвякивание пуль, да под ногами нескольких первых шеренг лёгкий хруст крошащихся ветвей и стволов, обращаемых в порошок и пыль. Из-за сплошного облака, стелящегося по земле, ни одному из нескольких сотен тысяч добровольцев, кроме только что самой первой линии оных, не было видно своих стоп - они тонули в рассыпчатом прахе - точно бы их и вовсе не было. Создавалось даже впечатление, что люди идут по воде: только крайние линии в строю видели где-то твёрдую поверхность - все остальные же словно брели по высыхающей взбаламученной неглубокой реке.

То выжженное, что Марафонов поутру назвал лесом, вскоре обещало закончиться - впереди виделись высохшие

руины-мумии «населённого пункта». Зрелище было истинно ужасающим. Город-призрак, в самом прямом значении этого слова. Обычно так называют просто разрушенные и заброшенные города, но этот был в куда более плачевном состоянии. Пейзаж напоминал развалины Хиросимы и Нагасаки после сброса на них атомных бомб, однако в этом городе, в отличие от тех, не выжило ни одно существо, будь то человек, животное, птица или растение: вся площадь была выжжена.

Добровольцы с кровью, застывающей в жилах, входили в расплавленный, раскуроченный, выгоревший город - вернее в то, что было городом когда-то. Некоторые даже ослабляли лямки рюкзаков, так как им казалось, что кровь в их венах и на самом деле стала застывать. Шестьдесят четвёртый полк был в этом рассыпавшемся уголке в числе первопроходцев.

Стёртое, в буквальном смысле, поселение холодно встретило живых гостей. Живые явно здесь были не к месту, как и вообще всё, что только может быть, ибо сейчас тут не было ничего.

Как и в случае с «лесом», здесь всё тоже было под корень погибшее, дистиллированное и стерильное - «обеззараженное». От некогда больших красивых домов осталось немногим более, чем от полых, выжженных изнутри деревьев. Всё было таким же сухим и хрупким.

Остатки асфальтового покрытия жалобно заскрежетали под ногами; изжёванная черепица, разбитая вековой эрозией плитка и скелеты столбов одинаково крошились под подошвой - точно так же, как трубы-деревья, с тем лишь отличием, что чуть-чуть громче, с призрачными призывками рукотворных материалов. Впрочем, эти звуки были очень схожи: труп дерева и светофора труп рассыпались под чёрною пятой равно легко, и звучали тоже равно.

Можно было буквально проходить сквозь стены: те места, где они остались, были редки, и их легко можно было разбить пинком или прикладом. Никто из добровольцев ничего подобного себе до этого даже не мог представить! Как строения, строившиеся на века, в одно мгновение сделались грудями пепла и растирались теперь в порошок в человеческих ладонях? И всё - абсолютно! - крошилось одинаково: дерево, сталь, бетон.

На Пустоши различий никаких более не было - всё одинаковое, не живое, не мёртвое, а никакое. Люди никак не вписывались в здешнюю природу.

В городе, на всём его протяжении, не было, как и до того в «лесу», чего-либо, что возвышалось бы над землёй более четырёх-пяти метров. Был ли это двухэтажный детский садик, или пятнадцатизэтажный жилой дом - всё выглядело одинаковым, всё было одинаковым; теперь всё это был единый сгнувшийся монолит: одного цвета и схожей конструкции, из одних материалов и с единой на всех стерильностью - даже микробов не было. Только бесконечные горы хлама и мусора, крошащиеся под ногами останки дорог, выеденные тысячами лет в одно мгновение куски металла, и пыль, занёсшая за считанные месяцы здесь почти всё.

Когда-то здесь жило много людей, теперь же остались только их неясные тени на редких стенах - и не догадаешься сначала, что они людские. На остатках сорванных с петель металлических дверей мерещились чьи-то застывшие улыбки, отпечатки пальцев. Между углов домов гуляли незримые взгляды и едва различимый в безмолвии детский смех - тоже высушенный и поэтому звучащий неестественно, искажённо, криво и даже жутко. Никто из местных жителей не понял, что для них настало время умирать. Никто не понял, что произошло. Никто не боялся и ни о чём плохом даже не думал. Все они знали, что скоро будет осуществляться сброс бомбы на Тремор. Совершенно ничто не предвещало беды. Многие собрались на крышах, у окон и на балконах, чтобы посмотреть на уничтожение горы, которую с верхних этажей зданий было хорошо видно. Они стояли, затаив дыхание и предвкушая то, что сейчас будет, но случилась яростная вспышка, и через один миг город уже лежал таким, каким теперь его видели добровольцы. Между тем, как всё началось и кончилось, - не успели ни крыши обрушиться наземь, ни деревья сгореть; всё произошло моментально, молниеносно, если не быстрее.

Писатель попробовал представить себе, как это всё выглядело недавно, когда этот город ничем не отличался от других. Люди, жившие в нём, строили планы и возводили мечты, заводили семьи и стремились к тому, ради чего все они были рождены на свет. Но ни один из них этого не достиг, ибо Война решила, что эти люди полностью в её власти.

«Населённый» пункт кончился. Раньше в нём жили люди...

Святослав оглянулся и увидел на месте развалин свой отчий дом: всех своих родственников и друзей, и ёлочку, и все свои мечты, желания, цели, намеренья и устремления. Люди стояли на окраине его родного города и так же, как папа всегда ему махал, махали вслед ему сейчас руками.

Святослава толкнули. Вместо родимых лиц и с самого детства знакомых зданий он снова увидел стерильный и «обеззараженный» город с пробирающейся через него зелёной обезличенной толпой. В потоке нельзя было ни на единый миг остановиться — огромная толпа не остановится, и как течение бурное, по твоей воле или против неё, потащит тебя далее вперёд или раздавит.

«Та же толпа, что и на митинге, на котором погиб дедушка Марианны», - подумал он.

Толпа безумствует - безумствует толпа, а в ней толпится самое безумство. Страшно было даже просто представить, что может случиться, если все эти люди впадут в панику.

«Запад» шёл дальше. Почти никто теперь не обращал взора назад: куда более жизнерадостно видеть перед собой подобие пустыни, чем откровенное паскудство человека - позорнейшее из постоянных его деяний последних нескольких тысяч лет.

Передовые линии вошли в то, что офицеры назвали «перелеском». Выглядело оно совершенно так же, как и утренний «лес», только обещало длиться куда меньше. Обгорелые обрубки и в самом деле скоро кончились - не успели ещё жуткие образы города-мертвеца, города-мумии покинуть человеческие головы и сердца.

Теперь перед группой армий «Запад» раскинулись бесконечные и абсолютно оголённые земли: ни уголька, ни даже мёртвого подобия чего-то. Ничего. Пустота. До горизонта самого - «песок» и открывающийся взору туповерхий треугольник, цель их марша - Тремор.

До горы оставалось немногим более половины пути. Сколько часов ещё предстояло идти по этой кошмарно ровной пустыне? Нет! Не по пустыне всё же, а именно по Пустоши: в настоящих пустынях есть песчаные дюны, здесь же ничего подобного не было - только идеально ровный толстый слой праха; теперь равнина, наконец, стала в самом действительном смысле слова равниной.

«Когда бы не туповерхий Тремор, здесь наверняка запросто можно было потеряться. - Святослав посмотрел



под ноги. - Хотя о чём это я? Пускай Тремор и был на многие километры вокруг единственным ориентиром, - не считая редких-редких незаметных - считай, что их и нет - выгоревших столбиков стволов, совокупность которых добровольцы называли «лесом», на Пустоши ты всё равно, даже при желании, не потеряешься: следы от ботинок оставались на прахе, точно на снегу; лишь бы только ветер не поднялся и не замёл их».

Две-три до самого края Мира обугленных трубы, приторно выровненная ветрами гладь и лакколит из песчано-кожаной пыли, - вот и всё, что в ближайшие дни будет стоять перед глазами добровольцев. Пейзаж скудней пустынного. Тут даже и песка не водилось как такового.

- Мы победим! - воскликнул кто-то в стороне. - Не стоит волноваться об обратном.

- Мы, в смысле: люди в принципе, или «мы» в смысле мы? - едва слышно уточнил у него однополчанин.

- Человечество победит.

- А что ждёт нас?

- А мы не люди, что ли?..

Армии медленно наращивали потерянный темп. Тремор с каждым часом становился больше, отчётливее и словно бы всё менее гостеприимным. Каски нагревались на солнце, но жарко не было. Каждый снова, как и при пересечении поутру границы Миров, думал о чём-нибудь своём. Святослав тоже думал. О многом думал. Но все до единой мысли пытался направлять лишь в жизнеутверждающем ключе.

Он подумал о маме и папе, о дорогой Анастасии, о Никите, о Степане с Алисией, об Инге, Асте, Данзане, Уайдере, Марии - где-то они там... О Юрии с Мариной, об Эллине и Этельстане... И он стал вращать головой в поисках кого-то, но кого... В поисках Инны? Нет. Её бы он ни в коем случае не хотел здесь увидеть. В поисках Этельстана? Искомый оказался ближе, чем писатель пытался его разглядеть. Они встретились взглядами и улыбнулись друг другу.

- Ты чем-то мне напоминаешь моего племянника, - сказал Святослав товарищу.

- Да, знаю, ты мне уже об этом говорил.

- Да, говорил, - согласился писатель. - Но давно.

- Когда бы ни было оно, я хорошо твои слова запомнил.

Они снова улыбнулись друг другу.

- Вспоминаешь родных? — поинтересовался Этельстан.

- Трудно ни о чём не думать, когда вокруг тебя ничего нет, - отвечал писатель, кивая в сторону бескрайнего «песка».

- И ты решил подумать о семье?

- О семье, о друзьях, о чём-то жизнеутверждающем. Кажется, что подумаешь о чём-нибудь плохом - тут же замертво свалишься. Хорошо бы найти спокойствие и постараться ни о чём не думать, да вот боюсь, что здесь, посреди ничего, - такие мысли и самого превратят в ничто: станешь крупными пляшущих в пыли лиц, другие будут видеть пустоту твоих глаз у себя под ногами, а спокойствие так и не найдётся.

- Но ведь спокойным быть и ни о чём не думать - это не одно и то же. Можно думать о многом, но просто спокойно: ничего не преследуя и ни от чего не пытаюсь скрыться.

- Лицом и добрыми глазами...

- Что, прости? — не понял Этельстан.

- Глазами ты напоминаешь мне племянника.

- А, ты снова об этом...

- Наверное, в том числе, поэтому мы с тобой так хорошо и быстро поладили.

- Возможно.

Они несколько минут шли молча.

- А ты о чём думаешь? — спросил у товарища Святослав.

- По твоему примеру стал вспоминать близких.

Пауза.

- А до этого о чём думал?

- Вспоминал радостные лица тех, кого мне, работая фельдшером на «скорой помощи», удавалось спасти.

При слове «фельдшер» писатель тотчас же представил себе Инну, юную медсестру.

- И многих ли тебе спасти удалось?

- С помощью других членов моей бригады, - довольно многих.

- А были те, кого вы не спасли?

Этельстан помолчал.

- До больницы мы довозили всех... Да вот не всех помещали в палаты.

- В морг?

- Да, бывало и такое. Давай не будем об этом.

- Давай не будем.

Оба помолчали.

- Ты потом виделся с теми, кого спасал?

- Редко. Пару раз навещал. Пару раз встречался с ними на улице. Один раз пришлось помогать во время операции - это было ужасно...

- Я соболезнаю...

- Нет. Этот выжил, - повеселев, отмахнулся от горького предположения Этельстан. - Я тогда просто чересчур устал, и всё боялся, что что-нибудь не то сделаю, но, по счастью, всё обошлось, и в итоге кончилось хорошо.

- Как кончилось?

- Это была девушка. С её травмами она должна была погибнуть в течение буквально считанных минут. Но мы спасли её. Она одна из тех, кого я впоследствии навещал. Странно, почему-то я волновался за неё больше, чем за других. Может быть, потому что в оперировании её принимал непосредственное участие? Не знаю. В общем, я волновался за неё, но лишь до тех пор, пока к ней не пришёл. С ней рядом был молодой человек. Он обнимал меня, плакал, благодарил и снова обнимал. Тогда я увидел, с каким трепетом он относится к своей подруге - полуразбитой и обезображенной. И мне тотчас же сделалось легко: я больше за неё ни минуты не переживал, ибо знал, что этот молодой человек её в беде не бросит, - в чём мне посчастливилось убедиться позже.

- Намного позже?

- Почти через год. Они мне встретились однажды в парке. Она должна была стать инвалидом, но не стала. Он бы мог оставить её - беспомощную, ненужную, некрасивую, но вместо того он выходил её, потому что любил. И вот я видел её рядом с ним - такую нежную, нужную и красивую. Только слабые следы шрамов напоминали об её трагедии, но их на ней почти не было видно. Она не хромала, хотя могла вообще лишиться ног, её лицо было одним из самых приятных, которые я когда-либо видел, хотя в момент трагедии у неё почти не было лица. И кроме этого, она была беременна, хотя врачи и давали гарантии, что у неё теперь не может быть детей.

Этельстан выдохнул, припомнив всё, о чём рассказывал.

- Сейчас они женаты. У них родилась сразу тройня. Они совершенно счастливы и здоровы. И этого могло бы не быть, если бы только они не любили: друг друга, себя, Мир.

- Эта история с хорошим концом, - сказал писатель.

- Да, с хорошим, - согласился Этельстан. - И каждая история имела бы подобный - хороший или даже ещё

лучший конец, - если бы люди любили, а не просто играли в любовь.

Впереди показались какие-то странные камни, поплёскивающие в солнечных лучах.

- Что это? - спросил доброволец у ротного.

Марафонов посмотрел в бинокль. Опустил окуляры. Вздохнул. Поглядел на спрашивающего рядового и ничего не сказал. По мере приближения камней становилось всё больше: они были белыми, зелёными, чёрными. Скоро они стали видны совсем отчётливо.

Это были кости. Ломаная броня, ошметки одежды, оружие, в куски разбитые головные горшки зелёных касок, цельные скелеты и перемолотые в щепки и опилки кости, осколки боеприпасов разного калибра. Группа армий «Запад» нашла первую мировую армию.

Святослав обратил внимание на Тремор. Тот стоял уже намного ближе.

Старшие офицеры связались с начальством в приграничном лагере и запросили остановку подразделений с последующей задержкой до утра, чтобы предать земле останки первой мировой армии. Начальство не было обрадовано, но излишне упорствовать тоже не стало, и скрепя сердце и скрипя зубами, дало согласие на остановку всех четырёх групп армий, на несколько часов ранее запланированного.

- Если вы завтра во второй половине дня не подойдёте к Тремору, я лично подам на вас рапорт, - грозился командир Национального легиона.

- За всё отвечу, господин полковник, - отвечал Иностранцев. - Но оставлять погибших братьев на съедение Солнцу - не по-человечески.

- Хватит мораль читать. У меня нет на вас времени. Вы срываете сроки. Теперь мне из-за вас ещё и перед высшим командованием армии неловко. Выполняйте указания, - буркнул недовольный офицер.

Указания были: действовать живо, без малейшего промедления, и как закончится всё, возобновить марш. Отойдя от мест захоронения как можно дальше, на ночь разбить лагерь и, сколь возможно это в условиях Пустоши, укрепить его. Начальство береглось: мало ли что ночью может произойти. Параноики.

Командование мировой армии было обеспокоено всем происходящим и грядущим; чем ближе становились добровольцы к ненавистному Тремору, тем более

беспокойным делалось оно. В связи с беспокойством этим было приказано: к наступлению темноты посреди Пустоши возвести подобающим образом укрепленный лагерь и выставить на ночь многочисленные дозоры. Однако всякий офицер, находящийся непосредственно на марше, а не в штабе, сразу после ознакомления с приказом знал, что лагерь непременно будет возведён, но укреплен не будет. Никому из находящихся на Пустоши офицеров не хотелось сеять страх и «оборонные настроения», и чем ближе армии подходили к Тремору, тем сильнее должны были проявляться последствия человеческих настроений.

- Что делаем, господин полковник? - спрашивали батальонные у Иностранцева по окончании его сеанса связи с командующим Национального легиона.

- Хороним, - тихо прохрипел он.

Добровольцы надели перчатки: в «песке» было много острых предметов, принадлежавших убитым, или их убивших. Лезвия, осколки, зубные россыпи, другие кости; и ещё одна проблема — возможные неразорвавшиеся снаряды. Всем наказали быть начеку.

Впереди всех продвигались немногочисленные сапёры, за ними медленно расходились по парам девятьсот тысяч похоронщиков с сапёрными лопатками. Немногими «отдыхающими», оставшимися без работы, были те избранные, которые несли палатки.

Зрелище было очень неприятным. Но страха не было, омерзения тоже, только боль, горечь и сочувствие. Кто пренебрёг перчатками, быстро занозил себе пальцы и порезал ладони — и вскоре без перчаток уже никто не работал.

У черепов были распахнуты рты и глазницы, полные отпечатка нечеловеческой боли и ужаса. Его трудно было увидеть, однако чувствовался он легко. Добровольцы старались не заглядывать в лица черепов, ибо это и в самом деле были лица! Без кожи и плоти - сплошь кость, но они все как один, как живые, выражали эмоции, и ни одна из них не была эмоцией счастливого человека. Добровольцы накрывали черепа касками, лоскутами мертвецких одеяний, рюкзаками, чем угодно — хоть чем-нибудь, лишь бы не зреть их ужасающих невидимых глаз в опустелых глазницах.

Некоторые скелеты были цельными, а где-то отдельно лежали пальцы, стопы и кисти, руки, ноги, черепа, кости таза и грудные клетки с выбитыми и сломанными рёбрами.

Предметы одежды и содержимое мертвецких рюкзаков изрезано пулями или осколками. Изредка попадались уцелевшие гранаты и снаряды, но сапёры тут же мастерски обезвреживали их. Впрочем, действующие взрывоопасные предметы попадались очень редко - куда больше их было на руках добровольцев.

Святослав хоронил погибших в паре с Этельстаном, но так как живых было чуть ли не вдесятеро больше, чем мертвецов, совсем скоро к паре присоединились их знакомые из четвёртой роты, Альфинур Заид и Георгий Эдем, — теперь они работали квартетом.

Почва на Пустоши была мутного жёлто-коричнево-кожаного цвета, податливой, мягкой, рассыпчатой, как будто всю её в одно мгновение вспахали и высушили. Копать её было легко. Она была суше песка в пустыне. Лопата запросто входила в грунт; первые полметра вообще можно было без особых усилий прокопать руками, глубже копали совсем нечасто. Любые камни крошились, как жухлые осенние листья, с тем же характерным звуком. Всё было неизменно хрупким — неизвестно, на сколько метров вглубь.

Когда останки опускали в могилу, они тотчас же поднимали тяжёлое пыльное покрывало и накрывались им. В мире живых тоже пыли хватало: мутное полотно расстилалось повсюду. Какой прок в безветренной поре, когда пыли столько, сколько было бы и при урагане — то же самое полотно, не поднимающееся выше стопы.

Им стало интересно: как здесь спать? Вместо полов всё равно ведь в палатках будет вездесущий прах, и при каждом движении спящих пыльное облако будет подниматься. Рюкзаки можно положить под головы, чтобы они в любом случае находились выше уровня пыли, которая, чуть что, сразу поднимется. И хотя спать в таком положении будет неудобно, - это, во всяком случае, лучшее решение, чем дышать этой пылью, что равносильно тому, чтобы дышать мелким-мелким песком: до добра точно не доведёт.

Ветра не было, но пыль всё равно змеевидной позёмкой вилась между ног, как призраки, духи, демоны. Казалось, если присмотришься, то разглядишь у себя под ногами лица. Наступишь на него - сейчас же исчезнет, но в полушаге тотчас появится другое. Под ноги лучше было не смотреть - воображение рисовало жуткие выражения:

кривые, искажённые, нечеловечьи, но на похоронах более некуда смотреть.

Для тех мертвецов, которые напоминали мало-мальски цельные скелеты, добровольцы выкапывали маленькие индивидуальные могилы. Для остальных же останков, по которым не понять, где целый человек, где часть его, а где холмиками костей легли несколько сразу, копали более широкие и глубокие братские могилы, хороня рядом друг с другом - в прямом смысле вперемешку - представителей всех национальностей, рас и религий, сгубленных одинаковой для всех идеологией Войны.

Раздался взрыв!

Солдаты обомлели от ужаса и остолбенели. Но Святослав мгновенно поднял руки и громко закричал:

- Спокойно!

Тут же его слова подхватили в каждом подразделении офицеры и рядовые:

- Спокойно! Не стрелять!

- Поднять руки! - заорал Ангайнор. - Всем поднять руки!

Он проорал это, чтобы никто к оружию не потянулся. И едва успел: в один миг тысячи человек вскинули дула автоматов в поисках невидимого врага.

- Убрать оружие! - завопил в рупор Ангайнор: вот когда этот противно визжащий аппарат на самом деле оказался полезен.

Его команду тут же подхватили:

- Опустить оружие! Оружие на землю! Опустить стволы!

Девятьсот тысяч человек, побросав оружие, подняли руки вверх и замерли в ужасе, ожидая, когда Тремор отразит на них негативную энергию взрыва. Но то ли она уже отразилась на несчастных, то ли Тремор был ещё слишком далеко - ничего не произошло.

- Всем стоять смирно! - командовали офицеры. - Не дёргаться! Стоим спокойно!

Кто-то в стороне позвал санитаров. Святослав, Этельстан, Альфинур и Георгий видели, как в нескольких сотнях метров от них мелькают маленькие белые фигурки медицинских братьев и сестёр. Два добровольца - командир отделения и рядовой - перемещали в свежевырытую яму скелет; вдруг случился взрыв и оба кусками рухнули в ими же выкопанную могилу. Разорвался снаряд, который сапёры из-за спешки, к несчастью, упустили. Третий однополчанин чудом не лёг костями: ему осколком разбило бедро и кисть правой руки. Он лежал на

земле, дёргался, корчился, извивался и до хрипоты орал. Санитары оказали ему первую помощь: дали обезболивающее, остановили кровотечение, но несчастный кричал, кричал, кричал.

- Работаем, вторая рота, работаем! - вдохновлял подчинённых Марафонов.

Добровольцы работали, а пустошный прах жадно впитывал тёплую кровь несчастных.

За раненым прилетел белый вертолёт с красным крестом. Раненого забрали. Мёртвых было решено похоронить тут же, на Пустоши. Поначалу вертолётная команда думала их останки увезти с собой.

- Оставьте их! - сказал командующий полком. - Не мучайте их перелётом почём зря. К чему оно теперь? Забирайте живого; мёртвых - не тревожьте.

Молва о гибели людей на крыльях Смерти моментально разлетелась по всей группе армий «Запад». Радостная Война торжествовала новую победу; невидимые демоны, укрывшие от сапёров снаряд, довольно потирали гнилые ладони; зримые демоны сидели в штабе и писали на листах бумаги «минус два», своими гнилыми пальцами подводя статистику потерь. Ничего страшного. Два - это не двести тысяч и даже не двадцать. Да даже если бы и так - это всего лишь допустимые потери, которые всегда можно посмертно наградить, обозвать героями и даже причислить к лику святых, чтобы успокоить горюющих родственников и заставить их гордиться смертями близких. Какая честь! Какая чушь!

В самом крайнем случае можно сказать, что армия была добровольной, и люди, вступающие в неё, прекрасно понимали, куда и на что шли. Они изначально должны быть готовы погибнуть, и все родные их должны быть готовы к тому, что мужья, отцы и сыновья домой не возвратятся. А на Войне всегда так делается. Бесславную гибель людей ради пустого «ничего» окрашивают в такие тона, чтобы другие гордились тем, что эти люди умерли за правду, справедливость и Мир. А полковые писари будут вычитать и складывать: «Плюс тысяча триста. Минус восемьсот. Плюс четыреста. Минус триста». Штабные никогда людьми не дорожили. Больше того, ни один командир - от командующего отделением до командующего верховного - никогда не ценил людей и не дорожил ими; и не должен был. Ведь он - военный человек, а военные люди возвращаются не для того, чтобы ценить других и дорожить ими, а для того лишь, чтобы убивать. Разве не в этом смысл и суть всех армий?



## Холодное лето 63-го

До пятого класса я очень любил язык. Честно-честно. Русский? Нет! Казахский? Нет! Английский?! А как я его мог любить, если мы его еще даже не начали изучать? Ни за что не догадаетесь! Говяжий! Мама его готовила очень вкусно, он просто таял во рту, я его даже называл "горячее мясное мороженое". А если он был с венгерским зелёным горошком, то моя маленькая душа отправлялась напрямиком в гастрономический рай...

А вот английский я невзлюбил! Ещё бы, когда наша училка-англичанка с пафосом сообщила:

- Английский язык самый красивый и самый сложный. Потому что там пишется одно, а читается другое. Например, пишется Манчестер, а читается Ливерпуль.

- А вслух произносится Лондон, - весело добавил я...

И получил первые два балла, с бесплатным посещением школьного коридора на оставшиеся сорок минут.

- Ну почему я должен учить его? Я в разведчики не собираюсь, а Конан Дойла и Стивенсона уже давно перевели на русский.

- Сынок, - папа усадил меня напротив. - Знание языка очень важная вещь. Для примера, я тебе расскажу одну маленькую, но умную сказку.

- Что я, маленький - сказки слушать?! Я лучше во дворе в войнушку с пацанами поиграю.

- Сначала сказка, потом домашнее задание, а потом войнушка.

Когда тебе десять лет, твои доводы не убедительны; и я сдался.

- Ладно, давай свою сказку, - сказал я, насупившись.

- Вот и хорошо, - спокойно произнёс папа, - слушай! Кошка очень хотела есть, но мышка тоже знала об этом, поэтому не высовывалась из норки. И тогда кошка залаяла. Мышке стало интересно, откуда в доме собака, тогда она выглянула из норки, тут её кошка сцапала и съела. Вот! Если ты знаешь хотя бы один иностранный язык, то ты никогда не останешься голодным. Понял?!

- Понял, понял... - пробурчал я и поплёлся делать домашку.

У самого папы с языками не складывалось... В начале своего школьного пути папа изучал язык Александра Дюма и Жюль Верна. От огромного французского пирога мировой литературы в его памяти остались всего три крошки: бонбонс, пайн, либерте (по-французски: конфетки, яблоко, свобода)... Потом была война, и папа сразу перешёл, вместе с остальными, к изучению немецкого. Надо было знать язык врага. С ним навсегда остались целых пять немецких слов: хенде хох, гитлер капут, камраден. Потом пришла эра английского языка, который активно изучался в вузах, в том числе и в медицинском. И моему родителю пришлось держать экзамен на языке Шекспира.

Так вот, на дворе стоял 1953 год. Экзамен принимала старушка в настоящем пенсне. Судя по возрасту, это была Арина Родионовна, няня Пушкина...

Думаю, это был самый короткий экзамен как в жизни старушки-экзаменаторши, так и моего папы. После нескольких вопросов на языке туманного Альбиона, старушка, не получив ни одного ответа, пристально уставилась на студента. Папа сидел, вытянувшись в струну, и преданно смотрел в суровое пенсне. Это была старая железная гвардия, которая училась ещё в гимназиях. И тогда божий одуванчик задал зловещий вопрос:

- Do you speak English? Переведите!

- Вы английский шпион, - отчеканил мой будущий папа.

Бабушка нервно икнула, и песне упало на стол. Год на дворе стоял 1953-й, а те, кто не понял, могут поискать причину икоты в Интернете...

- Идите, четыре. – сказала она помертвевшим голосом. - И никогда, слышите – никогда! - не говорите, кто вас учил английскому языку.

А потом пришла очередь кандидатского минимума. Непременным атрибутом будущего учёного было знание иностранного языка. Отец бодро вошёл в зал библиотеки НИИ туберкулёза и благосклонно кивнул экзаменаторше.

- Какой язык вы будете сдавать? Смелее, смелее: немецкий, французский, английский?

Отец внимательно и с интересом рассматривал корешки иностранных монографий.

- Молодой человек, я к вам обращаюсь?

- Я подумую...

- О чём?! - удивлённо спросила дама.

- На каком языке сдавать экзамен, - уверено произнёс отец, даже не обернувшись. Вот она, искомая книга о туберкулёзе! Читанная-перечитанная многократно. Книга была на английском. Сорок минут ушло на перевод оглавления.

- Ну, вы готовы? - устало спросила экзаменаторша.

- Конечно, - ответил папа и бодрым шагом направился к столу.

- Какую главу вы будете переводить?

- Любую, - и он победоносно улыбнулся.

- Ну, давайте хотя бы третью, - согласилась пожилая дама.

- Можно сразу с листа, - решительно взяв быка за рога, провозгласил папа. И полилась песня.

- Хорошо, очень хорошо. Прямо-таки близко к тексту, и так бегло. А теперь пятнадцатую, вот с этого места.

И опять экзаменаторша слушала с широко раскрытыми глазами.

- Хорошо, а давайте ещё из последней главы, вот этот кусочек... Просто великолепно! Знаете, пустая формальность для отчёта: прочтите мне пару предложений, хочу услышать ваше произношение.

И папа прочитал... Его произношение произвело неизгладимое впечатление на жрицу иностранных языков. Оно было по-своему изысканным - франко-немецко-английским...

- Удивительно! Знаете, это первый случай в моей сорокалетней практике. Такое беглое знание языка - и такое произношение...

- Война, знаете ли... - сурово сказал папа. И оба замолчали.

- К сожалению, подчёркиваю, к моему большому сожалению, только четыре. Вам надо очень много работать над своим произношением, - с огорчением подытожила экзаменаторша, ставя оценку.

## Дача Косячкина

Был у меня дружбан в детстве, Костик Косячкин. Было нам по шесть лет. Я был предан своему другу и верил беззаветно всему, что он мне рассказывал. Ну, не может же друг обманывать! Виделись мы в основном в садике, а

хотели встречаться чаще. У родителей Костика была дача. Как он мне расписывал свою дачу, - просто акын Джамбул в молодости, только без домбры. И какие там яблоки, и персики, а помидоры - настоящее "бычье сердце". Вот так-енные! По размаху его рук они больше напоминали маленькие арбузы.

- Шурик, но ты же любишь помидоры!

- Я томатный сок люблю, а помидоры так себе...

Как Косячкин ни старался, не удавалось ему меня соблазнить, да и мои родители были не в восторге от идеи, которая могла кончиться по-разному. И тогда в ход пошли козыри...

- Да вообще-то у меня там война была, - сказал мой детсадовский друг безразличным тоном. - Ну, как в кино... Окопы, воронки от снарядов. Оружия, какого хочешь, бери - не хочу. Там и маузеры, наганы, как из «Неуловимых», шмайссеры, и даже пулемёт «максим». Только он тяжёлый; один я не дотащу, а вдвоём мы точно дотащим.

Увидев мои колебания, он бросил последний козырь.

- Да там у меня до сих пор раненные лежат и стонут. Неужели ты, как будущий врач, не поможешь раненым советским бойцам?!

- Конечно, помогу! - с жаром ответил я.

- Вот и хорошо, - деловито сказал Костик. - У меня есть рубль двадцать, доедем до дачного посёлка, ещё и на мороженое с лимонадом хватит! Иди, собирайся.

Пока родителей не было, для нужд армии мною была реквизирована большая хозяйственная сумка мамы. Туда поместился большой пакет с таблетками, следом пошли несколько ампул анальгина, а также металлическая коробочка со шприцами и иглами. Уколы я умел делать с четырёх лет. Учился на плюшевых медведях. Правда, иглу на шприц не надевали, но папа, пока не было мамы, дал попробовать сделать укол с настоящей иглой! Лечение было успешным вдвойне: и медведи были живы, и мама не узнала.

Обязательно перевязочный материал. В ход пошел весь запас; двадцать бинтов и пакет ваты, флакон зелёнки и два флакона с йодом, а также папин одеколон "Шипр" для протирки мест будущих уколов.

Всё складывалось хорошо, но родители пришли не вовремя...

- Ты что, Шурик, на войну собрался?!

- Нет, к Косте Косячкину на дачу.

- А для чего всё это? На всякий случай? - с надеждой спросила мама, показывая на разбухшую сумку, откуда торчал тонометр и папин запасной фонендоскоп.

- Нет! Это для помощи раненым солдатам. Они там до сих пор лежат и стонут, и мой долг, как будущего врача, спасти их.

- Какие солдаты?! - оторопело присев на тахту, тихо спросила мама.

- Ну, конечно, наши. Буду я ещё фашистов спасать! - с возмущением сказал я.

Соляной столб, называвшийся раньше мамой, заговорил только через пару минут, обращаясь к папе.

- Что ты смотришь? Ты же врач!

- Я хирург! - гордо сообщил отец. - В крайнем случае, фтизиатр. Я что, по-твоему, похож на психиатра?!

- На дурака ты похож, - сказала мама и всхлипнула, - У тебя с сыном проблемы, а ты всё свои статьи строчишь...

- Сынок, - мягко начал папа, - какой сейчас год?

- 1973-й. Что я, дурак, чтобы года не знать?! - с возмущением ответил я.

- Хорошо, - успокаивающе сказал папа, - а когда закончилась Великая Отечественная война?

- 9 мая 1945 года, - отрапортовал я.

- Правильно, Шурик, - ободряюще продолжил глава семейства. - А сколько лет прошло с тех пор?

- Много, - сказал я, насупившись. - Я ещё не умею считать больше двадцати, и примеры решать тоже не умею...

- Двадцать восемь. За это время разве может раненый человек без медицинской помощи прожить, тем более без еды и питья?

- Не может, - со вздохом согласился я.

- Ну, какая война, мы же в Казахстане живём?! Ну, сам подумай! - неожиданно в разговор вмешалась мама.

- А вот тут ты не права, - наставительно сказал папа, - район западного Казахстана бомбили, там даже немецкий десант высаживался; кажется, место называлось Урдинский район. Это прикаспийские земли. Только это очень далеко от нашего Чимкента... Слушай, Аня, а давай ему разрешим поехать, только без ночёвки? Они же всё-таки мальчишки...

- Да не хочу я никуда ехать, - хмуро пробубнил я, со вздохом вытаскивая из сумки пакет с бинтами. - Что я, помидоров не видел?!

С тех пор утекло много воды, но каждый раз во время споров с отцом по поводу правдивости чего-то, в ход поступал последний аргумент, который отец произносил с иронической улыбкой:

- Опять дача Косячкина...

## Сочи

От всего горячего приключения, преступления, трагического случая (не знаю, как вернее обозначить произошедшее на моих глазах и при моём участии), в картёжной колоде лет осталась резкая память лишь о грозе распахнутых, как молнии, зелёных глаз наглой красавицы, да проклятия и слезы пожилого господина, переодетого из офицерской формы в нелепо сидевший летний кремовый чесучовый костюм. Остальные события полустёрлись. Хотя кое-что я ещё помню.

Мне было семнадцать лет, и я мечтал подружиться с красивой девушкой. Как и всякий молодой человек, я начал мечтать о красавице гораздо раньше. Но в семнадцать лет я осознал художественным воображением, о какой именно красавице мечтаю. Я часто ходил в Эрмитаж и Русский музей. Пожалуй, музеи искусств и непрерывное чтение помогли мне придумать образ желанной красивой девушки на основе сотен портретов, нарисованных красками на холстах или изображённых словами на типографском листе. Я был готов узнать эту вожделенную молодую красавицу, как готова мать узнать своё ещё не рождённое дитя. Но ни абстрактной матери, ни мне, беременному потенциальной влюбленностью, не было дано заранее живописать портрет нашей мечты.

Был январь 1953 года. Страшный год и месяц для советского еврейства. День был тринадцатое января. В этот день в газетах было объявлено о том, что «разоблачение шайки врачей-отравителей является ударом по международной еврейской сионистской организации». Началась невероятная по озлобленности травля евреев. Конечно, я был оскорблён, угнетён и взвинчен. Тем трагикомичнее, что именно тринадцатого января 1953 года в ленинградской филармонии должен был состояться концерт знаменитого тенора Михаила Давидовича Александровича. Я и не надеялся, что состоится. Но билет был куплен заранее, и я отправился на концерт. Зал был переполнен. Я увидел множество еврейских лиц. И среди них в ряду, следующим за моим, было лицо молодой красавицы, поразившее меня своей

необычностью. Она была рыжеволоса и зеленоглаза. Рыжие волосы красавицы стояли, как львиная грива, вокруг молочно-белого, как мрамор античных статуй, лица. И такая же у неё была мраморная шея, перетекающая в высокую грудь под белой вязаной кофточкой. Длинные пальцы левой руки молодой красавицы держали программку концерта, а правая рука, положенная на вишнёвую ручку кресла, была прикрыта рукой офицера, который другой рукой нацеливал на сцену армейский бинокль.

Михаил Александрович пел арии, романсы и неаполитанские песни. Энтузиазм публики был необыкновенный. А я постоянно оглядывался на мою красавицу. Она, конечно, не замечала моих взглядов, вся поглощённая пением. В антракте я шел, как замороженный, за моей красавицей и её офицером. Он шептал ей какие-то нежности и раз или два поцеловал в шею, что привело меня в невероятное бешенство ревности. Но я знал, что дождусь своей минуты. И дождался. Офицер оставил мою красавицу сидеть за столиком кафе, а сам пошел в очередь за шампанским и пирожными. Я подбежал к её столику. Она взглянула на меня с удивлением.

- Не удивляйтесь! Я искал вас давно. Я никогда не видел таких красавиц. Как вас зовут?

- Регина.

- Где я могу вас увидеть?

- Зачем?

- Потому что я люблю вас!

- Ты смешной мальчик. Как тебя зовут?

- Даниил. Даня.

Боковым зрением я видел, что офицер приближается к буфетчице. Вот-вот он получит шампанское и пирожные (почему я вообразил столь определённо: шампанское и пирожные, а не шоколад и мандарины?), получит в буфете своё шампанское и свои пирожные, а затем самодовольно вернётся к столику моей красавицы. Самодовольно - так убеждённо я тогда мыслил!

- Я люблю вас, и мы должны встретиться завтра. Где?

- Уходи немедленно, сумасшедший Даня!

- Где?

- Завтра в пять около кинотеатра "Арс" на Льва Толстого.

Был такой кинотеатрик на площади Льва Толстого в Ленинграде. Я сразу ей поверил.

Второе отделение подходило к концу, когда Александрович спел итальянскую песню, в которой



угадывалась еврейская мелодия. Зал замер. Я взглянул на Регину. Из её распахнутых глаз текли слезы. Офицер гладил её руку и шептал что-то сочувственное.

Даже отчаянное по смелости исполнение еврейской мелодии, хотя и завуалированной итальянскими словами, не так сильно потрясло меня, как слёзы Регины. Мне хотелось немедленно подняться со своего кресла, пробраться к ней, утешить её. Но и это было воображением. Я дождался окончания концерта, простоял положенное время в очереди за пальто и шапкой, вышел из филармонии. Регины и её офицера не было на улице.

Наверно, я не спал всю ночь. Не помню, пошёл ли в школу. Трамвай тащился невообразимо долго - зимняя краснобокая гусеница ленинградских улиц, медленно пожиравшая расстояния между остановками. Невка лежала подо льдом, который был засыпан синеющим в сумерках раннего вечера снегом. Где-то на боковой улице, примыкавшей к площади Льва Толстого, я выскочил из трамвая. Вечерние прохожие, как привидения, которые общаются при помощи мюнхаузенских слов, выдыхаемых и мгновенно замерзающих, пробежали мимо меня. До пяти оставалось около получаса. Я зашел погреться в угловой гастроном. К продавцам разных отделов стояли длинные очереди усталых, обзлѐнных работой и морозом людей. Я слонялся вдоль прилавков. На меня смотрели с подозрением и ненавистью. Или мне так казалось. Каждому еврею зимой 1953 года казалось, что на него смотрят с подозрением и ненавистью. Я вышел из гастронома и начал переходить от одного угла площади к другому, время от времени возвращаясь к кинотеатру "Арс".

Стрелка уличных часов замерла на пяти, и я увидел женщину, скользнувшую во вход кинотеатра, к кассам. Она была в беличьей шубке, без шапки или платка. Да кто носит шапку или платок, когда огонь рыжей гривы способен расплавить самый лютей холод! Я бросился за ней. Она вытаскивала из окошечка кассы две голубые бумажки билетов.

- Пойдем, Даня, сеанс начинается, - сказала она.

Мы вошли в тѐмный полупустой зал. На экране показывали кинохронику. Какие-то нелепые кадры с грохочущими цехами, пылающими мартенами, митингами трудящихся, военными учениями и визитами арабских или африканских лидеров. Мы ничего не видели и не слышали. Мы сидели в последнем ряду и беспрерывно целовались. Я

и сейчас не понимаю, почему она выбрала меня, неопытного еврейского юношу, почти мальчика. Может быть, время было такое. Она потом призналась, что притянул её мой взгляд, отчаянный и смущённый. Однажды (во вторую или третью нашу встречу) она прошептала стихи, дотоле неизвестные мне: «Как Даниил во рву со львами...». Нашла во мне родную душу? Может быть, потому, что в Институте физкультуры, который Регина заканчивала через несколько месяцев, евреи, как правило, не учились. Она была блистательным исключением. Чемпионкой Молдавии по гимнастике. Её родные жили в Кишинёве. Со мной Регина могла говорить откровенно. Все тогдашние откровенные разговоры евреев кончались или начинались с вопроса: к чему приведёт антисемитская кампания? К погромам, тюрьмам и поголовному выселению в Сибирь или Казахстан, как это было сделано с немцами Поволжья, крымскими татарами, чеченцами?

Да, у неё был жених Николай Николаевич Малинин. Майор танковых войск. Он проходил усовершенствование в одной из военных академий в Ленинграде. В марте они должны были зарегистрироваться и уехать в его часть, куда-то в Восточную Германию.

- Почему в марте? А что до этого? - спросил я, задыхаясь от ревности и надежды.

- Ах, проблемы с общежитиями! - отмахнулась она.

О своем майоре Регина говорила редко: «Добрый. Благородный. Когда увидел эту мерзость про еврейских врачей, сплюнул и разорвал газету». Я тоже не бередил ее рану. Да и была ли рана? Мы встречались тайком, где можно было. У неё в общежитии. У знакомых. У меня дома, когда все были на работе. В музеях. Да, вот это у нас было общим - страсть к музеям и чтению. Мы целовались и говорили о картинах и книгах. Она всегда была весела. Всегда в хорошем настроении. Иногда позволяла приходиться к ней на тренировки. Смотреть издали, как она балансирует на бревне. Вращается на перекладине. Летаёт на брусках. Иногда сразу же после любви, когда мы оба лежали на её узкой студенческой койке, а февральское солнце едва пробивалось желтым птенцом в замызганное окно, Регина соскакивала на пол, голая, и начинала показывать мне акробатические трюки: рыжегривая голова вставлялась между бёдер, зелёные глазницы сверкали...

Не знаю, как я продолжал учиться. Да и в школу ходить не хотелось. Кое-кто из учителей с энтузиазмом читал

вслух из газет новые и новые подробности дела еврейских «врачей-убийц». Только любовь Регины и спасала меня от желания вовсе бросить школу.

Она убедила меня, и я пообещал не вспоминать о её майоре–танкисте. Слово его и не было. Его и на самом деле не было в нашей дневной тайной жизни. А по вечерам я ждал следующего дня, когда я увижу Регину.

В самом начале марта умер Сталин. А через несколько дней по радио и в газетах объявили, что дело еврейских врачей - ошибка, ложь, навет. Я помчался к Регине в общежитие. Мы не договаривались встретиться с ней в тот день. Я должен был позвонить ей в условленный час на проходную общежития, чтобы договориться о встрече. Какое там! Радость, ликование, утверждение, что правда победила, что мы, евреи, и на этот раз понапрасну оклеветанные, опять чисты перед миром, - вся эта гамма весенних чувств переполняла мою душу. Я не мог не увидеть Регину немедленно.

В общежитии её не было. В тренировочном зале тоже. Я вернулся домой, надеясь на чудо. Телефона у меня не было. Она знала мой адрес. Когда–то мы договорились, что в крайнем случае она даст о себе знать. Но я никак не мог поверить, что «крайний случай» пришел именно теперь.

Каждый день я звонил и звонил Регине в условленный час на проходную общежития или, как шпион, прокрадывался в гимнастический зал. Её нигде не было. Наконец, в конце недели пришло от неё письмо: «Дорогой Даня! Спасибо, что ты встретился мне. Когда ты получишь это письмо, я буду далеко–далеко. Прощай навсегда. Твоя рыжеволосая львица Регина».

Прошло много лет. Я закончил медицинский институт. Меня призвали в армию. Я стал военным врачом. Танковая дивизия, в одном из полков которой я командовал медсанбатом, располагалась на окраине города Борисова, в полутора часах езды от Минска. Офицерские пьянки и танцы в городском Доме культуры поначалу отвлекали от тоски по дому, по друзьям, по ленинградским улицам и музеям. Но ненадолго. Оставалось чтение. К счастью, в местный книжный магазин каждую неделю привозили новые книги из лучших издательств - «Художественной литературы», «Советского писателя», «Мира», «Искусства». А в библиотеку Дома культуры приходили журналы «Новый мир», «Знамя», «Нева», «Дружба народов». Как раз в книжном магазине я и познакомился с

Павлом Абрамовым. Павел был года на три постарше меня. И повыше званием. Он был военным врачом из соседней дивизии. Донской казак по рождению, он закончил московский медицинский институт, занялся научными исследованиями, и вдруг - как многие из моего поколения - оказался в глуши, в военной части. И для Павла книги были единственным спасением. Хотя он не чурался и внимания юных дев. Павел был истинно южнорусский красавец: стройный, смуглолицый, черноглазый, всегда весёлый, готовый к шутке, дружеской пирушке, интимной вечеринке, но и к задушевной беседе, к серьезному разговору о книгах, о медицине, о политике. У него был свободный и ясный разум, что не так уж часто встречалось среди офицерства, даже нашего поколения.

Мы сошлись с ним в оценках романа «Не хлебом единым», к счастью не изъятого из Борисовской городской библиотеки. Я верил и верю в магическую силу печатного текста. Любовный треугольник «Анны Карениной» (Анна, Каренин, Вронский) вызвал к жизни героев романа Дудинцева (Надя, Дроздов, Лопаткин). А чтение запрещенного романа могло обратным ходом повторить ситуацию, напоминающую «Анну Каренину», где мой друг Павел Абрамов играл роль Алексея Вронского. Кому же достались роли Анны и Каренина в нашей лесной глуши?

Однажды (это был конец апреля или май), когда в садах Борисова безумствовало бело-розовое цветение яблонь и вишен, ко мне в медсанбат на зелёном военном газике заехал Павел. Офицерская полевая форма, сшитая из тёмно-зелёной шерстяной материи (гимнастёрка, галифе, фуражка), сидела на нём вызывающе лихо. Особенный казацкий вид придавал Павлу иссиня-черный чуб, вылетающий из-под козырька фуражки. Я велел санинструктору Свистунову (запомнилась его потешная фамилия) принести нам чаю. Мы заперлись в моём кабинете, и Павел рассказал, что насмерть влюблён, что она тоже безумно его любит, что больше месяца они встречаются тайком от её мужа, подполковника-танкиста, что они хотят пожениться, но муж ни за что не даст развода, и она вынуждена бежать.

- Бежать? - переспросил я.

- Да. Бежать! - подтвердил Павел.

- Но куда?

- Сначала мы уедем в Сочи. Я - в отпуск. Она - как будто бы к матери, которая, сговорившись, вызовет дочь в

Кишинёв под предлогом болезни. А на самом деле она заедет к матери только на один день, сядет в самолёт, прилетит в Сочи и проведёт там месяц со мной.

- А потом? - пытался вернуть я моего друга в колею логики. Но какое там! В результате моё чувство товарищества победило мои же логические доводы. Мы составили план, по которому я возьму отпуск на четыре дня и отправлюсь в Сочи, сниму квартиру, сообщу адрес Павлу и буду ждать беглянку. Через день туда приедет Павел, а я вернусь в свою часть.

- Как зовут твою возлюбленную? - спросил я.

- Регина, - ответил он.

Накануне отъезда я был взбудоражен. Предчувствие засасывающей неизбежности охватило меня. Я пытался сопротивляться: «Да мало ли на свете Регин?!» Не помню, как приехал в Минск, взял билет до Сочи и обратно, нырнул из самолёта в тёплый успокаивающий воздух, настоящий на море, шашлычных и пальмах, снял квартиру на окраине города в Мацестинской долине, запасся коньяком и начал ждать возлюбленную моего друга. Домик, в котором я снял жильё, стоял над Сочи. В сталинские времена в этих местах была дача вождя, а стандартные домики, в одном из которых я поселился, были построены для охранников. Меня поразил громадный, в полстены, портрет Сталина, висевший в зале.

Я пил коньяк и ждал. Начало темнеть. Внизу шумело и рокотало Чёрное море. Сочи полыхал огнями иллюминации. Хотелось забыть о своих обязательствах и спуститься вниз, к нарядной толпе отдыхающих, туда, где не было запутанных авантюр и противоречивых планов, а была радость жизни, доставшаяся ненадолго.

Но я сидел и ждал.

Совсем стемнело. Я услышал рев автомобиля, взбиравшегося к нам снизу, с набережной. Я выскочил из дома. Таксист вытащил из багажника чемодан и взял деньги у женщины, лица которой я не видел в темноте. Она подошла ко мне. Это была Регина, моя рыжеволосая львица. Такси ускользнуло вниз, в темноту. Мы вошли в дом. Трудно было найти слова после всего, что было когда-то между нами, после многих лет пустоты, как смерти, и нынешнего возрождения. Возрождения чего? Что могло (если бы?) возродиться между нами? Я не знал, как жила Регина эти годы. А над моей головой прогремели новые грозы, новые влюблённости, похороны и разлуки.

Я показал Регине ее комнату. Нарезал салат из помидоров и огурцов. Был у меня ещё хлеб, сыр и колбаса. Мы выпили коньяка. Она что-то рассказывала о Восточной Германии. Я - о своей жизни в Борисове, о книгах, о Павле Абрамове. Да, мы наперебой говорили о достоинствах Павла, какой он врач необыкновенный, какой гимнаст и наездник. Даже его увлечение патологией вспомнили: как он замечательно делает зарисовки своих анатомических наблюдений в прозекторской и под микроскопом. Говорили о Павле, словно он всегда был в нашей жизни. Она ушла спать.

Наутро, пробегая умыться через залу, я взглянул на портрет вождя. Мне показалось, что он ухмыльнулся в усы, полуприкрытые полированной коричневой трубкой. До приезда Павла оставалось полдня. Надо было занять время. Решили отправиться завтракать в одно из прибрежных кафе. Спуск по горной дороге, указанный нам хозяином, был крут. Мы спускались медленно. Регина останавливалась, срывала цветы. На одном из поворотов, который был площадкой, где одна машина могла ждать, пропуская другую встречную, Регина повернулась ко мне.

- А ты изменился, Даня!

Я промолчал. Не отвечать же банальностью. Она приблизилась ко мне, широко раскрыв свои глаза, горевшие, как две степные луны.

- Поцелуй меня, Даня, на прощанье!

Я обнял ее. Волна страсти? желания? любви? памяти? охватила меня. Я забыл всё на свете. Вся моя суровость и преданность дружбе, продержавшаяся прошедшую ночь, была смыта горным потоком вожделения.

Мы не услышали, как на площадку с нижней части дороги поднялся кто-то, подошел к нам целующимся, и хрипло прокричал:

- Наконец-то я нашёл вас, проклятых!

Перед нами стоял пожилой человек в неуклюже сидящем на нём летнем кремовом чесучовом костюме. Воротник белой сорочки был расстёгнут, узел галстука распущен, штiblеты в пыли. Пот градом катил с полулысого черепа. С трудом я узнал в измученном обозленном старике офицера, с которым Регина слушала когда-то пение в филармонии.

- Николай, успокойся... Это ошибка... - пыталась объяснить с мужем Регина, но слова её были бессмысленны и неубедительны. Да и что она могла

сказать обманутому, дважды обманутому мужу? Я молчал. Классический случай. Почти анекдот.

А выходило, что совсем не анекдот. Муж Регины был взвинчен до крайности, когда и совершаются крайности. Из кармана брюк он достал пистолет. У каждого офицера было личное оружие. Мы брали пистолет во время дежурств, на манёвры или смотры. Брали, а по окончании дежурства или прочих обязанностей - сдавали. Как ему удалось приехать в Сочи с пистолетом, не знаю. Да и неважно это. Как назло, по дороге никто не поднимался, не спускался. Ни человек, ни зверь, ни машина. Мы стояли рядом, а муж Регины целился из пистолета. В меня? В неё? Он целился долго, словно выбирая, кого первым. Вдруг рыдания сотрясли его тело, рука с пистолетом замоталась по воздуху, как белый флаг, когда сдаются, просят о пощаде.

- Не могу, не могу, не могу... - проговорил он, рыдая; уронил пистолет, упал на землю и пополз к ногам Регины. Он твердил одно и то же: «Не могу, не могу, не могу...», обнимая и целуя её ноги. Она гладила его по мокрому взлохмаченному полуголому черепу:

- Успокойся, Коля, успокойся...

Я ушел от них, вернулся в домик охранника, взял сумку с дорожными вещами и спустился по узкой тропинке к морю. Солёная вода успокоила меня. В аэропорте я провел остальные полдня в баре, дожидаясь своего обратного рейса.

## Янкл-магид

Особая тишина праздника висела над Меджибожем. Казалось, всё местечко спит глубоким сном. День уже клонился к вечеру, одуревшие от дневного зноя цикады начинали потихоньку рассыпать бисер своего перезвона, готовясь к ночному буйству. Янкл стоял у окна и, пытаясь отвлечься, глядел на улицу сквозь туманящие глаза слезы.

Вот прошли две молодые еврейки. Одна высокая, точно цапля, медленно делала большие шаги, смотря на подругу, опустив голову. Вторая, полная, низкорослая, шла переваливаясь, точно утка, непрерывно что-то говоря.

– Из синагоги возвращаются, – подумал Янкл. – Читали, наверное, псалмы, а теперь спешат домой, накрывать стол для праздничного ужина. Скоро начнется молитва, и...

От острой боли, пронзившей его при мысли о вечерней молитве, Янкл вздрогнул. Этого не могло не быть, не имело права случиться, но, тем не менее, должно было вот-вот произойти.

Утром всё шло, как обычно. После бессонной ночи и чтения «Тикун Шавуот», Бааль-Шем-Тов произнёс проповедь, поговорил с несколькими особенно страдающими просителями, рвавшимися к нему несмотря на праздничный день, и в окружении ближайших учеников сидел за столом торжественной трапезы. А вот после...

Янкл проглотил подступивший к горлу комок и отёр глаза. Слезами делу не поможешь. Да и о какой вообще помощи может идти речь?

– Не тревожьтесь обо мне, – вдруг произнёс Бааль-Шем-Тов. – До завершения дня моя душа оставит этот мир.

Ученики обомлели.

– Не тревожьтесь, – повторил Бааль-Шем-Тов. – Я просто выйду из одной двери и войду в другую.

Он встал из-за стола, совершенно здоровый, крепкий человек, перешёл в другую комнату и улёгся на постель. Прошло всего несколько минут, но его лицо полностью изменилось. Глаза запали, нос заострился, щёки и лоб покрыла смертельная бледность. Бааль-Шем-Тов стал подзывать учеников и давать каждому указания.



Настал черёд Янкла. Многолетний служка праведника и один из самых приближённых к нему людей, он едва смог подойти к постели Учителя из-за рвущихся наружу рыданий.

– Ты станешь ездить из города в город, из местечка в местечко, и рассказывать удивительные истории, которые ты видел, когда был моим учеником.

Услышав наказ Бааль-Шем-Това, Янкл на секунду замер от изумления; меньше всего он ожидал услышать такое.

– У тебя ведь хорошая память, Янкл, – продолжил Бааль-Шем-Тов, – ты должен помнить десятки таких историй.

– Да, – наконец сумел преодолеть изумление Янкл. – Я помню, но...

Он хотел подсказать Учителю, что заикается, и рассказывать истории на людях ему будет трудно, почти невозможно, но Бааль-Шем-Тов уже завершил разговор:

– Евреи станут платить за рассказы деньги, и на этот заработок ты будешь жить.

Когда багровый диск солнца полностью скрылся за горизонтом, в больших часах, висящих на стене комнаты, где лежал Бааль-Шем-Тов, со звоном лопнула пружина, и в то же мгновение душа праведника ушла из нашего мира.

Минул месяц. Янкл бродил по Меджибожу, как по чужому местечку. Он и в самом деле с трудом узнавал улицы, на которых провёл большую часть своей жизни. Мир без Бааль-Шем-Това стал иным, похожим на предыдущий, но всё-таки иным. Птицы в нем пели не так заливисто, солнце светило тусклее, вода из колодца не ломала зубы. Меджибож, где Янкл был счастлив, остался только в его памяти.

Спустя месяц он отправился в странствия. Чудесных происшествий с Бааль-Шем-Товом Янкл знал больше сотни. Почти десять лет он прожил рядом с праведником, сопровождал его в поездках, выполнял тайные поручения. Чудеса в Меджибоже валялись под лавкой, на которой сидел Учитель, и вся его жизнь состояла из удивительных происшествий.

К величайшему удивлению Янкла, с заиканием никаких затруднений не возникло. Начиная рассказывать об Учителе, он снова оказывался в исчезнувшем мире, и язык, без малейшей запинки, пускался в галоп.

Затруднение оказалось в другом: слушатели, конечно, складывали в тарелку деньги, но эти медные монетки

невозможно было назвать заработком. Жить на них, то есть кормить жену и четырёх детей, как обещал Бааль-Шем-Тов, было невозможно.

– Наверное, Учитель послал меня в добровольный галут, изгнание, – думал Янкл, пряча монетки поглубже. – Многие большие праведники годами вели такой образ жизни, через мучения тела утончая душу. Видимо, моей душе нужен такой тикун, исправление, вот Учитель и назначил мне скитаться по дорогам.

Добровольный галут предполагал непрерывное странствие от местечка к местечку. Нельзя было спать больше двух ночей под одной крышей, нельзя было просить милостыню или еду. Питаться разрешалось лишь тем, что люди подают добровольно. Образ жизни, который теперь вёл Янкл, иначе, чем галутом, назвать было трудно.

Разница состояла лишь в том, что раз в несколько месяцев он возвращался в Меджибож, отдавал жене собранные монетки, целовал детей, отсыпался в тепле семейной постели и снова отправлялся странствовать.

– Праведница, – уходя, шептал он, оглядываясь на крыльцо, с которого жена прощально махала ему рукой. – Вот кто настоящая праведница.

Прошли, протащились по расхлябанным дорогам, проскользили по льду и снегу, пропылили целых два года. И ничего в жизни Янкла не изменилось: сопровождали его те же медные гроши, тот же постоянный голод, те же бессонные ночи на жёстких лавках постоянных дворов. Что имел в виду Бааль-Шем-Тов, посылая своего ученика в бесконечные мытарства – поди разбери.

В одном из странствий он оказался на Волыни, неподалеку от Луцка, и там до его слуха донеслась странная весть. Не подавая виду, он выслушал её, и только оставшись наедине с самими собой, начал лихорадочно соображать: уж не пришел ли конец его странствиям?

Смысл известия, если отделить его от шуток, намёков, и прочей праздной болтовни, был таков: живёт в городе, неподалеку от Люблина, богатый еврей со странной причудой. Он собирает рассказы про Бааль-Шем-Това и за каждую новую историю платит целую золотую монету.

– Я помню наизусть больше сотни таких историй, – думал Янкл. – Все они произошли со мной и с Учителем, и вряд ли богач про них знает. Правда, за последние два года я обошёл десятки местечек и рассказывал эти истории сотни раз. Вполне вероятно, кое-какие докатились до его

слуха, но всё-таки большинство окажется новыми. А это значит, что я могу заработать сотню золотых, огромные деньги!

Наутро Янкл отправился в Польшу. Путь неблизкий, четыреста вёрст, но ему не привыкать, за неделю можно добраться. К месту назначения он прибыл в середине пятницы, запылённый, еле живой от усталости. Он явно переоценил свои силы, столь длинная дорога оказалась для него куда тяжелее, чем можно было предположить.

Перед тем, как пуститься в путь, Янкл подробно разузнал, где живет богач; и, войдя в город, не потерял ни минуты, сразу отыскав его дом. Честно говоря, человек, выкладывающий целую золотую монету за рассказ о Бааль-Шем-Тове, мог жить в особняке пороскошнее, но приглядевшись, Янкл ощутил болезненный укол зависти. Дом был весь из себя ладный, уютный, чистый, ухоженный. В него хотелось войти и поселиться, сделав его постоянным обиталищем. Отутюженные шторы в приоткрытых окнах зазывно приподнимались под порывами ветерка.

Янкл вспомнил свой покосившийся домишко, захватанные грязными пальцами занавески, давно не мытые стекла, и тяжело вздохнул.

– Чего вздыхаешь? – спросил его слуга, выходя на крыльцо. Янкл и не заметил, как успел нажать на начищенную до сияния медную ручку звонка.

– Это от усталости, – объяснил Янкл. И тут же добавил: – Мне нужно поговорить с хозяином.

– С хозяином? – повторил слуга, иронически оглядывая запыленного путника. – О чём тебе с ним говорить? Обойди дом, сзади увидишь дверь, там тебя накормят и дадут немного денег. А хозяин сейчас занят.

– Меня зовут Янкл, я ученик Бааль-Шем-Това. Пришёл из Меджибожа, рассказать истории про Учителя.

Слуга изменился в лице.

– Из Меджибожа? Ученик Бааль-Шем-Това? Добро пожаловать!

Он широко распахнул дверь, пропуская Янкла. Гостя сразу усадили за стол, подали чай и два ломтика медового пирога, аккуратно уложенных на тонкую фарфоровую тарелку. Пока Янкл дивился на тонкость обращения, появился сам хозяин. На его узком худом лице, отороченном длинной, начинающей седеть бородой, играла приветливая улыбка, хотя чёрные глаза глядели хмуро.

– Какая радость, какой приятный сюрприз! – воскликнул хозяин, сжимая руку гостя. – Надеюсь, вы тот самый Янклмагид, о котором мы столь наслышаны.

– Наслышаны? – поразился Янкл. – Откуда?

– Ну-у-у, – ласково улыбаясь, протянул хозяин. – Кто в еврейском мире не знает о странствующем ученике Бааль-Шем-Това, рассказчике чудесных историй. Я давно жду вашего появления и очень ему этому рад. Давайте познакомимся, меня зовут Йосеф-Шломо.

Сразу после чая изумленного Янкла отвели в баню, переодели в новую одежду, и перед началом субботы он уже восседал в синагоге на почётном месте у восточной стены, рядом с Йосефом-Шломо. Звуки субботней молитвы улаждали слух, свечи, тихо мерцавшие в массивных бронзовых канделябрах, радовали взор, запах старого дерева, наполнявший синагогу, веселил душу. Одно только нарушало безмятежность и покой Янкла: хмурые глаза богача.

Субботний стол занимал всю длину гостиной и был уставлен подносами с разнообразнейшими яствами. Многие из них Янкл видел впервые в жизни, о существовании других только слышал.

«У богача - как у богача, – подумал Янкл. – Стол гигантский, еды немеряно. У Бааль-Шем-Това такого сроду не бывало, яства подавали духовные, и наслаждение, поэтому, было неземным».

Несмотря на размеры стола, гостей набилось столько, что сидели впритирку, локоть к локтю.

– Пришли вас послушать, – прошептал богач на ухо Янклу. – В нашем городке новости разносятся с быстротой молнии. Пока вы мылись в бане, ко мне пожаловали чуть ли не все евреи общины с просьбой пригласить на трапезу. Всем, конечно, места в моём доме не хватило, но мы с женой очень постарались.

Ел Янкл немного, выбирая самые простые блюда. Он понимал, что говорить придется долго, одним-двумя рассказами такое количество евреев не насытить. Впрочем, говорить долго входило в его планы, ведь за каждый рассказ он рассчитывал получить золотую монету, а плотный ужин мог только помешать.

Ещё в синагоге он отобрал в уме истории, которые станет рассказывать, и на всякий случай пробежался по ним мысленным взором. На всякий случай потому, что

рассказывал их сотни раз и знал наизусть от первого до последнего слова. Но мало ли....

Евреи Польши любили покушать, особенно в субботу, когда предписано радовать себя вкусными блюдами, и особенно за щедрым столом богача. Но вот голод был утолён, аппетит насыщен, и пришло время для субботних историй. Йосеф-Шломо налил в золотой кубок самого лучшего вина и передал его Янклу:

– Это если, не дай Бог, в горле пересохнет, – с улыбкой произнёс он.

Янкл благодарно принял кубок, сделал небольшой глоток, поставил кубок на стол перед собой, открыл рот, чтобы начать первую историю и... И вдруг понял, что не помнит, о чём собирался рассказывать!

Невозможно, немыслимо! Только что, доедая фаршированную рыбу, он ещё раз мысленно прошёлся по всем приготовленным историям, особенно задержавшись на первой. А сейчас он не мог вспомнить не только её, но и все остальные.

В горле моментально пересохло. Он сделал большой глоток и попробовал вспомнить хоть что-то из сотни известных ему историй, - и снова не смог.

Янкл побледнел. С трудом подняв глаза, он увидел, что взоры всех присутствующих устремлены на него, и едва не лишился чувств. Богач заметил происходящее и сразу вмешался.

– Я вижу, наш уважаемый гость ещё не совсем оправился от тягот дальней дороги, – произнёс он. – Из Меджибожа до нашего городка больше шестисот верст, не шутка, совсем не шутка. Давайте подождём до дневной трапезы, надеюсь, что за ночь наш уважаемый гость наберётся сил и придёт в себя.

Наберётся сил! Янкл до рассвета не сомкнул глаз. Он без устали ходил по своей комнате, тщетно пытаясь вспомнить самую короткую, самую незамысловатую историю. Под утро он осознал, что даже лицо Бааль-Шем-Това стёрлось из его памяти. Он, который много лет прислуживал праведнику, не мог припомнить ни какого роста был Бааль-Шем-Тов, ни тембр его голоса, ни походку, ни привычки.

В полном отчаянии Янкл упал на постель и забылся на несколько коротких утренних часов.

Деликатный хозяин на дневную трапезу гостей не позвал. Обедали в семейном кругу, о Бааль-Шем-Тове

никто Янкла не спрашивал. Только сейчас Янкл обратил внимание, что Йосеф-Шломо практически ничего не ест. Он отпил из кубка полагающееся количество вина, отщипнул кусочек халы, и всё остальное время сидел, оглядывая хмурыми глазами домашних. В конце трапезы богач вопросительно взглянул на Янкла, тот виновато развел руками, и на этом всё закончилось.

Вечером, после завершения субботы, Янкл с видом побитой собаки стал собираться в обратную дорогу. Делать в этом городке было нечего. Истории не могли просто так исчезнуть из его памяти; видимо он, Янкл, был недостойн их рассказывать в этом месте и этим людям. Или этим людям не полагалось услышать истории про Бааль-Шем-Това. Но, так или иначе, пора было отсюда уходить.

Увидев Янкла с дорожной сумой за плечами, богач переменялся в лице.

– Что вы, что вы?! Прodelать столь дальний путь, чтобы уйти ни с чем? Если вы уже добрались до наших мест и оказались в моём доме, погостите ещё пару дней.

Выслушав объяснения Янкла о вероятной причине его забывчивости, Йосеф-Шломо продолжал стоять на своём.

– Поживёте ещё два-три дня в моём доме, отдохнёте хорошенько, и кто знает, возможно, преграда, которая отгораживает нас от Божественного света историй о праведнике, за это время рухнет?

Янкл согласился. Он, действительно, очень устал за столь длинную дорогу. Ведь никому и в голову не могло прийти, что столь важный человек может проделать её не на телеге, а пешком, месяц ногами грязь сотен вёрст пути.

Прошел день, минул другой, растворился и пропал третий. Ничего не изменилось.

– Жаль, очень жаль, – сказал на прощанье Йосеф-Шломо, вручая Янклу увесистый мешочек с монетами. – Я благодарен Небесам за честь принимать в доме ученика Бааль-Шем-Това. И очень сожалею, что меня не удостоили услышать рассказы о нём.

Богач тяжело вздохнул и продолжил:

– После вечерней трапезы в субботу ко мне подошли двое гостей. Один рассказал, что несколько лет назад видел вас в Меджибоже рядом с Бааль-Шем-Товом. А другой недавно слушал ваши рассказы в придорожной корчме рядом с Пинском. Ах, как жаль, как жаль...

На дворе Янкла ожидала подвода с балагулой, сжимавшим поводья двух крепких битюгов.

– Устраивайтесь себе, – смачно сплюнув, объявил балагула. – Быстро не обещаю, но колёса у меня новые, и сена полно, доедем мягко.

Янкл забрался в телегу, балагула свистнул, лошади дружно взяли с места и подались со двора. Не успели миновать ворота, как Янкл схватил балагулу за рукав.

– Стой, стой!

– Тпру, – натянул поводья балагула. – Чего случилось? Позабыли что-нибудь?

– Не позабыл, а вспомнил! – вскричал Янкл, соскакивая на землю. Через минуту он был уже в кабинете богача.

– Я вспомнил одно необычное происшествие с Бааль-Шем-Товом, – начал он с порога, – в котором мне довелось оказаться непосредственным участником.

– Рассказывайте, рассказывайте, – воскликнул хозяин, глядя в лицо внезапно вернувшемуся гостю. И сейчас, только сейчас Янкл разглядел грусть, наполнявшую его глаза. Да-да, именно грусть, перемешанную с болью, – то, что он поначалу принял за хмурое настроение.

– Это произошло в субботу перед пасхой у православных, – начал Янкл. – Весь святой день Учитель был погружён в раздумья и чем-то озабочен. Как только завершилась суббота, он позвал кучера Алексея и велел готовить телегу. Позвал также меня и еще двух учеников.

– Вольфа Кицеса и Цви Софера? – перебил его богач.

– Да, – подтвердил Янкл. – Откуда вы знаете?

– Ну, это просто, – улыбнулся богач. – Они ведь всегда сопровождали Баал-Шем-Това в его разъездах. По крайней мере, так рассказывают.

– Верно, – согласился Янкл. – Тем вечером мы, как обычно, уселись в телегу, каждый на своё место, и выехали из Меджибожа. Скрылись в темноте огоньки в окнах домов, ветки деревьев заслонили блестящие при свете полной луны железные крыши башен меджибожского замка.

Въехали в лес. Переваливаясь через корни деревьев, почти в кромешном мраке телега медленно продвигалась наугад. Алексей привязал вожжи, дал лошадям волю и повернулся лицом к Бааль-Шем-Тову.

И тут началось привычное нам чудо. Набирая ход, побежали, понеслись, полетели лошадки, куда, как, почему – лишь Учителю было ведомо. И час, и два, и три сидели мы в полном молчании, поглядывая, как искры, вылетающие из трубки Бааль-Шем-Това, пропадают в темноте за его спиной. За борта телеги боялись даже

бросить взгляд, смотрели друг на друга и наизусть повторяли учение.

Начало светать. Небо над лесом побледнело, и деревья словно расступились, пропуская через кроны тусклый предутренний свет. Звёзды померкли, и вдруг в самой вышине зажглось ярко-оранжевое облачко. Там уже светило солнце, а в густой тени деревьев ещё пряталась ночь. Деревья расступились, и за покрытым сумраком полем засиял свежим золотом купол церкви или костёла. Из труб красивых, чистых домов поднимались в небо серые столбики утреннего дыма.

– Приехали, – сказал Бааль-Шем-Тов.

Алексей повернулся, отвязал вожжи и, как ни в чём не бывало, по-хозяйски устроился на облучке. Телега въехала в город, за невзрачными строениями окраины вдоль улицы начали выстраиваться крепкие дома. Да и сама улица расширилась, словно набрала полную грудь воздуха, украсилась булыжной мостовой и привела нас на просторную площадь, окружённую каменными особняками.

Из-за раннего часа площадь была пуста, по деревянному помосту в самой её середине, разгуливали голуби. Учитель велел Алексею править к одному из домов, а подъехав, соскочил с телеги и принялся стучать в окно.

Занавески чуть дрогнули, кто-то внутри рассматривал стучавшего. Спустя несколько мгновений занавески раздвинулись, и в окне показалась пожилая еврейка в чепце. Она отворила окно и проговорила испуганным голосом:

– Ой, миленькие, что вы тут делаете? Бегите, бегите пока не поздно.

– От чего бежать, бобалэ? – спросил Учитель.

– Сегодня воскресенье, в город приедет пресвитер. Он будет читать проповедь вон с того помоста, – и она указала на деревянное возвышение посреди площади.

– Ну и что? – удивился Бааль-Шем-Тов. – Пусть себе читает.

– А то, – шепотом вскричала старуха, – что несколько дней назад пропал местный мальчишка-иноверец. Все уверены, что его украли евреи для мацы. После проповеди, скорее всего, начнется погром. Идн (евреи) нашего города с вечера разъехались или попрятались. Нельзя сегодня на улице оставаться, кого эти газлоним (разбойники) поймут, плохо придется.



– Какая ещё маца? – удивился Учитель. – Наш Песах закончился неделю назад.

– Разве их волнует правда? – горько усмехнулась старуха.

– Мы не успеем уехать, – сказал Бааль-Шем-Тов. – Спрячьте нас у себя.

– Хорошо, сейчас открою ворота. Только быстрее, Рибэйне шел ойлам (Владыка мира), как можно быстрее.

В доме было чисто, пусто и тихо. Учитель подошел к окну и распахнул его во всю ширь.

– Что ты делаешь, мишигинер (сумасшедший)! – завопила старуха. – Смерти нашей ищешь?

– Это Бааль-Шем-Тов, бобалэ, – тихонько сказал я.

– Сам Бааль-Шем-Тов? – ахнула старуха. – Ты меня обманываешь, сынок! Бааль-Шем-Тов живет в Меджибоже, за тысячу верст отсюда.

– Это он, – повторил я. – Не мешайте ему. Мы специально приехали в ваш город.

– А для чего?

– Только Учитель знает. Но скоро всё выяснится.

Солнце чуть-чуть приподнялось над крышами, а площадь уже переполнилась народом. Пришли солидные мужчины с тяжёлыми натруженными ладонями и молодые женщины в праздничных платьях, озорные юноши и смешливые девушки, приковыляли, опираясь на палки старики, прибежали мальчики и девочки. Всем хотелось послушать пресвитера, получить порцию святости, а потом принять участие в небольшом представлении.

Каждый знает, что, кроме Люцифера, нет у христиан более опасного противника, чем евреи. И если предоставляется возможность дать доброго пинка одному-другому врагу рода человеческого, почему не порадовать душу в славное воскресенье?

Когда коляска пресвитера въехала на площадь, звонарь ударил в колокола. Тяжелый густой звук наполнил воздух, ворвался в окно, возле которого стоял Бааль-Шем-Тов, перепугал и без того дрожащую от страха бобалэ.

Пресвитер, молодой мужчина, легко взбежал на помост, и призывно вытянул вперед руку. Наступила полная тишина.

– Братья и сёстры! – поначалу голос пресвитера дрожал и прерывался, но с каждым словом набирал силу.

– Янкл, – позвал меня Бааль-Шем-Тов, – пойдёшь к пресвитеру, пусть немедленно прекратит проповедь и придёт ко мне.

Я тут же отправился выполнять поручение. Бобалэ смотрела на меня совершенно безумными глазами.

Люди стояли на площади чуть ли не плечом к плечу, и мне пришлось изрядно потрудиться, протискиваясь между ними. И хоть одет я был в традиционную еврейскую одежду, а борода и пейсы не оставляли даже малейшей возможности ошибиться, ни один человек не попытался мне помешать. Когда я взошел на помост, пресвитер замолчал и вопросительно посмотрел на меня.

– Бааль-Шем-Тов велит прекратить проповедь и прийти к нему, – сказал я.

– Бааль-Шем-Тов, – хмыкнул пресвитер. – Я не сомневался, что он появится. Но разве можно обмануть ожидание сотен людей, – он широким жестом обвёл замершую толпу. – Нет, я не стану прерывать проповедь даже по его просьбе. Закончу и приду.

Я пробирался обратно через добрых христиан, пришедших послушать своего пастыря, а над площадью несло:

– Доказательства? Вам нужны доказательства – пожалуйста. В их же собственных книгах написано, что царь Соломон повелевал демонами. Это неоспоримый, всеми признаваемый факт. Евреи, будучи подданными Соломона, служили ему вместе с демонами. Сослуживцы, ха-ха-ха, – и пресвитер демонически расхохотался.

– Вместе служили, – загремел пресвитер, – многое переняли, многому научились. Поэтому, когда пришёл настоящий икупитель, – голос пресвитера поднялся ввысь, – они его не признали. Да и могло ли быть по-другому, разве может бес и его друг, сообщник, компаньон признать спасителя? И это первое моё доказательство.

Бааль-Шем-Тов выслушал послание пресвитера и поморщился.

– Скажи ему, чтобы не делал глупостей и немедленно шёл сюда. Прямо сейчас, без малейшего промедления.

Выслушав указание Учителя, пресвитер недоуменно пожал плечами.

– Что ему горит, неужели нельзя подождать ещё четверть часа? Я приготовил такую красивую речь...

– Учитель велел прямо сейчас, без малейшего промедления, – повторил я.

– Ну, если так... – пожал плечами пресвитер и обратился к толпе: – Братья и сёстры! Чрезвычайные обстоятельства заставляют меня прервать проповедь. Прошу вас терпеливо дожидаться моего возвращения.

Я всё ждал какого-нибудь подвоха, не мог поверить, что пресвитер действительно прервёт свою проповедь по приказу Бааль-Шем-Това. Но, к моему величайшему удивлению, он сошёл с помоста и последовал за мной. Массивный золотой крест на его груди сверкал в лучах поднявшегося солнца. Я обратил внимание, что от избытка здоровья и сил его лицо было тугим и гладким, как субботняя хала, а щеки покрывал яркий румянец.

Когда мы вошли в дом, бобалэ тихо завывала от испуга и бросилась в дальнюю комнату. По её мнению, приход пресвитера-антисемита ничем хорошим закончиться не мог.

Бааль-Шем-Тов и пресвитер закрылись в спальне и долго о чём-то беседовали. Когда они вернулись в гостиную, пресвитер был бледен, как свежестырянный талес. Он молча вышел из дома и двинулся прямо через толпу. Мы стояли у окна, наблюдая, что он станет делать. Пресвитер забрался в коляску, кучер щёлкнул кнутом, и спустя минуту на площади остались только ничего не понимающие жители.

– Запрягай, – велел Учитель Алексею. – Больше нам тут делать нечего.

Вот, собственно и вся история. Я до сих пор не знаю, что произошло дальше с пресвитером, не знаю название города, в котором всё это случилось, да и саму историю никогда не рассказывал. Но почему-то сейчас я вспомнил именно её.

Янкл умолк, а богач воздел руки к небу и вскричал:

– Благодарю тебя, Создатель мира, за то, что услышал мои молитвы и принял моё раскаяние.

Слёзы покатались по его измождённым щекам, он сумел заговорить лишь спустя несколько минут.

– Я могу дополнить ваш рассказ, – начал Йосеф-Шломо. – Вернее, завершить его. А чтобы вы не сомневались в достоверности моих слов, знайте – я и есть тот самый пресвитер.

Он помолчал немного, тяжело вздохнул и продолжил:

– Я родился в еврейском местечке неподалеку от Лодзи, в потомственной раввинской семье. Мои предки со стороны отца и со стороны матери всю жизнь сидели над Талмудом и писали респонсы. Мне была уготована та же участь, и я с

самых ранних дней шел по этой стезе. В местечке я прослыл илуем, молодым гением, ведь учёба давалась мне легко; всё, что я когда-нибудь слышал или читал, навсегда отпечатывалось в памяти.

В шестнадцать лет я уже прошел вдоль и поперёк весь Талмуд, многие трактаты знал наизусть. В местечке учиться было уже не у кого, я превзошёл своих учителей, и родители послали меня в Варшаву. И хоть поселился я в еврейском квартале, и большую часть дня проводил над книгами, соблазны большого города вскружили мне голову. Не буду рассказывать все ступени моего падения, но спустя год, вместо того, чтобы сдавать экзамены на раввина, я оказался у иезуитов, в духовной семинарии.

Карьера моя была блестящей, никто из преподавателей семинарии не знал даже сотой доли того, что знал я, а голове, отточенной изучением Талмуда, книги иезуитов казались проще пареной репы.

Через три года я, как подающий большие надежды, был послан в Рим. В Ватикане я провел ещё пять лет, получил сан пресвитера и вернулся в Польшу.

Варшава и Рим настроили меня против иудаизма. Удовольствия, которые позволяют себе церковники, очень украшают жизнь, а уж о том, что позволительно светскому католику, евреи могут только мечтать. Но, несмотря на все лишения, они с тупым фанатизмом держатся за свои законы, обрекая себя и своих детей на жалкое, униженное существование. Так я тогда думал и так проповедовал. Проповеди принесли мне славу, известность и деньги. Их хотели послушать аристократы и простой люд, дамы и шляхтичи, духовенство и купечество. Вельможи королевского двора приглашали меня в свои поместья и с радостью выкладывали круглые суммы за учёную беседу и укрепление в истинной вере. Дружья из курии Ватикана всё явственней намекали в письмах о прочных перспективах на должность прелата, и у меня от славы, денег и почета кружилась голова. Ох, как кружилась!..

В одну из ночей мне приснился незнакомый пожилой еврей. Он честил и укорял меня на все лады за то, что я оставил веру отцов, променял вечность ни сиюминутные удовольствия, а правду на ложь.

Я проснулся раздражённый, вышел на балкон моего особняка и долго сидел в кресле, вдыхая ночную прохладу и рассматривая звёзды. Старик не шёл у меня из головы. Кто он такой, этот нищий аидлык (еврейчик), дабы

указывать мне, пресвитеру, без пяти минут прелату, как себя вести?

Спустя час я поймал себя на том, что безостановочно спорю с этим айдлыком, и понял, что его слова крепко меня задели. Два кубка хорошего вина помогли заснуть, а утром я стряхнул с себя ночное наваждение, как собака стряхивает с шерсти воду, выбравшись из речки.

Ночью он явился снова.

– Ты хотел знать, кто я? – спросил он. – Меня зовут Израэль Бааль-Шем-Тов. Поручи своим секретарям разузнать и доложить, а завтра продолжим разговор.

Я видел его явственно и чётко, как видят наяву, а не во сне. Обычно сновидения быстро улечиваются из памяти, но тут я помнил каждое слово, каждый поворот мысли, каждый упрёк.

Разузнать, кто такой Бааль-Шем-Тов, оказалось несложно. Уже после полудня секретарь принёс подробный отчёт, встревожив меня не на шутку. В моей памяти хранились десятки историй о цадиках, слышанные в прошлой, еврейской жизни, и я хорошо понимал, насколько эти люди могут быть опасны. От них не убежишь, не скроешься, цадик видит мир из конца в конец, ему не нужна полиция, чтобы отыскать виновного, и не нужен суд, чтобы вынести ему приговор. С такими людьми не стоит затевать ссору, и лучше всего держаться от них как можно дальше.

Я потерял сон и покой. Бааль-Шем-Тов приходил каждую ночь. Вначале я просто отмалчивался, а потом стал спорить. За последние годы я привык выходить победителем в диспутах с католическими священниками, и был уверен, что смогу достойно побороться и с цадиком. Увы, не тут-то было, Бааль-Шем-Тов знал куда больше моего, и на всякое возражение легко находил ответ.

В католических диспутах победившая сторона всегда уходила недовольной. Проигравший оставался при своём мнении, злясь на выигравшего за то, что тот сумел убедительней изложить свою точку зрения, более ловко подтасовать факты. Но чем больше я спорил с Бааль-Шем-Товом, тем больше убеждался в его правоте.

Жизнь во сне стала для меня почти такой же реальной, как наяву. Я прекрасно помнил содержание наших споров, и целыми днями искал доказательства своей правоты. Искал и не находил.

Просто отмахнуться от него я не мог, продолжать вести прежний образ жизни - тоже. В конце концов, Бааль-Шем-

Тов припёр меня к стенке, потребовал бросить дворец, раздать имущество бедным, найти маленькое местечко, в котором никто не слышал про пресвитера, и вернуться к еврейскому образу жизни. У меня не осталось ни слов, ни доводов. И я согласился.

Утром секретарь напомнил, что в воскресенье я обязался прочитать проповедь в небольшом городке.

– Нет, – сказал я, – сообщите, что мне нездоровится.

Через полчаса прибыл специальный посланник от епископа. Его преосвященство просил собраться с силами и отправиться в городок. Тон послания был более чем решительным. Прямое неподчинение приказу епископа могло привести к нежелательным последствиям, а я собирался этим же вечером приступить к осуществлению своего плана. Пусть эта проповедь станет последней, – решил я и отправился в дорогу. Готовиться не было нужды, больше десятка проповедей накрепко сидели в моей памяти. Дальнейшее тебе известно.

Йосеф-Шломо снова тяжело вздохнул.

– Впрочем, Янкл, есть кое-что, о чём ты не догадываешься. Когда мы остались с Бааль-Шем-Товом наедине, он назначил мне тикун, исправление. Ох, какое непростое исправление, какой тяжелый тикун. Даже слушать его было страшно!

– И сколько мне придется так страдать? – спросил я.

– Величина искупления определяется мерой вины, – ответил праведник. – Но подлинное раскаяние способно творить чудеса. Когда твоя вина искупится, ты получишь знак с Небес.

– Какой? – спросил я.

– К тебе придёт человек и расскажет эту самую историю.

У Янкла перехватило дыхание. Завеса пошла вверх, подоплёка событий предстала перед его глазами.

– С тех пор прошло много лет. Я раздал большую часть своего имущества и уехал в городок, где меня никто не знал, и стал жить, соблюдая все заповеди, от лёгкой до тяжёлой. Денег, которые я оставил, хватило для того, чтобы прослыть богачом среди моих нищих собратьев. Годы шли и шли, но посланец не появлялся, а тикун становился всё тяжелее.

Йосеф-Шломо пригладил бороду, пронизанную серебряными нитями чистой седины, и широко, счастливо улыбнулся.

– Я узнал тебя сразу, – продолжил он. – И понимал причину твоей забывчивости. Все эти дни я молился и просил Небеса принять моё раскаяние. И вот невозможное свершилось – я прощён.

К вечеру Янкл был уже по дороге домой. Незнакомые горы, словно грозовые облака, тяжело лежали у горизонта. Фиолетовый закат горел над пустыми полями. С медленным угасанием его мерцающей глубины угасала часть самого Янкла. Золотые монеты, спрятанные в одежде, сулили безбедную, спокойную жизнь до самой старости. Но что теперь ему делать с этой жизнью, после того, как поручение Учителя выполнено?!

Янкл-магид смотрел, как замороженный, на тлеющий огонь заката, и думал, думал, думал...

Публикация Архива русско-израильской литературы  
Бар-Иланского университета

Михаил Юдсон

«Остатки»

*Составление и примечания Романа Кацмана*

*Мы продолжаем публикацию фрагментов, сохранившихся в архиве Михаила Исааковича Юдсона (1956-2019) в конверте под названием «Остатки». Предыдущие публикации см. начиная с №14.*

\*

В мире властвуют пилаты,  
В море плавают пираты,  
Я же с книжкой сижу  
На чуланном бережку.  
Не делать из пиастров культа,  
И Сильвера на деревянной культе,  
И Пью-слепого всуе, глядь, не поминать.

\*

О мечтах. Сказывают, есть такая Пушкинская медаль — за сохранение русского языка за шеломянем<sup>1</sup>. Очень хорошо, полный шалом! Я вот сижу тихо, пишу мягко, храню за зубами... Считай, Тихон, ты уже с медалью!..<sup>2</sup>

-

А вообще такая тут редакционная каша, такой пьяный корабль, что Рембо бы обмер, а Верлен взревел!..

-

«Плетень кириллицы», как говорил Аксёнов.

\*

«Умело имитировал парение над чернью», — измывался Саша Чёрный над Брюсовым.

---

<sup>1</sup> За шеломянем (древнерусский) — за холмом, здесь — «за бугром», за рубежом.

<sup>2</sup> «Ты, Тихон, считай себя уже с медалью» (И. Ильф, Е. Петров, «Двенадцать стульев»).



-

Помните у российского плейбоя Сухово-Кобылина — о чиновничьем произволе: «Это уже не торг — это разбой!»<sup>1</sup>

\*

Восстание каловых масс!

-

«Когда жида Христа распинали, пречистую кровь его проливали, тога пресвятая богородица по сыне слёзы ронила на матушку на сыру землю... И от тех слёз зарождалась плакун-трава...» (Мельников-Печерский, «В лесах»).

-

«Зато эту пьесу можно читать» (В. Аксёнов о своей «Цапле»)

-

Бесконечные наши здешние ОЛИМпийские игры!..

\*

«Бедной братии батрацкой сколько погубил канал!» — это так Пастернак переводил по беломоро-балтийски Гёте. Его Фаусту «Стали Нужны до зарезу...».

-

Разуй глаза — лишись оков очков! Вглядиись!

-

Шекспировский «Макбет» в английском театре традиционно называется «Шотландская пьеса» (чтоб всуе не поминать). Так и «Мастер и Маргарита» — сие стоит обозначить «Московский роман».

\*

Простите, что я говорю, когда вы перебиваете...

-

В России сейчас все — физики и юрики, т. е. лица физические и юридические. Плюс морды.

-

Указ 7/8<sup>2</sup> от Матфея (7-я глава, 8-й стих): «Просите — и воздастся, ищите — и обрящете».

---

<sup>1</sup> «Нет у вас Правды! Суды ваши — Пилатова расправа.

Судопроизводство, ваше — хуже Иудейского! Судейцы ваши ведут уже не торг — это были счастливые времена — а разбой!» (А. В. Сухово-Кобылин, «Дело»).

<sup>2</sup> Постановление ЦИК и СНК СССР 7 августа 1932 года «Об охране имущества государственных предприятий, колхозов и кооперации и укреплении общественной (социалистической) собственности»: «суровые меры борьбы с расхитителями социалистической собственности — расстрел или длительное изъятие их из общества».

\*

Зелёные чёртики да красные дьяволята! Эх, Русь!

-

Варьете да Вар-Равван! Сколько вам билетиков — двенадцать?..

-

«Малая Земля обетованная» — Целина!

-

Золотое копьё — З/К!

Четырёхклятый пятый прокуратор Понтий Пилат!  
ВсадниКпонтийский Пилат — слышится ВКП (блин)!

\*

Театр растоптал слово, превратил в театральную пыль...

-

Один глаз — на нас, другой — на Хамас. Европейское косоглазие.

-

Чехов — Бунину (о «новой» литературе, московских декадентах): «У нас в Таганроге было “Заведение искусственных [sic!] минеральных вод”».

-

«Одно из прекраснейших свойств русского народа есть, конечно, то беспредельное, безусловное чувство преданности, которым он исполнен к своему Государю». («Обозрение расположения умов и различных частей государственного управления в 1835 году», из Отчётов 3-го Отделения).

\*

Ушло гусиное перо, сменилось на клавиатуру, прирученный почерк превратя в дикий долбёж, но ни до пушкинских высот, ни до достоевских бездн никто не доползает уж!..

-

Сызмальства меня коробило... Не «Семь самураев», а семеро! (семь — это к неодушевлённым!) Да, чурки, но не бесчувственные!.. С раскосыми и грустными глазами.

\*

Отсидевший писатель Моисей Винокур называл п-зду КПЗ.

-

Когда-то Пушкин писал Вяземскому, что «русский метафизический язык находится у нас ещё в диком состоянии». Он жаждал «ясного точного языка прозы, то есть языка мыслей».

Письмо к Жуковскому: «Письмо моё неблагоприятно, но должно же доверять иногда и счастью».

-  
Весьма спорные измышления Я. Шауса, что «проза, как ни крути, есть рассказ, и отсутствие нарратива смыкает её с эссеистикой и философией, лишая массового (Большого) читателя».

-  
Пильняк соглашался с Белым, что «вся история России мужицкой — история сектантства».

\*  
У Эрнста Юнгера в «Садах и дорогах» (Дневники-«излучения») страшное тёмное существо со светлыми крыльями впереди морды — а это просто чёрная кошка тащит в зубах белого голубя...

-  
Сервильность, видите ли, нынешней литэлиты!.. А письма Пушкина Бенкендорфу!.. «Милостивый государь Александр Христофорович! С чувством глубочайшей благодарности получил я письмо Вашего превосходительства, уведомляющее меня о всемилостивейшем отзыве Его Величества касательно моей драматической поэмы... С чувством глубочайшего почтения, благодарности и преданности честь имею быть Вашего превосходительства всепокорнейший слуга...»  
(3 января 1827).

-  
Нина Воронель: «так и верчусь между вечным и срочным». Юнг — каменщик, Фрейд — вытёсыватель вытеснения. Фрейдо-сизифов труд. Не путать божий дар с яичниками!..

\*  
Моя «БВР» — это Израиль из «альтернативной истории» — жанр «если бы»... Если бы в 1952 г. тов. Сталин, желавший выселить всех своих евреев на Дальний Восток, обмишурился бы (был болен уже) и по аналогии с Ближней Дачей выселил всех на Ближний Восток.

-  
С. Лем в статье «Шум в литературе» писал, что когда, скажем, стих без знаков препинания, то значительно возрастает «время экспозиции», в течение которого на сознание действуют компоненты текста. Попросту — чтение замедляется, напрягаются глаза и извилины.

-  
Вбрось в себя текст, как рюмку — пропусти!

# ИЗРАИЛЬСКАЯ ЛИТЕРАТУРА НА ИВРИТЕ СЕГОДНЯ

## «Яффо по кайфу...»

Более 40 лет назад вышла в свет сразу ставшая «культовой» книга тель-авивского прозаика Менахема Тальми "Яффские картинки". Первый том трилогии был опубликован в 1979 г., через год в Израиле с успехом прошел одноименный телевизионный сериал. В 1981 г. увидел свет второй том "Картинок" с подзаголовком "По второму кругу", также ставший бестселлером. Третий том появился в 1983 г. и назывался "Яффо по кайфу. По третьему кругу".

В феврале 2019 года издательство «Меркур» (Тель-Авив) опубликовало том избранных рассказов из трилогии М. Тальми на русском языке под названием «Яффские рассказы» (пер. с иврита А. Крюков); в книге воспроизведены иллюстрации из ивритского оригинала, которые для этого издания создал известный израильский художник-карикатурист Шмуэль Кац. В марте того же года в РКЦ в Тель-Авиве состоялась презентация «Яффских рассказов», в которой приняли участие создатели ивритского и русского вариантов книги: автор Менахем Тальми, художник Шмуэль Кац, издатель Рина Жак и переводчик Александр Крюков.

Публикуем два рассказа из этого сборника.

**Менахем Тальми**

## «Сами поднимает всё»

Сами поднимает всё, но это не то, о чем вы подумали<sup>1</sup>. «Сами поднимает всё» – это название фирмы погрузочно-разгрузочных работ. Два больших автокрана - последнее слово гидравлики. Что такое гидравлика? Гидравлика – это когда усталый человек нажимает на маленькую кнопку, а шестеренки делают за него всю работу. Сами со своей гидравликой поднимает всё, получает заказы по всему Израилю и выполняет их с полной гарантией. Но когда-то Сами действительно «поднимал» всех подряд именно в том

---

<sup>1</sup> Ивритский глагол «ле-харим», основное значение которого «поднимать», в своем сленговом, несколько устаревшем сегодня варианте означал «трахать», «заниматься сексом».

смысле, что вы подумали вначале. Как же сходили по нему с ума девчонки в Яффо! Но с того дня, как Сами женился на дочери Абрама Букобзы, все «подъёмы» на стороне закончились.

У Букобзы самая большая фирма погрузочно-разгрузочных работ в Яффо. А ещё у него один глаз стеклянный. На первый взгляд оба его глаза одного цвета, размера и формы. Как же определить, где настоящий, а где искусственный? Никакой проблемы: настоящий глаз всегда довольный, смеётся, словно младенец по утрам. Стеклянный же глаз всегда печальный, смотрит на вас, словно судья окружного суда.

Букобза никогда не повышает голоса. Когда он на вас сердится, он просто немного прикрывает свой настоящий глаз, и тогда обо всем говорит его стеклянный глаз. Если же вы симпатичны Абраму, он прикрывает стеклянный глаз, смотрит на вас своим настоящим, и вы сразу понимаете, что нравитесь собеседнику.

Ещё до того, как Сами пришел к Абраму обговаривать условия женитьбы на его дочери Дворе, Букобзе уже надули в уши:

- Смотри, Абрам, этот красавчик Сами, что ходит с твоей дочкой, вообще-то парень классный, всем нравится. Однако есть у него слабинка: уж очень он охоч до баб, ни одну не пропустит, чтоб не «поднять».

- Не берите себе в голову, - отвечает доброхотам Абрам, - у меня он будет поднимать только грузы.

По прошествии недели после разговора с Сами об условиях женитьбы и за неделю до помолвки Букобза говорит дочери:

- Передай своему Сами, чтобы пришёл завтра после обеда в кафе Грека. Мне нужно перекинуться с ним словечком.

И вот двое мужчин встречаются за столиком в тихом уголке кафе. Им приносят несколько банок «Амстела» из холодильника и тарелку с орешками.

Будущие родственники закуривают, и Букобза наводит на Сами сразу оба свои глаза – смеющийся и печальный:

- Послушай, голубь, с момента, что ты женишься на моей дочери, ты заканчиваешь все свои походы на сторону, то есть закрываешь все счета в других банках и трудишься только на один внутренний счёт – у себя дома.

- Да какие же у меня другие счета? – изображает Сами оскорблённую невинность.

- Хочешь, чтобы я тебе сказал? – спрашивает Букобза и начинает потихоньку прикрывать свой смеющийся глаз.

- Это всё злые языки, - продолжает Сами. – Вы ведь знаете, какой тут народ: из сардинки на два грамма делают локуса на три кило. То, что вам напели про меня, это на девяносто процентов росказни.

- Ладно, дружок, - говорит Абрам и немного приоткрывает смеющийся глаз. - Допустим, девяносто процентов – росказни, но и десять процентов - это немало.

- Наговаривают на меня, папаша! – продолжает Сами оскорбляться.

- Я тебе пока не «папаша», - смеющийся глаз опять начинает закрываться, и Букобза вперивает в парня свой стеклянный глаз. – Свадьбы-то ещё не было, и нам предстоит до этого решить несколько проблем. Я ведь даю вам с Дворой квартиру, так?

- Так мы договорились ещё неделю назад, - настораживается Сами.

- Так вот, забудь про эту вертихвостку, жену подрядчика из Бат-Яма. – На Сами смотрят в упор сразу оба глаза Букобзы, смеющийся и печальный. – Полную обстановку для квартиры я обещал вам, так?

- Так вы говорили, - подтверждает будущий зять.

- Говорил, - продолжает Абрам, - и вы получите. Но ты прекращаешь играть в карты с женой столяра, той, у которой сиськи того и гляди выскочат наружу.

- Да мы же с ней не вдвоём играем, ведь всегда есть ещё двое.

- Смотри, душа моя, - чуть прикрывает Букобза стеклянный глаз, - я столько маслин съел в своей жизни, что мне теперь козье дерьмо не подсунешь. В карты можно играть на столе, на полу, ну, на кровати, когда стола нет в комнате. Но что это за карты, в которые играют в темноте, да ещё под одеялом? А ещё я обещал вам стиральную машину и двухдверный холодильник, так?

- Точно так.

- Тогда завязывай и с дочкой «болгарина» из магазина электротоваров. Вы с Дворой и так получите холодильник и стиральную машину с гарантией на пять лет, а потом я оплачу её ещё раз. Я также обещал, что пока вы не устроитесь в новой квартире, будете обедать у нас. Мать Дворы готовит неплохо, а?

- Пальчики оближешь, - проглотил слюну Сами. – Бараньи котлетки с гарниром из фасоли и бамии...

- А домашние блинчики? – увлекается и сам Абрам, а смеющийся глаз начинает закатываться.

- Сказка, - мечтательно произносит жених.

- А синие<sup>1</sup> в тхине, посыпанные обжаренными орешками?

- Язык проглотишь, - восхищенно соглашается Сами.

- Тогда забудь про ресторан рядом с улицей Кишон, «Босфор», или как там его.

- Что, и разок нельзя в ресторан сходить? – пытается сопротивляться Сами.

- Вот что, Сами, - Букобза закрывает смеющийся глаз, - кончай мне тут прикидываться. Ты знаешь, что я имею в виду не сам ресторан, а его хозяйку. Речь идёт не о том мясе, что она жарит на углях, а о тех филейных частях, которые предлагает тебе после закрытия ресторана. Тебе придётся, голубь, привыкнуть питаться дома, чтобы не испортить желудок на стороне. Кроме того, ты перестанешь быть наёмным рабочим. Быть наёмным в этой стране – последнее дело. Тебя душат налогами, каждый месяц без зазрения совести что-то высчитывают из зарплаты. После свадьбы мы купим тебе грузовик с подъёмной стрелой, полная гидравлика. Зарегистрируем на твоё имя фирму с каким-нибудь громким названием, например, «Сами поднимает всё». От заказчиков отбоя не будет.

- Большое спасибо, папаша, - говорит Сами, - я и не надеялся, что вы дадите столько.

- Чтоб вы с Дворой были мне здоровы, - говорит Букобза и снова открывает свой смеющийся глаз. - Но запомни, что мы с тобой сейчас решили: отныне Сами будет поднимать только грузы, и никаких «подъёмов» на стороне. Если даёшь слово, ударим по рукам.

- Честью мамы клянусь, благословенна её память, - даёт слово Сами.

- Какой мамы, парень? – Абрам вдруг закрывает смеющийся глаз. – У тебя по жизни были две матери: первая, родная, ушла в лучший мир, бедняжка. А вторую ты любил, как любят соринку в глазу. Так честью какой из них ты клянёшься?

- Послушайте, папаша...

- Я тебе пока не «папаша». Так сможешь меня называть, когда дашь слово.

---

<sup>1</sup> Популярное блюдо ближневосточной кухни: баклажаны с мясным фаршем, обжаренным с пряными травами, политые тхиной и посыпанные кедровыми орешками.

- Господин Букобза, при всем уважении к вам, я спрошу: вы тоже давали такое слово перед тем, как женились на матери Дворы?

- Такое слово я не давал, - отвечает Абрам, - но отдал нечто большее - свой глаз.

- Свой глаз?

- Да, дружок, глаз. Теперь, когда ты уже почти член нашей семьи, могу тебе рассказать, как я расстался с глазом. Может, это тебя чему-нибудь научит.

Мы ещё жили в Хайфе, и я работал грузчиком в порту. Никто тогда не звал меня «господин Букобза». «Самсон-богатырь» звали меня. Спроси при случае старых грузчиков в порту, каков был Букобза. Летом, когда я не носил рубашку, люди приходили посмотреть на мои мускулы. На месте этой лысины были кудри, как у царя Давида. А уж прибор у меня был такой, извини, что говорю с тобой об этом так прямо, прибор у меня был такой, что не посрамил бы и царя Соломона, который был большим докой в этом деле, если ты, конечно, помнишь уроки истории в школе. Спроси как-нибудь старожилы в Хайфе, они тебе расскажут, как девчонки вешались на Букобзу, готовые на всё. Но я женился на будущей матери Дворы, и всё было прекрасно. Однако ты ведь сам знаешь, что такое молодой мужчина: кровь у него бурлит, а голова работает не очень быстро. Ладно, расскажу всё, как было...

Возле порта был ресторанчик, в который после работы мы заходили по дороге домой пропустить рюмочку. Была там одна официантка-«венгерка», не женщина, а мечта! Мы её звали «Перчик сатаны». Ну вот, и я с ней, ты понимаешь, тут и там, бывало, танцевал без музыки... Ладно, прошла пара месяцев, как я женился, встречает этот «Перчик» меня как-то и говорит: «Ну, что же ты, красавчик, бегаешь от меня, у тебя что, корень засох? Не нравлюсь я тебе больше?» Я ей отвечаю: «Так и так, красотка, я теперь женатый человек, запрягли жеребчика в семейную повозку». Она говорит: «Знаю, но разве не хочется тебе иногда сбросить узду и порезвиться на воле, как прежде?»

Ну, что тут скажешь, я ведь как раз был твоего возраста. А какому молодому мужу не хочется порезвиться без уздечки? Я и начал к ней опять захакивать, не слишком часто, а так, при случае. И вот однажды выхожу я от неё, и кто же меня поджидает у подъезда? Не дай Бог тебе таких сюрпризов в жизни: мой тесть, его сын и муж старшей сестры моей жены. Давай, говорят они мне, зайдём во



двор, чтобы не шуметь на улице. Заходим во двор, их – трое, я – один. Было это лет тридцать назад, про мускулы мои я тебе рассказывал, но и сегодня, чтоб ты знал, если я даю плюху, это значит, три-четыре зуба вылетают, минимум. Однако и тесть мой был мужчина о-го-го! - не пальцем деланный. Свояк так вообще чемпион Хайфы по боксу в полутяжелом весе, два раза на первенстве страны кубок брал. Ну, а брат жены – просто здоровый парень. Итак, я один против троих, да ещё половину сил оставил только что у «Перчика». Такой расклад...

Ладно, слово за слово – понеслось. Короче, даже с половиной оставшихся у меня витаминов через пять минут уложил я троих моих родственников за мусорными баками. Боксёру сломал нос и глубоко рассадил лоб. У брата жены сломана правая рука и три пальца на левой. Тесть оставил на поле боя пять зубов, получил лёгкое сотрясение мозга и отрубился на пятнадцать минут. Мои потери - левый глаз...

Первым поднялся из-за баков брат жены и говорит: «Ладно, мужики, всё между нами, дело-то семейное, подождите, я пошёл за такси».

Погрузили мы папашу в машину и покатали в «Рамбам». Там их направили в травматологию, а меня - в глазное отделение. Они все выписались через два-три дня, я же провалялся на койке полторы недели. Через пять дней эти трое заявляются ко мне в палату с корзиной еды и напитками – мириться. Тесть говорит: «Абрам, сынок, как только ты выходишь отсюда, я покупаю тебе самый красивый и самый дорогой стеклянный глаз». А я говорю: «Папаша, а вы отсюда прямым ходом едете к доктору Розенцвейгу на Кармель, и пусть он вставит вам пять новых зубов, если хотите - золотых. Не беспокойтесь о деньгах - всё за мой счет».

Вот так дела решаются в семье... Девчонки – это здорово, но теперь сам скажи мне, молодой человек, есть ли среди них такая, которая стоит твоего глаза? Ладно... Если ты понял мораль этого рассказа, то можем назначить день свадьбы.

Букобза закончил свой рассказ, медленно закрыл свой настоящий глаз и навел на Сами стеклянный...

...Свадьбу справили роскошную. Сами получил от тестя квартиру с мебелью и всё, что вообще там должно быть. Букобза также купил зятю грузовик с гидравлической подъемной стрелой и открыл ему фирму «Сами поднимает всё»...

Сами работал – не жалел себя, заказов много, и уже через полгода у него было достаточно денег, чтобы купить второй грузовик с подъёмником – последнее слово в гидравлике. Дела у него идут отлично, фирма процветает. Иногда, как любому женатому мужчине, ему хочется рвануть «без уздечки». Однако в последнюю минуту он вспоминает стеклянный глаз своего тестя и остывает. Да какая бы она ни была, говорит он себе, не стоит это родного глаза.

## Новая мама Хазуки

Три месяца вlepил его честь судья Якову Хазуке. Девяносто дней. Нужно вычесть из них семь дней, что парень отсидел, пока шло предварительное следствие, и вы сами подсчитаете, сколько ему осталось. А что такое сегодня девяносто дней, когда немало доблестных сынов Яффо тянут по пять, а то и по десять лет?! Не говоря уже о двоих-троих, которых упрятали за решетку пожизненно. Поэтому три месяца – чепуха, так, пена на пиве.

Так что, когда его честь судья провозгласил: «Обвиняемый Яков Бен Ханука Хазука приговаривается к отбыванию трёх месяцев в местах заключения», все в зале облегченно выдохнули. А когда судья вышел, и Хазуку повели к «воронку», все окружили парня, стали дружески хлопать его по спине и поздравлять: «Клёво, братан! Ты легко отделался. Классный расклад, кореш, всегда бы нам так фартило».

Вот и Большой Салмон сказал: «В масть получилось, а, Яков? Расслабься, три месяца – это же, что комариный писк, и не заметишь, как пройдут. Вспомни Сами Бурекаса, ему ведь выписали полных пятнадцать лет, и даже с амнистией придется десятку мотать».

Ну, между нами, кто огорчается из-за каких-то трёх месяцев? И тем более не Хазука, который уже имеет несколько ходок на зону, да не таких коротких, а подлиннее. Последний раз он сидел два года в тюрьме Дамун<sup>1</sup>.

Да-а, Дамун, Дамун... Там пейзаж из окна, как на коробке швейцарского шоколада. Но какой от этого кайф, если ты

---

<sup>1</sup> Тюрьма на горе Кармель, была создана в 1953 г. в бывших конюшнях и складах табака. Известна плохими условиями содержания заключённых.

смотришь на него сквозь решетку? Через два-три дня уже все краски меркнут...

Вы говорите, что три месяца - это немного, а ведь иногда за три месяца такое может произойти!

Вот возьмите Хазуку. Его привезли отбывать срок в тюрьму Рамлы за два дня до Рош ха-шана. Статус у парня – наполовину сирота. Дело в том, что его мать - да будет её память благословенна! - отдала Богу душу, когда сынок сидел ещё в Дамуне. Ну вот, только разместился под Рош ха-шана в тюрьме Рамлы, как на Суккот у него уже объявилась новая мама! Может, кто-нибудь бы и удивился, но только не Яков Хазука.

- Смотрите, - рассказывает он братанам в камере после того, как узнал радостную новость, что его отец-вдовец, Ханука Хазука, снова женился, - у моего папаши есть странная болезнь: не может заснуть в постели один. После того, как умерла его первая жена, он не мог сомкнуть глаза четыре месяца. Лежал на спине – ему грезились ужасы, поворачивался на правый бок – чёрт смеялся ему прямо в лицо, ложился на левый – царица ночи Лилит напевала ему в ухо неприличные песни. На живот он лечь не мог, потому что... как вам объяснить, чтобы не повредить... ну, вы, наверное, уже сами поняли что.

После того, как умерла его вторая жена, а это уже было здесь, в Израиле, он не сомкнул глаз целый месяц. Какие бы лекарства ему ни приносили из «купат холим» – ничего не помогало. Мужик не мог заснуть ни на минуту. Тогда его отвезли к лучшему врачу в Тель-Авиве. Тот говорит родственникам: «Оставьте вы его с вашими лекарствами, ему нужна женщина. У человека такая особенность – не может заснуть один в постели». Тогда его познакомили с моей будущей матерью, и родился я. Ну вот, а теперь, когда она умерла, у него вновь началась бессонница. Что же удивительного в том, что он опять сразу женился. Это ведь вопрос здоровья, разве нет?

Где-то за трое суток до дня свиданий Яков получает весточку от отца: «Я и твоя мама приедем навестить тебя в пятницу». Товарищи по камере говорят Хазуке: «Ты давай, парень, побрейся, причешись, чтобы твоя новая мамаша видела, что сынок у неё аккуратный».

В день посещений, когда появилась новая мама Хазуки, у всех глаза на лоб полезли. Отчего? А вот от чего: входит фигуристая тёлка – всё при ней, просто штучный экземпляр, в натуре. Не дашь и двадцати пяти лет. Глаза –

словно крупные миндалины, экспорт из Турции. Она пришла в тесных джинсах, на самом главном месте – синяя «молния». Сверху – белая футболка с надписью «Oxford University» на фасадной части. Эта футболка мала ей минимум на два размера, что классно подчеркивает форму бюста. Одним словом – есть на что посмотреть...

Даже сам Яков, который уже привык ко всяким сюрпризам со стороны своего немолодого папаши, когда увидел этот новый экземпляр, на время забыл дышать, а потом воскликнул:

- Папа! Что это?

- Это твоя новая мама, - ответил господин Ханука Хазука, которому стало немного неловко за своего сына, который отреагировал на появление мачехи таким не совсем вежливым образом.

- Ай, браво, папа, - продолжал восхищённо Яков, - честное слово – молодец. В твои годы работать на таком станке...

- Что это ты несёшь в присутствии своей мамы?! – принялся отчитывать сынка старший Хазука. – Лучше познакомьтесь, как следует.

Начали знакомиться... Яков едва дышал – такие формы в тюряге можно увидеть только в самом горячем сне, да и на воле подобные образцы не расхаживают по улицам просто так. Даже надзиратели, стоявшие в помещении для свиданий по обе стороны решетки, вспотели в своих фуражках, хотя было-то совсем не жарко. Дело в том, что уж очень они напрягались, уставившись на фасадную часть госпожи Хазука – так им хотелось прочесть, что там написано по-иностранному...

Когда объявили, что свидание окончено, старший Хазука говорит младшему:

- Ну, будь воспитанным человеком, поцелуй маму на прощанье.

Почему бы и нет. Яков всегда был хорошим ребёнком, если папа говорит – нужно слушаться, и парень чуть просунул лицо в решетку. «Запрещено!» – сразу закричал охранник, однако молодая мама успела-таки поцеловать сынка. Да как! Французским поцелуем – весь язык внутри и при этом совершает два оборота – один направо, другой – налево... Пока охранник успел подскочить к ним, у парня закатились глаза, и он стал задыхаться...

Когда к нему вернулся дар речи, он только и проговорил:

- Слушай, папа, теперь, когда будешь навещать меня, обязательно приходи с мамой, ладно?

Целый день после посещения родителей Яков не ел и не пил. «Боюсь испортить вкус маминого языка», - объяснил он товарищам.

- Да-а-а, - восхищённо протянул Нисим Алькабино, что мотает десятку за два ограбления. – Клянусь нашими праведниками, что мама у тебя – просто секс-бомба. При такой маме я бы хотел, чтобы меня до пятидесяти лет кормили грудью.

- Ми-ни-мум! – прохрипел Йосеф Азруни, который тянет семь лет за развратные действия в отношении несовершеннолетней и использование доходов работающей девушки.

Следующего дня посещения все ждали с понятным нетерпением – уж очень хотелось вновь увидеть и получше рассмотреть новую маму Хазуки. Она появилась в установленное время, всё как в первый раз – тесные джинсы, белая футболка, подчёркивающая пышные формы. Надзиратели чуть глаза не вывихнули, пытаясь прочитать надпись на её майке, и опять вспотели от напряжения.

- Мамочка! – издал младший Хазука радостный крик.

- Вот и наш мальчик, - произнесла мачеха, приближаясь с мужем к разделительной решетке.

- Ну, поприветствуй же маму, - напомнил сыну господин Ханука Хазука. - Всего месяц ты здесь, и уже забыл о хороших манерах?

Яков – послушный ребёнок. Приблизил лицо к решётке, и мама не теряет времени – уже тут как тут. «Запрещено!» – кричит надзиратель, но куда там... Мачеха вкатила сынку такой винтовой поцелуйчик, что у того по спине пошли крупные мурашки.

- Вот это да... - прочувствованно сказала мужу стоявшая рядом у решётки жена Джино-косого. – Ты посмотри, какая горячая жена у твоего товарища.

- Да не жена это, - смеется Джино-косой, что мотает три года за соучастие в убийстве и оказание давления на свидетелей. – Это его мама...

- Рассказывай кому другому, - не верит женщина. – Мама так ребенка не целует, даже в Париже.

- Ну, - посмеивается Джино, - всё зависит от того, насколько она его любит. Так или иначе, но эта красotka всего лишь полтора месяца, как стала его мамой...

Ночью, когда все заключенные лежали на своих койках, свет погашен, а сны в самом разгаре, из-под одеяла раздавался голос Хазуки: «Мама!.. Я хочу к моей маме...»

- Страдает мальчик, тоскует, - сочувствовал старый Розенцвейг, который пять лет назад задушил свою жену.

- Да что ты скулишь, фраер! – кричал на Хазуку Яков Джамуси, который мотает шесть лет за покушение на убийство, кражу автомобиля, подделку чеков, угрозы свидетелям, избивание полицейского и мошенничество. – Что ты разнюнился, дефективный! Ведь через каких-нибудь пару недель ты уже выйдешь на волю.

Однако Хазука под своим одеялом ничего не слышит, да ничего и не хочет слышать. Он хочет к своей новой маме и всё тут.

Большой Салмон оказался прав: три месяца пролетели, как писк комара. Срок истёк, и родители приехали забрать своего мальчика домой. Закончил Яков свои дела в канцелярии, выходит из дверей и слышит: «Вот он – мой сынок!» Он оглядывается и с криком «Мамочка!» бросается в её раскрытые объятия... Так они стоят минут пять...

- Слава Владыке Вселенной, истинному Богу! - повторяет не сводящий с них счастливого взгляда старший Хазука. – Вот как ребёнок любит свою маму.

А часовые наблюдают со своих вышек за этой сценой, наблюдают и потеют.

Семейство усаживается в такси и едет домой, в Яффо. Ночью, как только заснул старший Хазука, молодая мачеха выскальзывает из супружеской постели и идёт в соседнюю комнату посмотреть – как там ребёнок, не сползло ли с него во сне одеяло, не беспокоит ли его страшный сон, ведь только сегодня мальчик вернулся из казённого дома, где натерпелся без мамы...

Всё шло прекрасно, все были довольны: старший Хазука – тем, до чего же дружная у него семья, молодая мачеха – своим пасынком, которого приходила проводить каждую ночь. Что тут скажешь? – мама есть мама. А сынок? Да разве можно быть недовольным мамой, которая так заботится о тебе?

В Яффо также все были довольны – подобная история приключается не каждый день, а по ночам яффским мужикам иногда снилось, что и у них есть такая мачеха.

- Эх, - бывало, говорил Давид-«румын», - вот бы и мне судьба подбросила такую маму.

Однако судьба подбрасывает не только подарки. Однажды утром Яффо облетела сенсационная весть: мачеху младшего Хазуки задержали за ограбление бензоколонки на Прибрежном шоссе. Поначалу все говорили: «Чепуха, не может быть», однако постепенно её имя стало мелькать в газетах. Там ещё писали, что у женщины был напарник, но тому удалось вовремя скрыться, а она держит рот на замке. Полиция-то может, и не знала, кто напарник, а вот в Яффо догадывались все.

И был суд, и его честь судья провозгласил: «Приговариваю обвиняемую к шести годам тюремного заключения, из которых два – условно».

Вздыхнул господин Ханука Хазука и говорит: «Что у меня за судьба – опять не смогу заснуть ночью. Надо что-то придумать на ближайшие четыре года, а это непросто...».

Якова на суде не было, он заблаговременно рванул куда-то за границу – на всякий случай. Однако как только суд завершился, младший Хазука тихонько вернулся в Израиль.

Итак, его мачеха начала отбывать свой срок в женской тюрьме. По прошествии нескольких месяцев она получила разрешение на первое свидание. Перед днём посещения товарки по камере говорят ей: «Ты, подруга, давай, причешись, подкрась лицо, чтобы твой сынок увидел, что мама держит фасон».

Молодая мачеха красиво причесалась, подкрасилась, вот только жаль, что в тюрьме нельзя надеть тесные джинсы с молнией на главном месте и обтягивающую футболку с надписью «Oxford University».

Как только посетителей впустили в комнату для свиданий, раздался крик: «Мамочка!» - это младший Хазука бросился к решётке, а за ним едва поспевал старший.

- Ну, поцелуй же маму, - говорит старший Хазука младшему, - ты что, забыл правила вежливости?

Яков приблизил лицо к решётке, и молодая мачеха, которая уже ждала там, вкатила сынку такой продолжительный французский поцелуй – на две минуты минимум, - что наблюдавшие за встречей надзирательницы начали потеть. Ничего удивительного: день был очень жаркий, а в тюрьме ещё не перешли на летнюю форму одежды.

Вернувшись после свидания в камеру, госпожа Хазука села на свою койку и заплакала. Окружили её подруги и начали утешать:

- Смотри, у тебя всего-то четыре года, потерпишь, зато потом вернешься к своей семье.

- Да не о себе я плачу, - отвечает она товаркам. – Я плачу о своем сынке, бедняжка он – четыре года опять будет сиротой.

*Перевёл с иврита Александр Крюков*



# АРФА И ЛИРА

Произведения современных азербайджанских  
авторов

Афаг Масуд

## При последнем издыхании

...Сквозь дверной проём спальни виднелись его одеяло с шёлковым чехлом, стоявший на низком табурете гранёный стакан, напоминавший маленький, помутневший от затхлой воды аквариум, и потонувший в нем мёртвой рыбкой, давно уже ненадёванный зубной протез...

По шуршанию моего плаща в прихожей или, может, по запаху моих духов он опять догадался, что пришла я. Об этом говорили слабые движения его истончённых за последние месяцы ног, едва различимых под одеялом, плавающих там время от времени, как в подводной невесомости...

И в прошлый раз он точно так же отреагировал на мой приход - закрыл глаза, не поднимая головы с подушки, не повернувшись, как в былые времена, в сторону двери.

И в прошлый раз, когда я, не желая потревожить его, на цыпочках вошла в комнату, он так же притворился умирающим. Упорно делая вид, что состояние его всё ухудшается, он за весь день ни разу не разомкнул век, пока я, устав от долгого сидения, не отправилась в совершенном изнеможении домой. Видением собственной смерти он будто хотел припугнуть меня и тем самым отвлечь от себя и своего дома.

...На этот раз в комнате, кроме него, были ещё двое - по всей вероятности, приехавшие из дальнего села родственники: мужчина с коротко стриженной головой с проседью, похожий на ёжика, и розовощёкий сельский подросток. Увидев меня, мужчина доверительно, тоном старого знакомого сказал:

- Хорошо, что пришла. Он совсем уже плох...

...Состояние старика и в самом деле казалось

критическим. Пожелтевший нос его повис крючком, глаза потонули в тёмных впадинах. Он словно бы и не дышал вовсе. В полуоткрытом рту проглядывалось иссохшее, поблекшее небо...

- До завтра дотянет... - сказал мужчина еле слышно, словно сам себе, и, отвернувшись, стал смотреть в окно.

Подойдя к старику, я пристально вгляделась в его лицо. Похоже, он действительно умирал. В судорожно коротких вздохах его слышались доносящиеся откуда-то издали странные ноющие звуки...

- А Саида где? - спросила я.

- У соседей. Пошла звонить врачу. С утра телефон отключили. Так всегда бывает: один к одному, - со скрытым превосходством сказал родственник и почему-то взглянул на меня.

...Старик и в прошлый раз был почти в таком же состоянии, но говорить - говорил. Речь его была похожа на жаркий бред: заполошно, на одном дыхании он выстраивал в ряд бессвязные, бессмысленные фразы; порой, словно утомлённый продолжительной агонией, умолкал на полуслове, мутным взглядом обводил комнату и, увидев меня, всякий раз чуть слышно, где-то внутри, всхлипывал, терял сознание, словно нарочно окунаясь в очередные кошмары...

Иногда во время этих бредовых откровений мы превращались в очевидцев его переходов в некие иные измерения: на наших глазах, не сходя с постели, он как бы переносился в известные только ему места; там - это мы определяли по его движениям и мимике - он занимался какими-то непонятными, не присущими его натуре делами: заключением с кем-то неких тайных договоров, напряжённым наблюдением за жизненно важными для него процессами...

В такие моменты в последнее время ни мне, ни Саиде никак не удавалось правильно оценить смысл его поведения: невозможно было понять, в себе ли он, или притворяется, стремясь таким образом отстранить меня от себя. Ведь, как говорила Саида, в подобное состояние он впадал только при мне, а сразу же после моего ухода ему становилось лучше. Он как ни в чем не бывало, облакачивался на подушку и послушно съедал кашку на ужин.

...Кризисы следовали один за другим. Всё чаще и чаще пульс его слабел, а временами почти не прощупывался,

дыхание надолго пресекалось, и воздух еле слышно булькал глубоко в горле. Каждая очередная бригада «скорой помощи», тщательно обследовав его, выносила один и тот же вердикт.

- Зря мучаетесь с ним, - не поднимая глаз, говорили они, - он уже не жилец.

И говорили они это с такой уверенной безнадёжностью, что становилось ясно: он и в самом деле находится при последнем издыхании. Мы испытывали настоящее потрясение, видя, как обессиленная старческая рука его в моменты этого самого «последнего издыхания» тянется к запястью докторши, присевшей к нему на кровать с аппаратом для измерения давления. Как пальцы, словно лапки скорпиона, обвивают белое запястье пышной молодой женщины, впиваясь в неё с неутолимой жадностью, и начинают судорожно сокращаться, как бы пожирая её плоть... Ни я, ни Саида не сомневались в том, что гнусные отпечатки этой патологической тяги к женщинам мы обнаружим и после его смерти в помертвевших его зрачках, когда он всё-таки испустит дух.

Бывало, мы наблюдали, как этот полумёртвый старик, словно уставившись в никуда, лежит с бездумным взглядом, а его безжизненные руки, будто высохшие ветки, брошены на впалый живот, - и вдруг с отвращением понимали, что угасающие зрачки его обращены не куда-нибудь, а именно на крутые бёдра соседки, по доброте душевной зашедшей навестить его. Именно тогда, по молниеносному движению его безжизненных зрачков, незаметно для нас переводимых с бёдер женщины на массивную ножку стола, мы убеждались в том, что внутри его полумёртвого тела осталось нечто чрезвычайно живое...

Из коридора послышались шаги. В комнату вошла Саида.

- Не могла дозвониться, - сказала она с порога. Потом, обращаясь ко мне, будто я нахожусь тут со вчерашнего дня, спросила:

- Может, на машине поехать?

- Куда? - отозвалась я.

- В «скорую», - ответила Саида и, кивнув в сторону неподвижного отца, добавила:

- Видишь, в каком он опять состоянии?

Лицо её поблекло. Нос истончился, вытянулся почти так же, как и у старика, глаза глубоко запали.

- Зачем ему доктор, доченька? - заговорил родственник. - Не жилец он. Но ты не беспокойся, Ясин<sup>1</sup> я знаю. Подожду, никуда отсюда не уйду, не бойся. Кто у этого несчастного остался? Единственным сыном был у отца и матери, да и та ушла из этого мира, когда он ещё ребенком был. Вырос, бедняга, по милости мачехи. Я - его единственный двоюродный брат, вот и приехал. Почитаю молитву, предам его земле и вернусь домой.

После этих его слов пол в комнате будто задрожал... Или нам это почудилось? Что толчком к содроганию послужил невообразимо истошный вопль старика, мы поняли чуть позже, когда он, со странным хрипом, отдалённо напоминающим тарахтение неисправного мотора, стал прочищать горло, запершившее от непосильного для него вопля.

Старик ворочался в постели, хотя мгновением ранее лежал в кровати неподвижно в позе каменной статуи. С воплем старика исчезло с лица родственника выражение довольства.

- Ещё и не то увидим... - сдавленным голосом пробормотала Саида. Очевидно, и до неё дошло, что старик с самого начала слышал всё, о чём говорилось в комнате.

Подойдя к кровати, родственник вынул из кармана осколок зеркала, прихваченный, видимо, с собой из села, и поднёс его к губам старика. Потом, мимолётно взглянув на поверхность стекла, обтёр его и со скорбным достоинством вернул на прежнее место.

- Совсем мало осталось, - со знанием дела сказал он и почему-то стал почёсывать руки.

Саида будто не решалась подойти к старику; она настороженно присела рядышком и уставилась на отца расширенными от страха глазами. По её растерянности, бессмысленным движениям зрачков, слабому голосу, - можно было судить о её состоянии: паническом страхе, переживаемом бедняжкой в глубине души. Глаза её расширились, никак не возвращаясь в прежнее положение, - со времени нашей последней встречи, когда старик, будучи в сознании, полуоблокотившись на подушку, прихлёбывал мелкими глотками чай, и в ответ на мой вопрос, внезапно поперхнувшись, опрокинул чай на себя, посинел и зашелся в долгом удушливом кашле...

---

<sup>1</sup> Ясин — заупокойная молитва.

Тогда старик задохнулся от сильных приступов кашля, от которого, в конце концов, и умер. Дыхание его оборвалось, глаза покатались куда-то под лоб, а спустя несколько минут голова его, дёрнувшись пару раз, безжизненно упала на подушку и замерла.

А в первый же раз, ещё задолго до моего вопроса, когда он ещё бодренькими шажками прохаживался по квартире, - старик приветливо поздоровался со мной, подробно и участливо расспрашивая о самочувствии каждого из моих домочадцев; однако, выслушав просьбу Саиды о моём намерении написать документальный роман о его жизни, почувствовал себя плохо. Внезапно побледнел, на лице возникло выражение безысходного беспокойства, подобное страху смерти. Медленно встав со стула, так же медленно, настороженно-опасливыми шагами, он ушёл из гостиной и заперся в ванной комнате, не решаясь выйти оттуда.

- Ты когда-нибудь присутствовала при последнем издыхании? - почти шёпотом, чтобы не услышал старик, спросила я.

Саида, глядя в сторону, виновато покачала головой. Потом мы стали вспоминать, как вела себя при последнем издыхании покойная тётя Хадиджа, которая, упорно сопротивляясь смерти, день и ночь напролёт сидела, не шелохнувшись, на этой же самой кровати, упрямо отказываясь лечь, так как была уверена, что умрёт, как только приляжет. Вспомнилось и то, как от грохота шагов могучей тёти Хадиджи сотрясался чуть ли не весь дом, как от мощного её голоса ветром сдувало со двора ребятню, как одним ударом увесистого кулака убивала она крыс, изловленных ею в блоке... Вспомнили жалобный взгляд её на окружающих за несколько часов до смерти, как, тяжело переводя дух, тонким девичьим голосом она шептала, будто сама себе:

- Боюсь я, детка, очень боюсь...

И всё поглядывала на пол, словно искала там спасения от смерти. Вглядываясь в перекошенное от ужаса лицо тёти Хадиджи, мы обе как-то физически ощущали тогда узкий, удушающий переход в Смерть где-то совсем рядом. Это ощущение временами переходило в чувство страха, сравнимое лишь с глубинным предчувствием опасности, которую таит в себе последний, безвозвратный шаг в мрак бездны.

Тут я вспомнила и последнее издыхание своей тёти, которая, захлёбываясь, как утопающая, и синюшно

задыхаясь, при этом приветливо махала рукой каким-то стоявшим рядом со мной, невидимым нам людям...

В тот день, вероятно, мою тетю задушили, лишили её последнего дыхания самые близкие ей люди, которых она так радостно приветствовала...

Тогда я явно ощутила медленное, неотвратимое приближение к изголовью тёти родных, близких ей людей, на которых она уповала в наивной уверенности, и воочию увидела, как при последнем издыхании, вытаращив от ужаса глаза, оказалась она лицом к лицу, с глазу на глаз с ними.

\*\*\*

- Это всё твои вопросы доконали его, - пробормотала Саида чуть позже, когда мы с ней, сидя на кухне, перебирали рис для ужина.

Я виновато пожала плечами.

- А что такого я сказала?

Смертельный страх старика перед прошлым, его ужас перед возможным разоблачением каких-то грехов, лишь одному ему известных тайн, все эти судорожные попытки, пусть даже ценой собственной жизни, точнее, смерти, скрыть следы каких-то засекреченных в своё время событий - всё это для меня означало, что моё спонтанное намерение писать о нём в действительности имеет некое более глубокое и сложное основание. Ещё в детстве не раз я слышала от тёти Хадиджи, что высшее образование он получил в суровые для всех военные годы, и сразу же был направлен на руководящую работу в район, где, имея за плечами только скудный студенческий опыт, стал председательствовать в достаточно крупном колхозе. Тётя Хадиджа рассказывала, как, став в скором времени главой всего района, он самолично, по разбитым дорогам, верхом на коне объезжал колхозные угодья, недрёмно держал под контролем каждое пшеничное поле, в одиночку выискивал и сдавал военному укрывающихся от фронта дезертиров, не отказывал при этом в поддержке семьям фронтовиков, уделяя особое внимание нуждам смазливых вдовушек. И ещё о многом со всеми подробностями поведала нам покойная тётя Хадиджа. Однако уже тогда я почувствовала, как эта властная матрона, всегда предпочитавшая резать, что называется, правду в глаза, повествуя о прошлом своего мужа, всё-таки перескакивает через какие-то существенные моменты – так с неосознанной опаской люди

обычно перепрыгивают через пугающие своей бездонностью узкие горные пропасти. Порой я примечала и уловки, позволявшие ей мастерски прошмыгнуть мимо чего-то такого, о чём она не желала бы даже вспоминать.

Когда мы вернулись в комнату, родственник, примостившись в ногах старика, бормотал что-то под нос, вероятно, ясин... Подросток дремал, сидя перед выключенным телевизором.

Старик же пребывал в прежнем состоянии. Лицо его было похоже на злую физиономию одного из ужасных героев русских сказок - Кощея Бессмертного. Со стороны казалось, будто за время нашего отсутствия его лицо непропорционально уменьшилось и усохло, как усыхают на раскалённой жаровне куски рыбы, впитавшие в себя кипящее масло.

...Когда мы входили в комнату, его иссушённые костлявые пальцы легонько постукивали по впалому животу, как по клавишам пианино, словно бы подавая кому-то невразумительные знаки...

Войдя, мы сели за стол, стоявший напротив кровати. Отсюда безжизненные руки старика выглядели иначе: они напоминали иссушенных жгучим солнцем пустыни и жаждой песчаных скорпионов. Именно этих самых «скорпионов» в одну из прошлых ночей во сне, зажав в руке башмак, я пыталась уничтожить, долго преследуя их по полутёмным комнатам. Они же были неуязвимы, с умопомрачительной скоростью носились по стенам, прятались в недоступных уголках и там с торопливой вороватостью что-то жевали и пережевывали. Настигнутые и будто раздавленные башмаком на стене, чугуном утюгом на полу, эти гребнеобразные насекомые всё же ускользали из-под удара, сохраняя невредимыми свои тонкие, как лезвие бритвы, тела. А затем на невероятно шустрых ножках стремительно проносились то мимо, то надо мной...

Вообще, в последнее время мне часто стали сниться связанные со стариком странные сумеречные сны. Бывало, в этих снах с упорным постоянством он копошился в моих бумагах, в вещах, шаря по карманам, словно искал в ворохе присвоенных бумажек что-то очень важное, какой-то особый документ...

Саида принесла чай и поставила на стол.

- Рис варится, - сказала она, - скоро будет готов.

На эти слова Саиды родственник отозвался лишь после

того, как закончил молитву, придвинувшись вместе со стулом к столу и отпив глоток горячего чая.

- Что тут поделаешь?! - сказал он.

Я пила чай без варенья. Зная чётко, что и варенье впитало в себя запах плесени, постоянно витающий в комнате. Этот запах исходил и от домработницы - дальней родственницы, молодой женщины с маленькими раскосыми глазами, которая ухаживала за стариком днём, когда Саида была на работе. От этого зловония мутило и Саиду: едва переступив порог квартиры, она сразу же распахивала настежь все окна и двери, и опрыскивала комнату освежителем воздуха. Однако уже через несколько секунд бодрящий аромат дезодоранта растворялся и исчезал в тяжёлом запахе плесени... Порой, двигаясь по квартире, я ощущала налёт заплесневелости у себя на лбу, на коже лица. Во всех комнатах запах свисал откуда-то сверху, словно прозрачный тюлевый занавес, и по ходу движений, казалось, приходилось пробираться сквозь него, как сквозь трепещущие языки холодного пламени.

По словам домработницы, она несколько раз в день проветривала помещение, где обращённые к морю четырёхстворчатые окна распахивались настежь, и по всей квартире гулял свежий морской ветер, напоённый запахами свежей рыбы.

По-видимому, и домработница осознала, что у этого стойкого зловония есть свой цвет; недавно, проведя рукой по стене и с каким-то странным сожалением посмотрев на нас, она сказала:

- Когда-то эти обои были светло-жёлтыми...

\*\*\*

- Кажется, он не дышит...

Бледная Саида стояла рядом с кроватью и неотрывно смотрела на старика. Вблизи рот умирающего напоминал очертания некоего таинственного пространства - проход в древние пугающие недра мифической пещеры, подступы к которой заглохли и затерялись из-за того, что туда давно уже не ступала нога человека.

- Ещё дышит, - залпом выпив чай, мужчина поставил стакан на блюдечко и стал доедать варенье, поглядывая на «исторические папки», нагромождённые на полках книжного шкафа.

- Ах ты, мой учёный, трудолюбивый брат... - приговаривал он, словно стараясь ещё более расчувствоваться.



Груды папок, пыль с каждой из которых грузная тётя Хадиджа, взбираясь на табурет, осторожно протирала каждый день, виселись и в других комнатах. Неоднократно я была невольным свидетелем бурного гнева старика, когда обнаруживалось, что тётя Хадиджа тайком выбросила пару-другую папок, чтобы хоть немного уменьшить бумажные залежи, захламляющие всю квартиру. За подобное самоуправство старик месяцами оставлял семью без копейки, надолго прекратив всякое общение с женой; причину этого мы узнавали позже, когда папки возвращались на прежнее место и сердце старика смягчалось.

- Целыми днями, день и ночь напролёт пишет, - жаловалась с виноватым видом чуть ли не всем соседям тётя Хадиджа. - Слово поперёк скажешь – злится; на хлеб, говорит, этим зарабатываю.

Долгие годы я наблюдала процесс заполнения этих папок. Даже после выхода на пенсию старик по-прежнему просыпался рано утром, как человек, спешащий на работу. Торопливо брился, затем при полном параде - в накрахмаленной сорочке, при галстуке, - устраивался за своим письменным столом и с утра до вечера, посматривая одним глазом на мерцающий в углу экран телевизора, прислушиваясь к транзисторному приёмнику, вещавшему на столе без перерыва, с каким-то непонятным воодушевлением корпел над бумагами. Уже тогда во мне пробудился возрастающий год от года интерес к этим папкам. В сущности, именно эти папки и внушили мне идею написать о нём что-то вроде документального романа, основу которого должны были составить материалы, хранившиеся в них.

По словам Саиды, в этих папках содержался грандиозный научный труд, в котором старик осветил один из переходных этапов нашей истории. Мне же почему-то казалось, что старик собирает в папки воспоминания о своей собственной жизни. Зная его, трудно было предположить что-нибудь иное. Я чувствовала, что этот человек, хорошо знакомый мне с самого детства, живёт всем существом не дома, не в кругу семьи, а именно в этих самых папках, где свил он себе уютное гнездо, благополучно прячась там от всех и всего.

...Саида сидела, уронив голову на руки, и, кажется, спала. Родственник тоже дремал, откинувшись на спинку стула... И подросток всё ещё спал крепким сном, как спят

обычно сельские дети. То ли из-за тяжелой тишины, навалившейся на комнату, то ли от внезапного ощущения свободы среди спящих, мне вдруг показалось, что наступил тот долгожданный момент, когда я смогу прикоснуться к этим недоступным легендарным папкам. Я встала, и уже было двинулась по направлению к ним, как вдруг...

- Вот он... Он самый... Сук-кин сын!.. Держите его! Живо! Кому говорю?! - голос старика, созывающий кого-то на подмогу, прозвучал словно выстрел, разорвавший тяжёлую тишину комнаты. Спящие вскочили на ноги, я же замерла на месте.

...Выпученные глаза старика ворочались под закрытыми веками. Не открывая глаз, он гневно вперил взгляд в кого-то, видимого только ему самому.

- Началось... - сонным голосом проговорил родственник, протирая покрасневшие глаза.

- Что... началось? - и без того бледное лицо Саиды ещё больше побелело от страха.

Мужчина кивнул в сторону старика.

- Так оно и начинается, - сказал он. - Бедняга уже на пороге.

Я чуть было не поинтересовалась у него насчёт того, не работал ли он в своё время мюрдаширом<sup>1</sup> при мечети, но вовремя опомнившись, наклонилась к Саиде.

- Замучил уже своими репортажами... - шепнула ей в ухо.

Старик вздохнул ещё раз, теперь уже более глубоко. Потом веки его, напоминавшие скорлупу грецкого ореха, слегка приоткрылись, и в просвете показались пожелтевшие от ветхости зрачки. Он опять смотрел на кого-то... И, задыхаясь, продолжал ворчать:

- Я же в прошлый раз показал тебе... Мямля! Иди, позови Гафара!..

Теперь он говорил с иностранным акцентом.

Услышав имя Гафара, родственник заворочался на месте.

- Ничего себе. Гафара вспомнил... - вмиг загоревшимися глазами смотрел он то на старика, то на нас. - Двоюродного своего брата Гафара. В позапрошлом году умер. Его зовёт. Значит, дошёл, - последнюю фразу он произнёс, не отрывая глаз от старика.

- Хасай... Его тоже позови... - задыхаясь, проговорил

---

<sup>1</sup> Мюрдашир – служитель мечети, совершающий ритуальное омовение покойников.

старик. - Пусть он откроет... С этим только он справится...

- А Хасай... это кто? - взволнованно спросила я.

Не глядя в мою сторону, родственник указал рукой куда-то назад.

- Тоже из наших, - сказал он, и добавил: - И он там... На том свете.

Тут я почувствовала, как от волнения ослабли колени. Тайны, которые вот уже несколько месяцев старик из последних сил скрывал от меня, видимо, желали раскрыться сами собой.

- Ну!.. Ну-у!.. - кричал он раздражённо на кого-то, будто что-то жгло его изнутри. - Это ты так думаешь... Но от судьбы не уйдё-ё-ёшь!..

То ли от внутреннего жара, то ли словно раздавленные некой тяжестью, зрачки старика будто растворялись.

Осторожно присев на краешек кровати, Саида взяла руку отца в свои ладони.

- Доченька, ты бы там не сидела... Скончается, испугаешься, - зычным голосом сказал родственник.

Слова родственника окончательно доконали старика. Отвернувшись к стене, он застонал тонким голоском, напоминающим пронзительные звуки кеманчи<sup>1</sup>.

Вздвогнув, Саида вскочила с кровати и, пряча от присутствующих взволнованно-растерянное лицо, прошла в соседнюю комнату.

- ...Убрать этих людей отсюда! - завопил вдруг старик, лежавший лицом к стене. Потом чуть тише, деловым тоном работника охраны, усердно выгоняющего кого-то из комнаты: - А ну, проходите!.. Идите отсюда... Не толпитесь тут!..

Мы переглянулись с родственником.

- Бредит, - сказал он со знанием дела, - ещё протянет, - добавил хмуро.

- Выходит, он пока ещё не на пороге? - спросила я и почувствовала, как от волнения кружится голова.

- Ещё нет, - решительно ответил родственник и с бодрым выражением лица посмотрел сначала на меня, потом на подростка, всё ещё дремлющего перед телевизором.

Подойдя к кровати поближе, я села на табурет, склонилась над стариком и внимательно взгляделась в его лицо.

---

<sup>1</sup> Кеманча — национальный струнный инструмент.

- Кончик носа побелел, - сказала я. - За час до смерти моя мама выглядела точно так же.

На эти слова старик повернулся. Приподняв тяжёлые веки и глядя мне прямо в глаза, он вдруг прошептал странным, жалким голосом:

- Что тебе от меня нужно?..

В ужасе я отпрянула... И родственник вскочил на ноги.

- Не бойся, дочка, это в бреду, - сказал он. - Так всегда бывает перед самой смертью.

Отрешённый взгляд старика всё ещё упирался в меня. В его ничего не выражающих глазах мерцали пугающие жёлтые огоньки, вызывающие в памяти некий приглушенный волчий вой...

Я отошла от кровати. Взгляд старика застыл на том месте, где мгновением ранее стояла я, и словно бы погас. И снова над нами нависла долгая напряжённая пауза.

Таинственная игра в прятки, которую в последнее время вёл со мной старик, почему-то ещё более усиливала мой интерес и к нему самому, и к закрытым папкам, бережно сложенным друг на друга во всех комнатах, как складывают ценные упаковки денежных знаков.

Собравшись с духом, я двинулась к папкам, прикосновение к которым на долгие годы было строжайше запрещено. Взяв одну из них и вернувшись обратно, я положила папку на стол и потянула за тесёмку. Стоило мне прикоснуться к тесёмке, как папка распахнулась, и кипа бумаг, годами сдерживаемая внутри, словно мягкая колода карт, рассыпалась по столу. Это были старые рукописи, пожелтевшие от времени и исписанные чернилами неопределённого цвета.

Я прочла первую попавшуюся под руки страницу. Слова, написанные крючковатыми буквами, начинающиеся вверху страницы и постепенно сползающие к середине листа, меньше всего походили на предложения - они напоминали ломаные линии последней кардиограммы человека, умершего от острой сердечной недостаточности.

С трудом я прочла несколько предложений. Это были беспорядочные, отрывистые записи текстов, некогда звучавших в новостных программах. Большинство страниц начинались соответственно. «...Добрый вечер, дорогие телезрители...».

Быстренько сложив страницы, я перелистала их. Отрывистые, бессвязные стенографические записи, сообщающие о материалах очередного съезда КПСС, о

ходе посевной кампании, о социалистическом соревновании, о материальном положении матери девятерых детей, - выглядели на бумаге случайными, попавшими сюда откуда-то со стороны.

Я перелистала следующие страницы. В центре одной из них было написано: «О ты... краса несравненная... пленительные локоны волос твоих...». Под этой строкой были помещены написанные остроконечными буквами слова: «...завершил свой рекорд... на всём протяжении дороги, ведущей по нижним склонам горы Арафат...». За ними следовала фраза: «чтоб ты сдох...», а дальше шли опять же бессвязные слова и такие же бессмысленные предложения.

- Отстань от меня, умоляю, оставь меня в покое... Ну, чего ты хочешь? Что хочешь от меня?

Старик будто бредил... Но я-то видела ясно: он разговаривал со мной. От неожиданности у меня волосы встали дыбом. Старик не смотрел на меня. Вперив взгляд в потолок, он будто пытался вымолить прощение у Всевышнего.

- Я больше не буду... Прости мой грех... Не надо... Не трогай меня... Не трогай их...

Родственник, низко опустив голову, прижал к глазам вынутый из кармана носовой платок.

- О чём это он? - вполголоса спросила я.

- К нему прикасаются, - глубокомысленно заявил родственник.

- Кто?

- Тебе такие вещи лучше не знать. Молода ещё, - отрезал родич и мокрыми от слёз глазами стал смотреть на тёмную безлюдную улицу.

Я отошла от него, взяв из шкафа ещё несколько папок, положила их на стол, потянула за тесёмочку, - и от изумления по телу пробежала холодная дрожь. И эти папки ничем не отличались от предыдущих.

«Доброе утро, дорогие радиослушатели...» На этом предложение обрывалось, а следующее начиналось откуда-то с середины: «...По заснеженным равнинам Севастополя... истина заключалась именно в этом... почему же его не отпустили...».

- К тебе обращаюсь, к тебе, слышишь?!

Мы оба вздрогнули от крика старика, голос которого теперь походил на скрежет старой массивной двери. Глаза его были широко раскрыты. Потухшие зрачки вращались в

глазницах, как в западне, и словно бы изо всех сил старались сорваться куда-то. Старик был явно не в себе, встревоженные зрачки уставились на кого-то... Он выдавливал слова из себя, словно проталкивая их слабеющим дыханием сквозь непреодолимую узкую щель.

- Я же в прошлый раз сказал тебе... Просил, умолял, не приходи... Не приходи. Не приходи...

Пробормотав это, старик, словно прячась, отвернулся к стене и оттуда едва слышно произнёс:

- Боюсь я тебя... И в прошлый раз сказал, что боюсь; тебе ли не знать, как я боюсь?!

От ужаса мороз пробежал по телу...

\*\*\*

Ни в тот день, ни в последующие, ни я, ни Саида не смогли определить, к кому относился последний в ту ночь бред старика - ко мне или же, по утверждению родственника, к явившемуся за ним с того света какому-то почтенному посланнику.

Под утро старик как-то странно, сладко посапывая, скончался. В момент его смерти все, кроме меня, в комнате спали.

Светало... Я копошилась в груде «исторических» папок, которыми можно было бы заполнить кузов самосвала. Исследуя их, я буквально оторопела от того, что всё содержимое было похоже на продолжение бреда старика. Поразительно было то, что в этих абсолютно лишённых смысла и логической последовательности скопищах слов ощущалась своеобразная атмосфера мучительной, таинственной жизни...

В ту ночь о кончине старика я узнала совершенно случайно: подняв голову на раздавшийся где-то поблизости аккуратный щелчок открываемого или, может, закрываемого затвора, я увидела, что он умер. Лежал он боком, и широко раскрытыми глазами смотрел на меня.

Когда я разбудила всех, солнце уже взошло. Саида, вопреки ожиданию, не стала плакать: бледная и осунувшаяся после предсмертных мучений отца, она бродила по комнатам, завешивая бязью зеркала, стеклянные створки буфетов.

Родственник долго занимался лицом старика. Сначала он возился с никак не желающими закрываться веками, которые в конце концов всё-таки удалось вдавить на место. Потом, взявшись за белое полотенце, подвязал ему

челюсть.

Дождаясь, пока из мечети прибудет маафа, я присела на табурет возле кровати и наблюдала за ежеминутными изменениями лица старика, которое по мере оттока крови приобретало по-детски невинное, красивое, умиротворённое выражение...

В последний миг, когда перед выносом тела из дома его укутывали в одеяло, как в пелёнки, лицо старика приняло лик непорочного юноши, покидающего этот мир в расцвете сил, ничего не успевшего совершить, не вкусившего радостей и наслаждений жизни.

Когда тело вынесли из дома, родственник принялся усердно читать молитву. Я же получила у Саиды разрешение забрать все папки к себе домой.

*Перевела с азербайджанского Пюсте Ахундова*

# ПОЭЗИЯ

Анна Гедымин

## Посильная милость

\*\*\*

Никого предчувствием не мучая,  
Тихо заполняя небеса,  
Туча собирается дремучая  
До зимы всего за полчаса.

Даль пока светла, голубоватая,  
На душе — ещё совсем апрель,  
Только где-то, пайку отрабатывая,  
Для порядку бреханёт кобель.

Тоже ведь из наших, из несведущих,  
Как попал в неловкий переплёт,  
Как дожить до дней весенних, следующих,  
Да и кто — Бог знает — доживёт.

Разве что луна, монетка медная,  
В наших куцах — вечный новосёл.  
Вон, глядит в упор, беды не ведая,  
Просто возвещает, вот и всё.

### Метеорит

Отпрыск дальних и злых  
Внеземных пожарищ,  
Миновавший в пылу  
Не один парсек,  
Прилетел он —  
Бессмысленно угрожающ,  
Как бегущий по городу  
Дровосек.

Было ясно:  
Сгорит средь подобных прочих,



Лишь вонзит в атмосферу —  
С размаху, вкось —  
Скоростного полета  
Колючий росчерк.  
И не дрогнет,  
Не скрипнет земная ось.

Лишь увидели снизу мы  
В изумленье,  
Как большая звезда  
Пропорола гладь...  
Но полет ее длился  
Одно мгновенье,  
Так что где там —  
Желание загадать.

### **Вера**

А солдат не вернулся домой  
Ни весной, ни зимой.  
Не увидел, пройдя сквозь сени,  
Как на добром смоленном полу,  
Под лампадкой, в углу,  
Вон — оставили след колени...

Все ждала, не тушила огня.  
Глубже день ото дня  
Головой уходила в плечи.  
И уже не творила хулу,  
Только в красном углу  
Лик повесила человеческий...

\*\*\*

Ангел-хранитель стареющего человека  
Поднимается затемно,  
Летит в поликлинику,  
Потом у него  
Аптека,  
Библиотека,  
Продукты, почта...  
Устает жутко.  
А когда он уже на грани,  
Наступает время  
Невыполнимых желаний.

Ангел-хранитель  
Всматривается в заветный список,  
Всплескивает крыльями,  
Роняет пакеты сосисок, ирисок,  
Повторяет беззвучно:  
«Сделай мне одолжение,  
Яви посильную милость —  
Чтоб наступающей осенью  
Ничего ужасного не случилось:  
Чтоб никто не отчаялся,  
Не умер,  
Не повредился рассудком,  
Чтоб не пришлось выбирать  
Между совестью и желудком».

Ангел нахохливается,  
Прячет голову под крыло.  
Как же ему с подопечным не повезло!  
Был бы пьяница,  
Развратник,  
Сутяга —  
Помог бы ему в тот же миг!  
А тут —  
Приличный, добрый старик...

А стареющий человек  
На ангела не в обиде.  
Он в своей жизни  
Ничего плохого не видит —  
Ни того,  
Что почти завершилась его дорога,  
Ни во что превратилась  
Дочь его недотрога,  
И нужно ему немного:  
Он выглядывает в окно,  
Улыбается солнышку  
И благодарит Бога...

\*\*\*

Не паникуй, мой друг, пройдет и это.  
Невероятно, чтобы не прошло.  
Ночь миновала, пронеслась комета,  
Наш век — и тот отходит тяжело.





## Нота бене

### Март

День мартовый,  
птенцовый, леденцовый,  
грачиным нарисованный углём.  
Снег расстилается за февралём  
перелицованный, почти как новый.

С карниза по оконной крестовине  
стекает свет,  
на этой половине двора  
сугробы ниже, чем на той,  
где горка и песочница, и клён,  
и яблоня, и ствол её худой.  
Три ветки из него торчат как три ребра,  
и ножичком изрезана кора.

Весна такая же, как до войны.  
Весна и с той, и с этой стороны.  
Земля ждёт мёда, и вина и млека,  
трещоток бойких, шутовских гудков,  
и топота весёлых каблуков,  
и тонкого зелёного побега.  
Благослови, весна, ущедрни ны,  
дела твои воистину чудны!

Нелепо выпирает из-под снега  
оттаявшая горка черепков,  
раздробленных, разбросанных кусков.  
Увечна я,  
и ты, мой брат, убог,  
и наша яблоня калека.

\*\*\*

Смирная жажда, сдерживая прыть,  
натягивая жёсткие поводья,  
как медленно учусь я говорить  
и думать  
вопреки обманчивой свободе,  
свободе петь согласно ремеслу,

свободе петь за хлеб и похвалу,  
(награда – это ведь неплохо вроде).

Я медленно настраиваю слух  
на чёрные, тревожные частоты,  
где кажется, что звук уже потух,  
но все вокруг ещё играют что-то.  
Старается один трубач глухой,  
мертвецки пьян, лежит трубач другой,  
а третий дует и не смотрит в ноты.

А я не слышу, даже не дышу,  
и привыкаю к тишине и боли,  
и по складам слова произношу,  
и заново учусь, как было в школе –  
немыслимую паузу держать,  
чтоб после наконец кулак разжать,  
горячий выдох выпустить на волю.

\*\*\*

за часом час, за слоём слой  
сползает небо вниз  
и снег, рассеянный и злой,  
над городом повис

блеск электрического льда,  
иллюзия огня  
не говори, что ты сюда  
пришёл из-за меня

перемещение снежных масс,  
физический закон,  
над перекрёстком жёлтый глаз,  
моргающий дракон

и каждый со своей бедой  
проходит в темноте,  
и целый город золотой  
у рыбы в животе

нет ни улиц, ни границ,  
ни времени примет,  
лишь столкновение частиц,  
рождающее свет.

\*\*\*

Живот земли раскрыт, столпились люди возле,  
застыли и глядят, не смыслят ни черта.  
Молчат, как прежде не молчали никогда,  
и мёрзнут так, как никогда не мёрзли.

Дрожат и думают о холоде земли,  
о том, как на ветру легко сосновым крыльям,  
о том, куда плывут, покачивая килем,  
опущенные в землю корабли.

И чернота внутри вздымается, гудит.  
Грудной мешок трещит, выдерживает еле,  
и тьма кипит в отдельно взятом теле,  
и всё сожрав дотла,  
никак не победит.

\*\*\*

Пропали и деревья, и кусты,  
по небу расстелилось покрывало.  
Бессмысленная сила пустоты  
навылет человека пробивала.

И он сопоставлял её масштаб  
с другой, внутри гнездившейся неявно.  
И перед этой человек был слаб,  
а перед той, всемирной – и подавно.

В зиянии меж этою и той,  
кружа, почти как дух над гладью водной,  
он страшен был своею пустотой,  
способной обернуться чем угодно.

\*\*\*

Веера красная кисточка, красная лапка  
белой гусыни, ветка кизила в снегу.  
Может быть, это надежда, случайно и сладко  
вспыхнула – еле заметная на бегу.

Может быть, это какое-то важное слово,  
крепко забытое, и не заменишь ничем,  
яркая рыбка, не ставшая частью улова,  
беличий хвост у сосны на высоком плече.

Может быть, это летит от небесных поленьев  
и до гудящей земной долетает трубы  
звук, у которого нет повторенья,  
горенье,  
звёздная крупка,  
скол золотой скорлупы.

\*\*\*

Пробегаешь глазами знакомые строки,  
видишь окна чужие  
и прозрачные тени за домом высоким,  
где мы даже не жили –  
ночевали в обнимку с мучительным летом,  
давним летом коротким,  
а над городом, в воздухе, солнцем прогретом,  
плыли красные лодки.

А потом восходили над крышами горы  
в аметистовых блёстках,  
и кому-то мигали внизу светофоры  
на пустых перекрёстках.

Как залитое светом футбольное поле,  
как паук в паутине –  
одеяло, белеющий прямоугольник  
с ромбом посередине –  
только линии, пятна, неясные грани  
на пустом негативе...  
И ребёнок,  
свернувшись, он спит на диване,  
словно косточка в сливе.

\*\*\*

Хранишь, избавиться не вправе,  
тетрадку, что купил в киоске.  
Живей правдивых фотографий  
воспоминания-наброски,

их краски зыбкие, текучие,  
их линии слегка кривые,  
и кажется, опять при случае  
мы снова встретимся, живые,



и будет свет ложиться полосами,  
и лить сквозь окна взгляд воловий,  
как будто выхвачен Чюрлёнисом,  
как будто Дюрером отловлен.

Дрожат, застывшие во времени  
дома с ларьками овощными,  
дворы с московскими сиренями,  
скамейки с липами над ними,

и мы негаданно-непрощенно  
плодящие свои обманки,  
опять касаемся подошвами  
камней на старой Якиманке.

\*\*\*

Пускай запишет непременно,  
чтоб не забылось впопыхах,  
меня – как пишут ноту бене  
в необязательных стихах.

Как на полях тетради в клетку  
рисуют мелкую пометку –  
ошибка или недочёт?  
Никто наверняка не скажет,  
а штрих горит и будоражит,  
и жить спокойно не даёт.

## Лимоны на столе

### Не слышит

Не слышит никто никого - голос, речь.  
Не может никто никого нежно беречь,  
Кричат рупорами слова, машут рукой,  
Не может никто никогда стать тобой.

Не может никто, никогда - да, ты устал,  
Не веришь, что можешь взойти на пьедестал,  
И птицы тебе не поют, не манит рассвет,  
И веры в себя у тебя нет.

И дни обрастают корой слез и обид,  
И сердце тебе о любви не говорит,  
И кажется вычурным день - жизнь серым сном,  
И кажется, что виноват ты во всём.

Вино на столе от тоски, мысли стезя  
Никто не обидит так, как ты себя,  
Никто не увидит в тебе солнечный свет,  
Если тебя у тебя самого нет.

### Человек в черном

Человек в черном - маска, лицо.  
Может, он чокнутый - в носу кольцо,  
Рядом собака, смотрит странно,  
Глаза черные - мне страшно.  
Декабрь, дождь, век двадцать первый,  
Этот парень – бьет по нервам,  
Взгляд темный, рот в оскале.  
Бога сместили - Дьявол правит.  
Правда и ложь без отличий,  
Каждый первый – второму лишний,  
Личное слово пера легче,  
Хочешь жить - держись крепче.  
Барин слева и барин справа,  
У каждой дрожащей твари оправа,  
Кричи тихо, проси немо -  
Глаза в землю, нельзя в небо.

Поезд скорый стучит сильно,  
Без сантиментов в своем стиле,  
Влево, вправо - земля стонет,  
Время крадут - воры в законе.  
Век двадцать первый совсем спятил,  
Не солнце - скатерть из черных пятен,  
И брат брату плюет в душу...  
Останови Землю, здесь душно.

### Лимоны на столе

Лимоны на столе  
И бархат розы в марте,  
И солнечная тень  
По улицам бежит.  
Мне нежность подаёт  
Осенний день на завтрак  
И спрашивает, что  
Ещё мне принести.

Пожалуй, я возьму  
Себе удачи малость.  
И счастья принеси,  
Оно не портит вид.  
Но мелкую любовь  
Мне не неси, пожалуйста,  
Мне от неё потом  
Под ложечкой болит.

Надежду принеси  
Побольше, не жалея,  
Но только уточни  
Какого дня она.  
Мне новая нужна.  
Вчерашнюю же смело  
Выбрасывай, уже  
Не свежая она.

И кофе завари -  
Туда щепотку меры,  
И пару ярких фраз,  
И пару верных нот.  
Ты в завтраке моём  
Не оставляй пробелы,  
И может быть, тогда  
Всё и произойдёт.

Лимоны в январе,  
И бархат розы в марте,  
И солнечная тень  
По улице бежит,  
И веру мне подаст  
Официант на завтрак,  
Не спрашивая, что  
Ещё мне предложить.

### **Феминистка**

Мы сами строим, мы сами сеем,  
Мы сами столько всего умеем,  
Умеем вправо,  
Умеем в прочерк,  
Умеем правду  
И между строчек.

Ну, наконец-то  
Взошла фортуна  
Над этим лесом  
Почти что умным,  
Почти что верным,  
Почти что щедрым,  
Хотелось лестно,  
А вышло вредно.

Но обольщаться - какое счастье.  
Слова ложатся в слова участия,  
И перья в веер, в улыбку губы,  
И всё как в первый,  
Всё только будет.

Гормоны плачут, текут ресницы -  
Всё тот же мачо, хоть и приличный,  
Немного шарма в бокале пива  
Опять не в ауру...  
Не подфартило.

Стучат колёса. Поля и горы,  
Мы сами – слёзы. Мы сами - гордость,  
Мы сами сдюжим,  
Мы хвост и грива.  
Уж если замуж,  
Так жить красиво.

Тебе, мужчина, мои приветы.  
Во мне причина, в тебе - ответы,  
Дитя природы,  
Ласкаешь уши...  
И чёрт с тобою,  
Я буду слушать.

### **Без этих слов**

Без этих слов,  
Таких простых в начале,  
Задумчивых, смешных,  
Без этих слов, которые качали  
И забывались вмиг,

Без этих невозможных, жарких, первых,  
Без этих на бегу  
Строчащих в две руки по нервам -  
На счастье и беду.

Без этих откровений и начала,  
Подаренных судьбой,  
Без этого - глаза в глаза - на части,  
На право быть собой.

Без этих напряжённых - ком у горла,  
Без этих - стиснут рот,  
Без слов, которые - надолго,  
Которые - взрлёт.

Без этих безрассудных, осторожных,  
Но ярких - вкус и цвет...  
Без этих слов, которых нет, возможно...  
Возможно, просто нет.

Которые висят над крышей  
Луною день за днём.  
Слова, которые не слышим...  
Которые так ждём.

## Привыкая к войне

\*\*\*

В чуть заметный разлом, где смыкаются воды и остров,  
незнакомые звуки сквозь топкую вязь проросли:  
ты же слышишь, как с плачущим скрипом шатается остов,  
не способный держать накрененную плоскость земли?  
Глянь, пространство дробится, поправ взнезменные законы,  
не в противника - в сердце слетает стрела с тетивы,  
и хохочет по-дьявольски, голову свесив с балкона,  
анемичное лето в дрожащих прожилках Невы.  
Безнадёжное время кропает себе эпилоги,  
будто взято само у себя под залог во тщете.  
Будет жалко - оставь: столько лишних вещей на дороге,  
будет больно - скажи: столько слов на пути к немоте...  
Каждый день начинается раненым воем подранка,  
отнимая у жизни по пяди крошащийся край,  
накрывает свой стол похоронный страна-самобранка:  
хочешь пульку, напёрсточек яду ли - сам выбирай.  
Потому что кончается всё, отшумев бесполезно,  
обращается в пепел, насквозь прогорев на огне.  
(Я хотела тебе рассказать, как рождается бездна,  
а выходит опять и опять о войне, о войне.)

\*\*\*

Не смотри, не смотри, будет больно глазам -  
это время горит агонически,  
на амбарный замок закрывайся, Сезам,  
затвори своих слуг механических.  
Вот парадный подъезд, вот растерзанный дом  
чёрно склабится шторами-ставнями,  
вот обугленный двор под разбитым окном,  
разлинован крестами недавними.  
Раз я видел, сюда мужики подошли –  
блики золота над эполетой,  
колоски вырывали из теплой земли,  
человеческой кровью согретой.  
Так ломали и гнули небесную ось -  
сотрясалась планеты окраина,

что по уровню ада сравнять удалось:  
там поставили сторожем Каина.  
Не пустили ни Бога туда, ни врача,  
затерялись дороги, не пройдены,  
и закончилось время, зубами стуча.  
Золотыми коронками родины...

\*\*\*

Снова на круге своей ворожбы  
дерзкой природы упрямая милость.  
Господи, как же не стыдно тебе,  
как ты посмела, весна – распустилась?!  
Жмётся к земле от печалей людских,  
шею щекочут цветы полевые,  
веки сомкнёшь – проступают на них  
те, на замерзшей земле, неживые...  
Дай погадаю на мёртвой руке,  
как поищу семена в пустоцвете.  
В каждой травинке, жучке, лепестке –  
их навсегда нерождённые дети.  
Чёрная струйка ползет от виска,  
молча отводят глаза понятия.  
Видеть нельзя отвернуться (пускай  
каждый расставит свои запятые)  
Просишься к свету – дрожишь в темноте,  
учишься жить - получается плакать,  
пишешь чернилами, а на листе  
только сердечная вязкая мякоть.  
Замер, уставший в пальбе и мольбе,  
призрак кессонный, буравящий ночи.  
Что ты, война, возомнила себе,  
кто тебя старую, страшную хочет?!  
Смотришь стеклянными – словно извне,  
только внутри отзывается гневно:  
как это – жить, привыкая к войне,  
жить, привыкая к войне ежедневно?

\*\*\*

Это плоскую землю горящий покрыл бурелом  
или время разбилось, себе самому не синхронно?  
То по суше идет полоумный, махая веслом,  
громогласно себя нарекая последним хароном.  
Обезумевший грека, останься у нас на постой,  
чтобы сунуть дрожащую руку в кровавую реку,

посмотри, что наделал ты в этой юдоли густой -  
так никем никогда не положено жить человеку.  
Расскажи, всё равно ты живым не останешься, где ж  
ты запрятал свои смертоносные тайные руны?  
Обнищавший язык: сострадательный выпал падеж,  
опустела его парадигма – чернеют лакуны.  
Ниже уровня моря, качаясь с бедой наравне,  
погружается общая лодочка жизни худая.  
Но упорно склоняю: война, про войну, на войне,  
еженощно в поту ледяном в этот мир выпадая.  
И с летящей землёй совершая крутое пике,  
принимаю как есть: ничего не осталось иного,  
как большее молчать на виновном своем языке,  
в пустоте испустившим последнее, мёртвое слово.

\*\*\*

Тлеет пространство, временем пригвождённое,  
время молчит, помешивая угли.  
В том, что родители, перед войной рождённые,  
до наступленья новой войны ушли,  
чудится мне какое-то провидение.  
Господи, за крамольное не сгнои...  
Только сквозь горечь рада на самом деле я,  
что не увидят там старики мои,  
как покрывает здесь похоронным инеем  
мёртвых расчеловеченная зима,  
гонит живых из дома, как страшно в спины им  
ставнями машут брошенные дома,  
рушится мир – вот угол его падения  
(Господи, отними у них транспортир...),  
как, заложив взрывчатку под заведение,  
сбрендивший валтасар продолжает пир,  
как, потеряв личину, его угодники  
неньку на рынке двигают за пятак  
недалеко от Гомеля (Кут мой родненькі,  
нешта скупляеш д'ябла? Ды як жа так?!)  
Всё, что болело молча, наружу просится,  
сердце само не в силах разжать тиски,  
бьётся запретных мыслей разноголосица,  
спать не даёт, распарывая виски.  
Завтра багряной нитью по небу вышито,  
крошатся под ногами края земли.  
Господи, если можешь Ты, если слышишь Ты,  
Господи, перед нами нас отмоли...



\*\*\*

Земля из-под ног уплывает,  
Земля отправляется в скит,  
зияет на ней ножевая  
горячая рана, кровит.  
Крошатся её цитадели,  
воюют её короли,  
а те, что за землю радели,  
ни пяди её не спасли.  
В карман окровавленный кортик  
вложив, эполеты надев,  
убийца гуляет и портит  
всю ночь околоточных дев.  
Встречает его, негодяя,  
народная шумная рать  
и, с криком чуму прославляя,  
ложится под ним умирать.  
Кормилица, где твое вымя?  
Голодных своих не томи.  
Идем по земле не живыми,  
не мёртвыми - полуплюдьми,  
напрасно последние розы  
в надежде съедая с полей.  
(Не эти ли метаморфозы,  
не с нас ли писал Апулей?)  
История ищет фарватер  
среди полыхающих нив,  
цепляясь клюкой за экватор,  
планету слегка накренив.  
И в бездну, не смерив уклона,  
сорвавшись, летит ватерпас.  
Ты слышишь прощальные стоны  
Земли, оставляющей нас?

## Ставь на черное

**Иволга**

*Варе*

Я наблюдала за тобой:  
Стоишь, поёшь, мой честный праведник,  
Не принятая детворой,  
Легко раскачивая маятник

Качелей. Время не идёт,  
Пытаясь вовремя раскаяться:  
Земля вся в людях, только вот  
Бесчеловечная какая-то.

А рядом бледен и суров  
Сосед, лишённый сострадания,  
Пыль выбивает из ковров,  
Как из задержанных - признания.

Здрав сопливые носы,  
Кружатся девочки на плоскости.  
Четыре русые косы  
Тебя задели, словно лопасти.

Раздолбанную карусель  
Никто им заново не выдолбит.  
Иди за тридевять земель  
На голос златогрудой иволги.

Она была как ты – дитя,  
Однажды проклята и изгнана  
За приручение дождя,  
И за доверчивость. Так издавна

Здесь повелось. Не смей рыдать,  
Прости жестокость их беспечную.  
Они пойдут тебя искать  
И призовут, как птицу певчую.

Никто не будет до поры  
Перед тобою кочевряжиться.

И красно-синие ковры  
Свернёт сосед, и пыль уляжется.

### **Любовь**

Пока от табака сгорал отец  
И колесил, бухой, на "неотложке",  
Любовь варила горький леденец  
Из сахара, сгорающего в ложке.

Отца не потушили доктора.  
Остались пробки, спички и окурки  
Дровами погребального костра,  
Картинками из сказки о Снегурке.

Любовь не так наивна. Но внутри  
Горит её несбывшаяся ласка.  
Горит, как пёс бездомный сухари  
Грызёт, на выживание натаскан.

Горит, сжигая страшный черновик,  
И с каждым днём становится заметней.  
Пылает так, как будто нет любви  
На свете, кроме девочки двухлетней.

С трудом вместит детдомовский уют,  
Где будут настоящие конфеты,  
Ядро, венец творенья, абсолют  
Местами от замороженной планеты.

Любовь её согрела и спасла,  
И лучше космонавтов разглядела:  
Земля не голуба и не кругла,  
А тусклое бесформенное тело.

И если здесь какой-нибудь дурак  
Её окликнет Любкой по привычке...  
Пред ним - Любовь. Любовь! И только так.  
В одних трусах и с бантиком в косичке.

### **Чудовище**

Палата заселялась, как страна,  
И с жителями я была знакома:  
Вот – тётя кормит Катю, у окна  
В коляске спит малышка из детдома.

А бабушка, по тумбочке долбя,  
Ругалась матом, пела панихиду,  
Плевала в нас, ходила под себя.  
Но мы жалели бабу Степаниду.

Катюшу мать сокровищем зовёт,  
Меняет бабке мокрые пелёнки.  
Малышку моет, помощи не ждёт,  
Дела её заметны, но негромки.

Мне лучше всех - закрытый перелом.  
На Катеньке - корсет уткнулся в шею.  
А мать её катает в горле ком,  
Когда глядит в коляску, как в траншею.

Там не солдат с гранатами в руках,  
Там Надя потянулась к погремушке.  
Худая, в разноцветных синяках,  
И ножки, словно лапки у лягушки.

Под Катин плач и бабкино нытьё  
Чужая мать чужую дочь качала.  
"Чудовище прекрасное моё...", –  
Шептала, целовала, бинтовала...

Двухместная палата номер два –  
Как много боли, счастья, кислорода!  
И в гипсовой символике родства  
Я выписалась. Вышла из народа.

### **Косарь**

Мне в детстве всё сходило с рук,  
Но присмирел мой нрав свободный,  
Когда пошла гулять на луг  
К реке Ухте в посёлке Водный.

Точили косы мужики,  
На вид суровы и дремучи.  
А старший, солнцу вопреки.  
Белей, чем снег, мрачнее тучи.  
Жену на днях похоронил,  
Остались дети и скотина.  
И чует дрожь зелёных жил  
Спасительная гильотина.

Он взял меня в ученики,  
Наладил взмах, расправил плечи.  
И дружно свистнули клинки  
По-человечьи.  
Открыв мне тайну ремесла,  
Чужая скорбь чуть подкосила,  
С ладоней кожа сошла,  
Как, впрочем, раньше всё сходило.

Пусть твари Божии в хлеву  
Узнают, кто за них в ответе:  
Он лихо косит жизнь-траву  
Косою, отнятой у смерти.

### **Родные**

Мне сейчас не хватает танка,  
Я бы залпом снесла притон.  
У соседей большая пьянка  
После дедовых похорон.

Он однажды пожал мне руку  
И сказал: "Мы одних кровей.  
Неродных не бывает внуков,  
Не бывает чужих людей".

Подарил перочинный ножик,  
Угостил леденцом «Дюшес».  
Говорят, что он жил и дожил.  
Нет, убогие, дед воскрес.

Что на закуску у вас? Конфетки?  
Пей же, сволочь, не захлебнись!  
Но на лестничной узкой клетке  
Твари с тварью не разойтись.

По-чужому пройдёт беседа  
С применением ног и рук.  
Потому что так надо, деда.  
Потому что война вокруг...

Я сижу с разноцветной рожей,  
Красным сплёвываю в ведро.

И точку перочинный ножик  
Для того, чтоб чинить перо.

### **Вызов**

Вызов принят. В пелёнках сопит  
Пережившая мамонтов моська.  
У больной ничего не болит,  
Ничего не осталось от мозга.

Только сердце напрасно стучит,  
Сотрясается тело в припадке.  
Сквозь извёстку торчат кирпичи,  
Демонстрируя жизнь в недостатке.

Оглядишься – не дом, а культя  
С развалившимся швом, без повязки,  
Где убитое горем дитя  
Нянчит мать в инвалидной коляске.

Она глянет сейчас на иглу,  
Костыли оторвёт от коленей,  
И сойдутся в облезлом углу  
Призрак зависти с тенью сомнений.

Бормоча утешительный вздор,  
Жидкой пулей, сбивая дыханье,  
Я, по сути, стреляю в упор,  
Продлевая и множа страданье.

Голос девочки, как скорлупа,  
Треснув сдавленно и суховато,  
Осыпается в трубку: - Лопа...  
Мне лопата нужна, есть лопата?..

### **Вот так...**

Вот так – легонько, словно нет беды,  
Как на цветную праздничную свечку,  
Как на пузырь из мыла и воды,  
И мира, заключённого в колечко –

Подуть. Как будто на горячий чай,  
На кружевной прозрачный одуванчик,  
На ранку детскую – на малую печаль,  
Чтоб остудить коленку или пальчик.

И пепел ощущая на губах  
Подуть бы, как на матовые угли,  
Ветвями вороша древесный прах,  
Чтоб ожил он и молнии сверкнули.

Как в дудочку, в которой тусклый звук  
Летит на свет, себя изобретая.  
Как на стекло, рисуя зябкий круг,  
А дальше – точка, точка, запятая.

И поскорей задуманную быль  
Стереть, пока не вышел человек  
В окно. Как на эпическую пыль  
Истории. Сравнить мне больше не с чем.

Пока не лопнул радужный пузырь  
Наткнувшийся нечаянно, вслепую  
На призрачные крылья стрекозы,  
Мне хочется подуть и я подую

На твой разгорячённый влажный лоб,  
В ознобе содрогаясь от бессилья,  
На боль чужую собственную. Хлоп!  
Смотри, какие радужные крылья.

### Существо

Пока ещё ни вспомнить, ни забыть,  
Какого цвета пуговка и нить,  
Как в зеркало глядящие в атлас  
Твоей жилетки, сшитой на заказ.  
Спасибо, что позволил рассмотреть  
Сквозь море информации и сеть  
Подробности работы на износ  
Там, под жилеткой, сшитой не для слёз.

Я, в общем-то, посредственный рыбак.  
Над морем нынче поднят чёрный флаг.  
Мне верится, что на тебе надет  
Спасательный жилет.

Мне кажется, что все твои слова –  
Плавающие живые острова,

Поэтому цепляюсь и плыву.  
Теперь по существу:

Возможно, мы не вспомним ничего,  
Поскольку жизнь чудное существо.  
Зато нам не придётся забывать,  
Не встретившись. Какая благодать!

Экран горит, как будто подожгли  
И пуговку, и нить, и полземли.  
А ты стоишь в дымящихся клубах  
С гитарой, как с ребёнком на руках.

### **Игла**

Не проигрыватель, врачеватель,  
Что идёт на осознанный риск,  
Сжал спасительный иглодержатель  
И глядит на виниловый диск.

Ставь на чёрное. Это обычай,  
Безошибочное амплуа.  
Выбирай - барабан Бадди Рича  
Или клавиши Шарлебуа?

Понеслось беспокойное племя  
На сапфировое остриё -  
Время юное, зрелое время,  
Не прошедшее время твоё.

Так, наверно, выходят из комы,  
Из теней превращаются в свет...  
Эй, привет! Мы до боли знакомы.  
Ты боишься уколов? Я – нет.

А теперь окажи мне услугу –  
Пусть поглубже проникнет игла,  
Чтобы память, вращаясь по кругу,  
До беспамятства нас довела.



## Человек-невидимка

Над дорожкой застывшая дымка,  
Вдалеке силуэты людей,  
И бредёт человек-невидимка  
По невидимой жизни своей.

Он красив, хоть уже и не молод,  
Но в его постаревшей душе  
Светлый нрав, превратившийся в холод,  
И мечты догорели уже.

Исчисляя дорожку не в метрах,  
А в часах, а быть может, в годах,  
Он идёт, подгоняемый ветром,  
От начала её – в никуда.

Он живёт в своём доме, как в гетто,  
На столе ждёт набросок стиха,  
Он допишет его до рассвета,  
И отправит потом в облака.

## Колледж имени мистера Джона

Кто такой был Джон Брайс, я не знал никогда,  
Колледж имени мистера Джона  
Проколот мою жизнь и завис, как звезда,  
Над балконом у самого дома.

Курс был краток. Пять дней отходил я туда,  
С парты клял тель-авивскую зиму,  
Дождь по листьям стучал, как стучат поезда,  
За окном проходящие мимо.

“Вы садитесь со мной!”. Ты была так строга,  
Как с нашкодившим братиком младшим,  
Проливались дожди и вздымались снега  
Над дрейфующей партою нашей.

Я уехал, и поезд мотало в огне  
Уходящего дня над заливом,  
И весна Калифорнии скалилась мне,  
Увязая в зиме Тель-Авива.

Это было в две тысячи пятом году,  
Но найди меня, я заклинаю!

Может, имя твоё, что забыл на беду,  
Прокричит мне гусиная стая.  
Я назвал тебя Джава. Пусть бредится мне,  
То, что мы там учили как будто,  
И взойдёт в Сан-Франциско туманной весне  
Тель-Авив той зимы поминутно.

\*\*\*

Не спал, всю ночь писал стихи,  
И то, что в сердце было стёрто,  
Вдруг зажигало маяки  
Давно оставленного порта.  
Я улетал. Я вне себя  
Ходил по городу в печали,  
И, горбясь, тучи рассыпались,  
Как корм взлетевшим голубям.  
Но хлеба рыхлые комки  
Мгновенно растворялись, будто,  
Склевав с протянутой руки,  
Их разом проглотило утро.  
Потом, собравшись в купола,  
Как птицы, разлетались тучи,  
Как будто там церковью летучих  
Звенели все колокола,  
И улиц строились ряды,  
И я, в тот город перебравшись,  
Шёл по бульвару, словно павший  
Солдат за линией судьбы.

\*\*\*

Вместе с музыкой время звучало,  
Обжигали мгновенья, как ноты,  
И на завтра семья ожидала  
Наступления новой субботы.

И кухонный удушливый воздух  
Накалялся от горького смеха,  
И качались, как маятник, звёзды,  
И качалось, как маятник, эхо.  
Тут надежда, как будто, мечтала  
Поскорее дожить до субботы,  
И, как музыка, жизнь напевала  
Обгоревшие звонкие ноты.

\*\*\*

Я небо своё привёз с собою,  
Оно мне ближе, оно родное,  
Оно оттуда, где я родился,  
И проплывают в нём гуси Нильса.

Оно неведомое, большое,  
И пустотою ранит порою,  
Поди оно далеко от рая,  
Но я ведь рая совсем не знаю.

Оно вальяжно в окне парило,  
Напоминало, что я бескрылый,  
Как поезд мчалось и улетало,  
Мне оставляя одни вокзалы.

А я вскочил на подножку смело,  
Хоть безбилетник я неумелый,  
Куда несёт меня? Может, в сказку?  
А дождь – невидимых рельсов смазка?

Я позвоню домой. Может статья,  
Что старше я себя лет на двадцать,  
Мой голос в трубке споёт две ноты:  
“При-вет!” – Я глупо отвечу: “Кто ты?”

Мы детства нашего кровь и вены,  
Я от тебя никуда не денусь,  
К тебе приду, только повзростею,  
И не закончится одиссея.

Я попрошу тебя, небо-поезд,  
Верни к родимому дому, то есть  
Туда, где взмок мой кораблик в лужах,  
И с другом детства ещё я дружен.

А может, там я не рос и не был?  
И понесёт меня дальше небо,  
И утром ранним войду я тенью  
В мой город до моего рожденья.

\*\*\*

Рождения нелёгкий груз  
Лишь только в странствие пуцусь,  
Мешком повиснет на спине,  
А что в мешке – не скажут мне.

И кто повесил мне его?  
То замысел иль баловство?  
То чей-то вздор, игра, расчёт?  
Никто ответа не даёт.

Воз сожалений, зол и бед  
Прицепом тянется вослед,  
И как палач или игрок,  
Я скинуть с плеч могу мешок.

Но смерти страх, как дух сакральный,  
Ко мне привязан изначально.

**Москва, Отрадное**  
(безотрадное: маленькая поэма)

*Отрадно спать — отрадней камнем быть.  
О, в этот век — преступный и постыдный —  
Не жить, не чувствовать — удел завидный...  
Прошу: молчи — не смей меня будить.  
Микеланджело*

...Итак, она жила тогда  
в Отрадном –  
район, который  
москвичи прозвали  
«жопа мира».  
Хотя ничем другим  
такая жопа  
не отличалась  
от других районов,  
построенных в советском забытьи:  
суровые казармы новостроек,  
однообразье мелких магазинов,  
ночные клубы  
с неизменным блядством,  
стандартный, как всегда, ЦПКО,  
и алкаши,  
сидящие по скверам,  
привычно выпивали «на троих».

Весь этот мир,  
до ужаса знакомый,  
все эти люди,  
бары,  
подворотни,  
все эти улицы,  
как явные улики,  
подкинута  
на место преступления –  
весь этот мир  
мне ни хера не нужен,  
поскольку там  
отныне  
нет тебя.

Точнее, есть –  
не ты, совсем другая,  
померкшая,  
поникшая,  
как знамя,  
погасшая, как зарево костра.  
Ты позабыла,  
что случилось с нами,  
как забывает о любви кастрат,  
лишён насильно  
собственного члена  
(а Бродский написал бы точно –  
хера),  
и ты – рабыня  
собственного плена,  
поскольку жизнь твоя теперь –  
химера.

И всё – химера  
в этом странном мире:  
Отрадное, любовь,  
терпенье, благородство,  
лукавство, нежность,  
страсть,  
земное притяжение...  
Лишь только зависть  
зависает над людьми,  
как знак вопроса,  
скрюченный и склочный...

...И мать твоя  
такая же была,  
как знак вопроса,  
скрюченный и склочный,  
она порою ведьмой  
мне казалась,  
и всё, чего она  
слегка касалась,  
вдруг становилось  
воплощеньем зла.  
И трескалось оконное стекло,  
и время с отвращением текло,  
и ты - другая.  
Разве ты была?

Ты стала мифом,  
плесенью,  
    водой, -  
той ржавой, что бежит  
по старым трубам, -  
ты стала тенью,  
    посвистом,  
                ордой,  
которая, как смерч,  
идёт по трупам.  
Отрадное... «Отрадней камнем быть»...

А помнишь, мы стояли у подъезда  
февральским днем?  
И не было чернил,  
и не хотелось плакать  
навзрыд,  
да и пролётка уже умчалась.  
И небо лиловело,  
как лиловеет след,  
что от пощечины  
остался на лице,  
когда вдруг со всего размаху  
тебя рука неведомая хлещет.  
Такой вот след остался  
после встречи –  
она была последней.  
Тебя я обнял и поцеловал,  
и ты ко мне прижалась  
беззащитно.  
Ждала чего-то?  
Верила во что?  
Грустила? Не хотела расставаться?  
Боялась ли соседских пересудов?  
Покорна ли была,  
как раб покорен,  
полубезумной матери своей?  
Но губ твоих мои касались губы,  
я чувствовал прохладу языка,  
и твои губы странно пахли розой,  
такой тревожный запах дикой розы,  
невиданное буйство аромата,  
от коего кружится голова,

предсмертный запах скорого распада.  
Всего лишь миг прощальный –  
миг объятий,  
миг бессловесности, молчанья и любви.

А дальше что?

Разрыв.

А дальше – бездна,  
проклятие ночных аэродромов,  
дорога в десять тысяч километров,  
чужие страны,  
непонятный говор,  
проклятье чувства,  
призраки пустыни,  
явление верблюдов, вдаль плывущих  
под бдительным надзором бедуина,  
и, как мираж,  
парит на дне ущелья  
невидимый для мира монастырь.  
Вокруг ползут, как муравьи, монахи,  
ползут в свои заброшенные кельи,  
им страшен мир,  
который вне ущелья,  
для них весь мир –  
ущелье – «Вади Кельт».

Ах, в этом слове  
что-то есть от колыта,  
и, по наивной прихоти созвучий,  
я разрядил бы всю его обойму  
в ту женщину,  
которую любил.  
Всего лишь шаг:  
он от любви до колыта,  
и ненависть,  
багровая, как небо,  
бежит, бурлит, кипит,  
ярится в жилах,  
но не находит выхода.  
И вот, она уходит,  
как вода в песок,  
она, как дым,  
теряется в пространстве  
и где-то в отдаленье замирает,



как тихий отзвук  
в комнате пустой.

Отрадное... Отрада глаз моих...  
Отрадное...  
Кому какое дело?  
Окраина, рабочая слободка,  
здесь по утрам  
в метро полно народу,  
здесь жизнь проходит, крадучись,  
украдкой,  
здесь пыльные, усталые соседи  
рабочий день свой волокут, как лямку,  
покорные окраинной судьбе.

Здесь ты жила.  
Взрослела и рожала.  
Здесь ты решила  
разорвать свой брак.  
Здесь ты любовь ко мне изображала,  
здесь ты спускалась медленно во мрак.  
Ты далеко, ты в черных водах Стикса,  
ты в безразличных заводах Москвы.  
Я потерял тебя, и с этим свыкся,  
Я сжёг все письма и спалил мосты.

Москва, Москва, колокола хрипят,  
и нет уже давно привычной мощи,  
и в мавзолее – старческие мощи,  
и разодет москвич – от головы до пят,  
и, жизнь свою сверяя по звезде  
кремлёвской,  
он ползёт, нужды не помня.  
Проклятие Отрадного огромно –  
оно во всём. Оно на всём. Везде.

Любимая!  
Позволь тебя любить,  
Точней, твой образ,  
мною преображённый.  
Но твой район,  
навек прокажённый:  
Отрадное... «Отрадней камнем быть»...

## В потоке слов

\*\*\*

Сестра моя, для каждого из нас  
уже случилось нечто, безвозвратно,  
и медленные пчелы аккуратно  
последний собирают мед. Парнас  
оскудевает жизнью, музы немы.  
В беседах вымирающей богемы  
такая лень, так монолитен зной  
с утра до крика полуночной птицы,  
что, как улитке, хочется укрыться  
в непрочное жилище за спиной.  
Покойно привалившись к валуну  
я жду веками, превращаясь в глыбу.  
Ты мне покажешь красную луну  
чуть выше мира. Я скажу: спасибо.  
И жуткий дар пытаюсь отворить  
ладонями и сердцем, в укоризне  
опять приду к тому, что в этой жизни  
все мерится способностью дарить  
и принимать дары.  
Сестра, незримо  
войди в меня, останься, оживи  
в моих стихах, на побережье Крыма.  
Луна светла. Ни слова о любви.

\*\*\*

Был горький дым, когда на небе углом  
пять с половиной тысяч лет тому  
я сотворил тебя в шестое утро  
в Крыму.

Улыбка мира, девочка, растение,  
меж нами только древний воздух снов  
и рук неторопливое цветенье  
и слов.

Тугая речь срывается и вьется,  
смеется, упивается собой.  
...а полночь такая боль начнется,  
что — пой!

Меж нами — только воздух. Слишком прочен  
его гранит; его табачный гул  
горячечным касанием порочен,  
сутул.

Сестра моя, пока глаза, темнея,  
не смеют ни сказать, ни изменить,  
я буду ждать, поскольку ждать больше,  
чем жить.

Но если эта ночь устанет длиться,  
позволь мне, жено, голосом седым  
упасть к твоим коленям и разбиться  
о дым.

\*\*\*

Улыбнусь мимо окон — и мне улыбнется в ответ  
городская Диана с подножки ночного трамвая,  
загорелой рукой пневматический свой пистолет  
в ненадежное небо к осенней луне воздевая.

Так стреляй же, охотница. Здесь, в темноте, на краю,  
на горбатой околице бедного третьего Рима,  
подари мне шальную печальную пулю твою,  
обручальную пулю с кольцом обручального дыма.

А потом — за глоток до рассвета — ты помнишь?  
— вдвоём  
заболеем, прольемся безмолвной, закушенной страстью  
в зарастающий медленным бледным сиянием дом  
через стекла холодные — хрупкие, точно запястья.

\*\*\*

Случайный ангел мой, бродячий колокольчик,  
ещё не строен звон, ещё не ровен час,  
когда ночной туман сползёт с болотных кочек  
и тёмный луч с небес пересчитает нас.

И, открывая мир в немислимом узоре,  
станцуй, печаль моя, на острие иглы;  
и ветер, ошалев, шагнёт обратно – в море,  
и чайачье гнездо сорвётся со скалы.

Вода замкнёт кольцо ночного наважденья  
и узкая ступня качнёт непрочный мост.  
В тринадцатую ночь от своего рожденья  
луна идёт в зенит и иссушает мозг.

Ей безразлично всё – сидеть, обняв колени,  
бежать по кромке скал, искать тепла у стен...  
И до того остры, резки ночные тени,  
что Бог тебя храни порезаться о тень.

И до поры, пока я не приду на ложе  
и не замкнёт мне рот железная печать,  
я не смогу тебе ни слова лжи, но всё же –  
учусь молчать.

### **Старый итальянский сонет**

В потоке слов, холодном и искристом,  
иду в тенях под гаснущей листвою  
по роще апельсиновой, за свистом  
и щебетом, всю жизнь – на голос твой.

Но замираю пред каскадом чистым,  
увидев за смеющейся водой  
две серые жемчужины в пушистом  
мерцании оправы золотой.

И думаю, невольно сгорбив спину,  
о рифмах, что плывут из глубины  
глядящей на меня жемчужной бездны.

И что стихи подобны апельсину  
без косточек: так сладки, так нежны...  
Так бесполезны.

### **Танго**

Кафе и музыка, подобная мольбе  
к твоим глазам на фоне горного массива.  
Форель с орехами, пиканья и мальбек.  
Я элегантен, ты – пугающе красива.  
Твоё лицо находит солнце. Кто искал –

не так уж важно. Примечательно, что тучи  
в случайном кадре собираются у скал.  
Ты безучастна, я – пугающе задумчив.

Звучит мотив. И этот ритм невыносим,  
как запах сыра в недрах старой сыродельни.  
Неважно, что мы там себе вообразим,  
но, даже вместе, мы – пугающе отдельные.

\*\*\*

Три истины: огонь, вода и глина.  
Гончарный круг. Весь август у порога  
темнела перезрелая малина  
и тоже принимала форму Бога.

Я слышал музыку. В привычном гаме  
и топоте на школьных переменах  
звучали голоса за облаками  
каких-то духовых, каких-то медных.

Не зная обо мне ни сном, ни духом,  
вода в природе двигалась кругами  
весь век, пока я становился слухом  
и круг вокруг оси вращал ногами.

Я слушал так, что только и осталось  
стать нему и не тяготиться этим,  
и, сознавая собственную малость,  
влюбляться в женщин, улыбаться детям,

наследуя небесному гобою,  
в круговорот идти водою пленной  
и, возвращаясь, заполнять собою  
случайные неровности Вселенной.

\*\*\*

ты тянешь меня к себе бросаешь меня лицом  
на дымные жемчуга рассыпанные кольцом  
  
по нежным твоим холмам по ласковому песку  
ведёшь по колено вброд к поющему тростнику  
  
на самом краю луны и крика и торжества  
где складывает река холодные рукава

на дне твоего дождя на падающем листе  
на вспыхнувшем наготой напрягшемся животе

становится мой восторг и твой драгоценный страх  
вращением солнц и птиц в расширившихся зрачках

ты тянешь меня как звук – так властно, так торопя...  
И я остаюсь в тебе. В тебе – и после тебя.

## **Февраль, лимон и мирт**

*Алине Симоновой*

1.

Как это странно: в сонме голосов  
услышать зов, а после – в пустоте  
растаять и, откликнувшись на зов,  
родиться новой нотой на листе.

И, вырастая из неброских гамм,  
метелью по хрустальной бахrome,  
по диким заблудившимся снегам  
идти навстречу маленькой зиме.

Благодарить за тёплую лозу,  
за звонкий камень и жемчужный дым,  
когда февраль, как девочка в лесу,  
поёт прозрачным голосом твоим,

раскачивая лёгкую печаль  
на длинных волнах джазовой струны,  
поёт и смотрит вверх, и смотрит вдаль,  
где мы богам и музыке равны.

Далёкий взгляд, скользящий по губам,  
не отвести и не остановить...

Позволь же очарованным богам  
мелодии нанизывать на нить –

мелодии камней и бытия,  
гармонии огня и пустоты,  
в которых осторожно буду я,  
а также, несомненно, будешь – ты.

## 2.

Сжигая на сонных ладонях лимон и мирт,  
почувствую, как под пальцами хрустнет ветка.  
Подумаю: как это странно – явиться в мир  
на острой слепящей грани воды и ветра.

Летишь на пуантах по белой реке, и я  
смотрю удивлённо, как в раны небесной кровли  
ко мне прорастает неспешным плющом твоя  
огромная музыка в ритме бегущей крови.

Качнувшимся голосом пробуя Млечный Путь,  
шагнёшь, не поверишь, пространству моргнёшь тревожно,  
прошепчешь: я больше не буду. Я вздрогну: будь,  
пожалуйста – вечно. Пожалуйста – неосторожно.

Сплетаюсь с ветвями лимона. Его цветы  
сияют в ночном тумане, и клоч тумана  
ласкает губами шершавую кожу. И ты  
становишься ближе, чем кожа. И это странно.

\*\*\*

Это будет июль, потому что в июле  
слишком жарко и слишком стучат топорами.  
И седой крючковтор, развалившись на стуле,  
покарает меня проходными дворами.

Сто царей мне отпишут дворцы и короны,  
сто девиц за бессмертье заплатят любовью,  
я возьму и забуду. Но корни и кроны  
мне припомнят потом синяками и кровью.

Ты сама нагадала такую погоду  
тетивой, напряжённой в немыслимой муке;  
отпусти же мне стрелы и книгу исхода  
прочитай, как Евангелие от Разлуки.

И когда ты поверишь, что ждать – невозможно,  
на церковный покой променяй эту веру,  
расскажи обо мне, расскажи безнадёжно,  
как кукушка, кукующая Агасферу.

## В отражённом свете

\*\*\*

там где рано утром не пел петух  
не рыдал предатель  
мы давай покаемся чтобы пленённый дух  
отпустил создатель  
гулять по тёплому мёду снов  
по слепому свету  
любоваться на тех кто пока не готов  
к долгому лету

стоя рано утром в густой росе  
в голубой литорали  
мы давай помолимся чтобы все  
вовремя умирали  
пусть за лёгким приходом следует лёгкий уход  
медленной чередой  
и на этом фоне пусть гиллан поёт и поёт  
про свой дым над водою

мы давай покатымся колобки  
в нестрашную полночь  
мыловар сварит мыло из нас у реки  
добавив щёлочь  
мы давай наслоимся на этот мир  
цветными слоями  
и оставим два места где меж людьми  
мы раньше стояли

пропускать всех тех кто на наши звонки  
не отвечали  
мы давай будем стражники всей тоски  
звеня ключами  
потому что - помнишь - придя на вокзал  
до дней разлома  
ты ещё спросила: что он сказал? -  
сказал стоп-слово



\*\*\*

развязали войну заглянули внутрь  
там во тьме в отражённом свете  
глаза её мерцали как перламутр

написали о ней в социальные сети

тут пошли пожертвованья концерты  
пресмыкания тел в пыли

вы зачем говорите "черти"? -  
мы же сделали всё что могли

завязали войну чтобы больше её не видеть  
кинули на дно отдалённых вод  
отвернулись сделали выдох

повернулись вновь  
а она всплыла  
и плывёт

\*\*\*

*Асе Анистратенко*

слышу голос из далёкого оттуда,  
электрички пересвист однокорейный.  
это пенье беззаботного катулла,  
за каким-то чёртом взятого в никнеймы.  
никого ещё он сипло не оплакал,  
не изведал дно покорного фалерна.  
всех и слов на языке - "надысь", "однако"  
и "намедни". это образность, наверно.

весь и гнев - о том, что фурий и аврелий  
не ему, красавцу - цезарю давали.  
всех и песен - что вчера под утро пели  
в тибуртинском дымоблёванном подвале.  
лет - за тридцать, а прописка - под ливорно,  
стих - язвительный, стремительно-короткий,  
и судьбы слепой насмешливое порно  
не закончилось кинжалом в подворотне.

заспивай мени про образ остры брамы,  
про кровавый лепесток монте-кассино.  
все потомки незамеченного клана  
у тебя благословенья попросили.

стебель розы навсегда зубами стиснут.  
перекушен провод смертного накала.

а последнее - про лесбию и птичку -  
не надейся, не поделка никакая.

\*\*\*

все говорят -  
нет, рая говорит,  
а все молчат, а рая всё звончее.  
сперва она коснулась ботичелли.  
потом её увлѣк рене магритт.  
вином наполнен пластик.  
облака  
позолотил закат,  
и мы на воздух  
с тобой скользнули,  
два пришельца поздних -  
там море,  
и до моря два шага.

там по пути -  
какой-то зеленщик  
мороженщик,  
старьѣвщик и шарманщик.  
в отеля лобби  
пятилетний мальчик  
на фортепьяно полечку бренчит.  
турецкий продолжается мандат,  
а может быть -  
протекторат британский,  
но с севера  
уже подходят танки,  
а с юга злые братья голоса.

пойдѣм с тобой куда глаза глядят.  
ну что ж тебе то холодно,  
то жарко?  
тут время -  
то растянуто, то сжато,  
от греческих секунд -  
до польских lat.  
тут время нам на рынке продают -

торговец - плут,  
подпиленные гири.  
полётное - ну да, часа четыре.  
подлётное -  
всего лишь пять минут.

\*\*\*

"жизнь, отвяжись, - говорит смерть истово, -  
ты и так везде, это я - нигде".  
и тогда жизнь отвязывается от пристани  
и плывёт-плывёт по воде-воде,  
развлекая свет, рассыпая золото,  
взяв мешок сухарей и бурдюк вина.  
её ноги длинные, её платье коротко,  
смерть при виде этого – смущена.

смерть творит молитву, кладёт за правило  
три поклона в час и пятничный пост,  
жизнь ещё и постель за собой не заправила,  
там цветы и крошки, табак и пот,  
там ещё - а впрочем, какая разница?  
смерть уже повсюду, куда ни глянь.  
так подайте копеечку ради праздника -  
зря мы, что ли, вставали в такую рань?

## Пополам с неделимым

\*\*\*

Все говорят, что оно безбрежно -  
другого берега не видеть.  
На самом деле оно небрежно  
и на оценки ему плевать.

Оно колышется и скучает.  
Ему нет дела до наших бед.  
И всплески весел, и крики чаек -  
ему что темень или что свет.

Оно колышется, грудью дышит,  
не веря, в общем-то, ни во что.  
И если что-то его колышет,  
то это ветер или никто.

Когда же беды взорвутся скопом  
в твоей прекрасной больной судьбе,  
не разглядишь и под микроскопом,  
как ты в нем жил, а оно в тебе.

\*\*\*

Мне снилась казнь. Меня вели  
на шаткий эшафот.  
Дорога путалась в пыли  
и грызла цепь живот.

Через заставы и посты  
мы шли сквозь эту пыль.  
Я тихо попросил воды,  
но получил костыль.

- Эй, поднимайся, сучий хвост, -  
мне конвоир сказал.  
И я поднялся на помост  
под вывеской "Вокзал".

Стоял палач, как мажордом -  
в ливрее, с топором.  
Глаза его цвели трудом,  
участием, добром.

Стояла плаха, вся в крови,  
и красен был настил.  
Палач застенчиво, на "вы",  
желание спросил.

Я отмахнулся, бросив взор  
туда, где нет любви.  
Я слышал крики: "Это вор!  
Убей его! Руби!"

Смотрел я в пыльный окуляр.  
Там - шарик на прутке -  
зависло солнце, как фигляр  
в последнем кувырке.

Висела птиц ленивых рать.  
Куда же им спешить?  
Мне было страшно умирать.  
Страшней, чем было жить...

Услышав чей-то тонкий плач,  
я ноги подогнул.  
- Поехали? - спросил палач.  
И я ему кивнул.

\*\*\*

Одна моя половина  
сошла с горы, как лавина.  
Другая в этой игре  
осталась там, на горе.

Та, что с горы сошла,  
сразу в люди пошла.  
Та, что вверху осталась,  
по небу распласталась.

В людях одна бредет -  
ищет в потоке брод.  
В небе парит другая,  
грозы превозмогающая.

Одна моя половина -  
будто сноп в пол-овина.  
А та, на горе, другая,  
светлая и нагая.

Нет меж них середины.  
Две они, половины.  
Та, что вверху, одна.  
Та, что внизу, одна.

Не существует нить,  
нет ничего на свете,  
что сможет соединить  
две мои сущности эти.

Разве мороз по коже?  
Страх? Нет, ужас! О, Боже!  
Я то лечу, то бреду...  
То в любви, то в бреду.

\*\*\*

Упал и смотрю поверх бордюра.  
Вижу рыжего муравья.  
Он говорит: "Привет! Я Юра.  
А ты-то кто?" Отвечаю: "Я".

"Здравствуй, Я! Как твои делишки?  
Жизнь по плану идёт? В навар?"  
Отвечаю: "Вот веса излишки  
решил уронить на тротуар".

Юра щурится, насекомый,  
трепещет усиками в любви.  
Говорит: "Ты же свой, знакомый,  
подавайся-ка в муравьи!"

Будем жить с тобой безмятежно.  
Матка - трезвая, мы - в говно.  
Будем ползать с тобой неспешно  
и таскать за бревном бревно.

Поползем мы путем ребристым  
под родной муравьиной кров.  
Познакомишься с декабристом -  
он апостол среди муравьёв.

Ты ж не демон, рождённый бурей.  
Как и мы, ты не зришь ни зги".  
Я сказал: "Знаешь, друг мой Юрий,  
ползать как-то мне не с ноги.

В вашей жизни ни дня без пользы.  
Вот что мне, дорогой, претит.  
Ты же знаешь, рождённый ползать  
никогда уже не взлетит".

Огорчился он от бессилья  
убедить меня, в чем хотел.  
И расправив рыжие крылья,  
улетел.

\*\*\*

Вода не горит. Я пробовал  
ее поджигать - никак.  
Песок не горит. Я пробовал  
его поджигать - никак.

Халва не горит. Я пробовал  
ее поджигать - никак.  
И мёд не горит. Я пробовал  
его поджигать - никак.

И яблоко венценосное,  
что над столом парит,  
прекрасное, медоносное,  
я пробовал - не горит.

Ничто не горит в окрестности.  
Ни камень и ни иврит.  
Ничто в этой дикой местности  
не теплится, не искрит.

Привычкою, как кавычкою,  
над пропастью, как на дне,  
стою с обгорелой спичкою  
в невероятной тьме.

\*\*\*

Вот и ранний огонь горит.  
Ни о чем он не говорит.  
Оттого-то, что с неучем  
говорить ему не о чем.

Вот и я горю, как огонь.  
Обожжешься - меня не тронь.  
Потому что мне не о чем  
говорить с тобой, неучем.

Вот пылает моя заря.  
Будит пьяного звонаря.  
Он канатом свой колокол  
тащит чуть ли не волоком.

Под ногой восстает ступень,  
как поросший крапивой пень,  
о который запнулся раз -  
и упал, и угас...

Вот карман, полный мелочи.  
Вот и лампочка Ильича.  
Как ужасно, что нечему  
научиться у неуча.

Я пойду по дороге в свет.  
А вернее - в костёр, в огонь.  
И оставлю тебе совет:  
обожжешься - меня не тронь.

\*\*\*

Овца с клыками волка  
во сне ко мне пришла.  
На голове - ермолка,  
а борода - козла.

Чудовище предгорий  
сказало мне во сне:  
- Евгений бен Григорий,  
гореть тебе в огне.

- За что? - вскричал я страстно.  
- Ответь мне, существо!  
- За то, что жизнь прекрасна,  
а ты её - того.

Якшался ты с жидами,  
поскольку сам такой,  
но против ожиданий  
ты не обрёл покой.

- Так в чём же грех? - А в том он,  
что жизнь твоя - обвал.  
Тебя с пелёнок демон  
тоски обуревал.



Ты жил, как скорбный гений,  
как призрачный Нимрод,  
Григорий бен Евгений,  
прости, наоборот.

Плутал ты между кровель,  
как голубь-новонёб.  
И близким в фас и в профиль  
не радовался, сноб.

В тоске по просветленью  
ты пил на посошок.  
И это, к сожаленью,  
ещё один грешок...

Продолжить бы хотело  
чумное существо,  
но небо посветлело  
и вымело его.

Скотина кривотолка  
исчезла как была -  
овца с клыками волка  
и бородой козла.

Я поднимусь в надежде,  
что есть ещё вино.  
И буду жить, как прежде,  
и стричь с волков руно.

\*\*\*

Кто ставил жизнь мою на взвод,  
удовно ей иль не удовно?  
Кто заставлял лететь вперед  
надежды и грехи повзводно?

Кто обещал, что жизнь длинна,  
и все успеется неспешно?  
Кто говорил, что лишь она,  
звезда моя, всегда успешна?

Кто угли дней сжигал в печи  
ночных безудержных страданий?

Кто распылял во тьме лучи  
среди деревьев, людей и зданий?

Гори, звезда моя, гори.  
Вершись мой суд как добродетель.  
Оговори, оговори  
меня, единственный свидетель.

И крик, и люд, и фейерверк  
вернутся в жизнь мою поротно.  
А жизнь, стремящаяся вверх,  
сорвется вниз бесповоротно.

## Свежие гарики

\*\*\*

Судьба безжалостна, мне кажется,  
нам помогать не склонна в бедствии,  
и кто гавном хоть раз измажется,  
опознаваем и впоследствии.

\*\*\*

Страдания эти мне близко знакомы:  
среди самой блаженной тиши  
в часы непогоды болят переломы –  
у рёбер, у ног, у души.

\*\*\*

Он был солидной масти вор,  
как вождь маячил на экране,  
и произвёл в конце фурор  
подобно крысе в женской бане.

\*\*\*

Умишком я не слишком наделён,  
однако ощущаю всем нутром,  
что мир сейчас кошмарно воспалён,  
а это не кончается добром.

\*\*\*

Акынов, трубадуров, менестрелей  
сменило племя бардов и певцов,  
и столько о любви напело трелей,  
что стало шевелиться у скопцов.

\*\*\*

Убогих мыслей хор докучный  
тревожит мой усталый дух,  
но я, уже седой и тучный,  
гоню их вон, как мелких мух.

\*\*\*

В былом, уже полузабытом,  
бывали встречи, даже дружба

с людьми, которые над бытом  
парят легко и безнатурно.

\*\*\*

Мне дряхлости моей милы потёмки,  
с годами разрастается семья,  
в гостях у нас пируют все потомки,  
которых наплодил отчасти я.

\*\*\*

Потери суля и невзгоды,  
опасности видов различных,  
холодные ветры свободы  
пугают людей непривычных.

\*\*\*

Похоже всё-таки, что Бог  
порой испытывает жалость  
и очень явно мне помог,  
когда тоска в душе являлась.

\*\*\*

Есть люди – в одиночку и гуртом  
весь век выводят жалобные ноты;  
возможно, жизнь и есть на свете том,  
но есть ведь и на этом, обормоты!

\*\*\*

Пора признать без возмущения,  
что хватка дьявола мудра:  
у зла несчётны воплощения,  
и многие полны добра.

\*\*\*

Когда я был молод, искал ремесло,  
в заду своём чувствуя шило,  
дыхание риска мне радость несло,  
и это судьбу предрешило.

\*\*\*

Я многое люблю, я не монах,  
и выпивка заметна в этом списке,  
я даже на моих похоронах  
с охотой бы отпил немного виски.

\*\*\*

Бездну тайны в себе мы несём  
несмотря на растущие знания:  
человек познаваем во всём,  
кроме главного – тайны сознания.

\*\*\*

Подчиняясь житейскому бегу,  
забываешь великий совет:  
если ты улыбаешься небу,  
то оно улыбнётся в ответ.

\*\*\*

Протекая в тепле и опрятности,  
вдруг покой наш бывает разбит,  
но замечу, что все неприятности  
оживляют занудливый быт.

\*\*\*

Когда всё покрыто серой пеленой  
и заметно покатилося под откос,  
и вот-вот уже покинешь мир земной,  
то видней, насколько к жизни ты прирос.

\*\*\*

Всем вопреки грядущим катаклизмам  
достойное спокойствие храня,  
я всё же не расстанусь с оптимизмом,  
а он весьма печальный у меня.

\*\*\*

Возраст мой – финал занятной книжки,  
надо б сочинить к ней комментарий,  
жаль, что соответственной мыслишки  
нету ни в одном из полушарий.

\*\*\*

Понять, что с Россией случилось,  
навряд ли сумеют потомки,  
но ясно, что Божья немилость  
устроила эти потёмки.

\*\*\*

Я никогда не мыслил тонко,  
на мне обычности печать,  
но прохиндея от подонка  
легко умел я отличать.

\*\*\*

Не знаю, кто виной в таких делах,  
и вряд ли будет кто-нибудь в ответе,  
что столько мёртвых душ в живых телах  
удобно и легко живут на свете.

\*\*\*

Новый год нам пылко обещает,  
что пришёл удач оповещателем,  
а в конце он сам себя прощает,  
новым заменяясь обещателем.

\*\*\*

Я долго жил во тьме иллюзии,  
точнее – в сумраке приятном,  
ушёл почти что без контузии,  
но в голове остались пятна.

\*\*\*

Мне в жизни досталось немало камней –  
был дух тогда сильно свиреп,  
от этого вовсе не стал я умней,  
но духом как раз и окреп.

\*\*\*

А мира как ни жаждут люди,  
взывая к разуму и к Богу,  
стволы заряженных орудий  
уже не выстрелить не могут.

\*\*\*

Есть такие сутки непростые –  
время затормаживает бег,  
и часы в них тянутся пустые,  
и сидит в раздумьях человек.

\*\*\*

Когда бы не природная везучесть –  
которая имела и предел,  
иной была бы жизненная участь,  
и я в тюрьме бы дольше просидел.

\*\*\*

Все Божьи создания миру открыты –  
от самых больших до убогих;  
ползучие твари порой ядовиты,  
хотя не опасней двуногих.

\*\*\*

Покуда я стишки свои варил,  
а я подолгу этим занимаюсь,  
я столько дыма в небо накурил,  
что тучам я совсем не удивляюсь.

\*\*\*

Родившись, мы ещё не знаем,  
что древний действует завет,  
и кровь за Бога проливаем,  
едва являемся на свет.

\*\*\*

Слегка сознание поплыло –  
склероз поднялся на войну;  
но я не ем покуда мыло  
и помню, как зовут жену.

\*\*\*

Со старостью никак нельзя бороться,  
подобны мы теперь осенним листьям,  
но черпая из этого колодца,  
вылавливаешь много грустных истин.

\*\*\*

Я простую логику нашёл,  
чтобы разобраться в тонких нитях:  
всюду, где евреям хорошо,  
есть уже причина не любить их.

\*\*\*

Вчера в размышлении зрелом  
к дурному пришёл я концу:  
что всё человечество в целом –  
упрёк за ошибки Творцу.

\*\*\*

Добро и свет весьма приметливы –  
немедля скверну пригвозждают,  
а зло и тьма всегда приветливы  
и ни за что не осуждают.

\*\*\*

Яростно сцепляясь языками  
даже если диспут бестолков,  
умные бывают мудаками  
чаще натуральных мудаков.

\*\*\*

Я сохраняю груз воспоминаний,  
то светлые, то чёрные они,  
а ключья от несбывшихся мечтаний  
живут со мной и в старческие дни.



# НОН-ФИКШН

Афанасий Мамедов

## ШЕБЕКЕ

Ностальгические этюды

### Священники, воины, поэты

*Получаю весть издалека:  
«Возродись, блаженная жилища,  
И скорее марш за облака,  
Чтоб назавтра снова приземлиться!»  
Татьяна Бек. «С маленькими фигами в кармане»*

Друзьями мы не были, приятельские отношения только складывались, тем не менее, вышло так, что при жизни я называл ее Татьяной, - однако после 7 февраля 2005 года что-то отсекается внутри, сейчас она для меня - Татьяна Александровна Бек, поэт, литературовед, педагог, человек, которого большая часть знавших ее людей любила и уважала.

Для многих, кто входил в литературное окружение Татьяны Александровны, ее преждевременный уход из жизни явился не только неожиданным, но еще и знаковым: провел пограничную черту в современной русской литературе, знаменующую собою окончательную смену эпох. Кончились относительно демократичные 90-е с их большими надеждами на будущих олигархов. Надвигающаяся новая эпоха, напоминающая реставрацию еще не вполне забытого советского прошлого, с его разобщенностью, пришибленным индивидуализмом, квасным патриотизмом и устоявшимся перечнем имен у контролируемых кормушек, похоже, ни нам, ни алфавиту нашему, с которым мы пока еще играем, а Татьяна Александровна уже успела проститься, — не сулит ничего доброго.

Отношения с новым веком, которому так идут отмытые деньги и оседающая пена заморского шампанского, у Татьяны Александровны были непростые. Вроде как, с одной стороны, радовалась успеху, выходу двух, пожалуй,

самых значительных своих книг: «До свидания, алфавит» и «Сага с пометками», с другой - многое не могла принять, со многим не хотела соглашаться. Хотя и была хорошо знакома с правилами околотитературных игр, на компромиссы шла неохотно. Ей легче было сказать «прощайте», «до свидания», нежели перейти границу, через которую порядочный человек переступать не должен. А поскольку Татьяна Александровна была не из тех, кто считал, что живет понарошку, боли - когда скрытой, когда прорвавшейся - хватало с лихвой. Одним из самых серьезных и трагичных ее прощаний оказалось прощание с алфавитом. Возможно - кто знает? - под это прощание подверстывалась история ее последних дней. А может, она предвидела все события наперед?

Название книги «До свидания, алфавит» у меня ассоциируется не столько с прощанием, недоговоренностью, свойственной «последнему прости», сколько со следующей скорой встречей, оглашением чего-то очень важного для нас. В том, что эта главная встреча читателя с Татьяной Бек состоится, сомнений у меня нет. Какими-то из своих стихотворений, очерков, эссе, интервью, литературоведческих работ она, вне всякого сомнения, останется в нашем алфавите на долгий срок.

Я мог бы свести с ней знакомство раньше года на три-четыре: было много общих друзей и приятелей. Помню, как после какого-то литературного вечера, на который я должен был пойти, но почему-то не пошел, позвонила мне Ирина Ермакова и сказала, что Татьяна Бек говорила ей: «И где же обещанный тобой Афанасий?» Я тоже сожалел, что не вышло тогда нам познакомиться. Хотя раскланивались мы с Татьяной Александровной на разных литературных перекрестках. Один из них - журнал «Вопросы литературы», в котором она работала.

Холодная зима прошлого века. Я поднимаюсь по скрипучей деревянной лесенке в агентство по авторским правам Эндрю Нюрнберга и вижу ее в полуоткрытой двери «тайного» кабинета «Воплей». Она сидит за маленьким столиком, очень похожим на кухонный, в накинутах на плечи пальто, и что-то пишет, не поднимая головы. Случайно подсмотренная картина отсылает к кадрам военной хроники. Кажется, будто Татьяна Александровна сидит в вагоне медицинского поезда, следующего на восток, и под монотонный стук колес ведет дневник потерь. На обратном пути, когда я вновь проходил мимо открытой

двери, она на мгновение оторвалась от письма, и я успел с ней поздороваться кивком головы. Как у всех людей, сосредоточенных на чем-то очень своем, взгляд ее был *где-то там*, далеко-далеко, где поезд превращается в мушку и не слышно пронзительных гудков. Татьяна Александровна поправила сползающее с плеча пальто, и мне снова почудилось в ее зябком движении что-то фронтное, позаимствованное у отца - Александра Бека.

Познакомились мы с ней на нашем совместном с Максимом Амелиным вечере в МГПУ. Сайт Московского государственного педагогического университета подсказывает точную дату - 18.12.03. Максим читал стихи, я - рассказ «Письмо от Ларисы В.», затем отвечали на записки из зала. Все записки, адресованные мне, я сохранил, думаю, среди них может быть и написанная рукой Татьяны Бек. Я помню, как она внимательно слушала нас, с какой поощрительной живостью откликалось ее лицо на амелинские стихи, на мою прозу, на удачные вопросы и ответы. Показалось, это было одним из проявлений ее несомненного педагогического дарования, знаком солидарности с братьями по перу.

В тот вечер я подарил ей свою книгу, а через некоторое время Татьяна Александровна написала рецензию на «Слона». Статья называлась - «Горловой сгусток беды», предшествовала ей репродукция изображения древнегреческой богини Фортуны, сопровождаемая словами: «От судьбы не спрячешься». На богиню, я честно сказать, внимания не обратил, зато отметил, что Татьяна Александровна несколько раз упоминала карабахскую тутовую водку. Очень захотелось угостить ее этим легендарным продуктом, благо дома в бутылочке из-под соевого соуса стояла настоящая карабахская тутовка, какую в магазине не купить. Воспользовавшись предложением, пригласил в гости Татьяну Александровну вместе с Максимом Амелиным и Ириной Ермаковой. От семидесятиградусной шелковицы Бек отказалась сразу, только пригубила чуть-чуть, да и то после того, как я сказал, что есть напитки, по которым можно смело сверять ход часов того или иного народа: итальянская граппа, македонская мастика, шотландское виски, и, конечно, - карабахская тутовая. О чем только не говорили мы в тот дивный апрельский вечер, неспешно, по-восточному, поглощая приготовленные моей женой салаты и жульен, мамой - кутабы, долму, плов!.. Понимали друг друга с

полуслова. Татьяна Александровна в узком нашем кругу казалась не просто обаятельным человеком, но еще - *своим человеком*. И мне почему-то казалось, что встреча эта в моем доме не будет последней. Так казалось.

Мы встречались еще по разным поводам, в разных местах, - все те же самые углы-перекрестки, от которых не уйти, потому что они - часть литературного процесса. Осенью у Татьяны Бек вышла книга «Сага с помарками», и мы скромно отмечали выход книги на ярмарке «Non/fiction». Вскоре после этих посиделок в кафе на Крымском валу она упала и сломала ногу.

Я не мог представить себе, что 10 февраля 2005 года, через десять месяцев после наших теплых домашних посиделок, буду стоять у гроба Татьяны Бек.

Я виделся с ней по московским меркам незадолго до смерти - 18 января. Татьяна Александровна пригласила к себе в гости. Встреча оказалась не только памятной для меня, но и судьбоносной. Встреча, впоследствии заставившая многое переосмыслить, на многое взглянуть иначе; во многих разочароваться и отнестись с симпатией к тем, кого не замечал раньше.

Предварительный звонок Татьяне Александровне.

Она казалась веселой, жизнерадостной и, как всегда, доброжелательной. Решено было, что я зайду к ней: «Посидим, поговорим, заодно и книги мне принесете». Дело в том, что «Сагу с помарками» опубликовало издательство, в котором я только начал работать, и пока Татьяна Александровна сидела дома с поломанной ногой, она раздавала книги всем навещавшим ее. Друзей и приятелей у нее было много...

По дороге прихватил фруктовый торт, только потом, сообразив, что у Татьяны Александровны, должно быть, тортами от приятелей забит весь холодильник и что, может быть, разумнее было бы купить цветы.

Помнится, долго набирал код: торт все мешал, а когда, наконец, проник в «интеллигентный» подъезд писательского дома, меня встретил молодой человек восточной наружности (сразу угадал в нем земляка), спросивший, не к Татьяне ли Александровне я иду: «Она попросила встретить вас».

Молодой человек представился Валехом, учеником Татьяны Бек. Пока ехали в лифте молчали, хотя меня так и подмывало немного поговорить на азербайджанском:

спросить, откуда Валех родом; если из Баку, то из какого именно района.

Бек уже стояла в дверях с той самой палочкой, о которой успела поведать по телефону с какой-то детской гордостью.

Уселись на маленькой «аэропортовской» кухне.

Заговорили о стихах Валеха Салехоглы<sup>1</sup>. Тут я и вспомнил, что не так давно читал его стихи в «липкинском» сборнике молодых поэтов. Вспомнил и как умело, тонко предварила Татьяна Александровна небольшую подборку ученика. Не знаю, случайно ли так вышло, что за столом оказались двое играющих с русским алфавитом бакинцев, но Татьяне Александровне было приятно наблюдать за нами, и она явно гордилась Валехом, когда я отметил его верлибры. Странно, но, имея ярко выраженное «восточное преимущество» за этим кухонным столом, мы тем не менее о Баку, о Востоке, помнится, ни словом не обмолвились, хотя о чем только ни говорили. Самая большая странность того вечера - время текло необычно: был ведь в гостях не больше часа, а потом оказалось - столько не наговаривают люди за одну встречу: время расширило привычные границы, почти как в той знаменитой притче о воздушном путешествии Магомета, когда Барак, кобылица пророка, поднимаясь к престолу Бога, задела кувшин с водой, а Магомет, вернувшись с пятью заповедями, совершил невозможное - успел подхватить кувшин, так что из него и капля не упала.

Мы не переходили, мы перелетали от одной темы к другой. Начали с Литературного института, потом я поделился впечатлениями от публикации молодого монгольского поэта в журнале «Иностранная литература», который тоже учился в нашем институте, Бек сказала, что помнит его, потом заговорили о предстоящей французской ярмарке. Я понял, что для Татьяны Александровны это очень важный момент в ее жизни, и она внутренне готовилась к нему.

— Скажите, Афанасий, неужели все будет, как в советские времена?

Мы посмотрели друг другу в глаза. Кажется, я ответил:

— Похоже, что так.

Вдруг, совершенно неожиданно, Бек спросила:

---

<sup>1</sup> Ёлчиев Валех Салех оглы (Валех Салех) — азербайджано-русский поэт, ученик Татьяны Бек.

— «На круги Хазра» вы же посвятили памяти вашего учителя, верно?

Я кивнул.

— Не смогли бы вы описать его, что это был за человек?

Слегка удивившись, я быстро набросал портрет Юрия Владимировича Томашевского: интеллигентнейший человек, специалист по Зоценко, любили студенты...

Бек улыбнулась грустной улыбкой, словно ждала от меня именно этих слов. Мне показалось, что отвечая на вопросы Татьяны Александровны, я чего-то недопонимаю, но значения этому я тогда не придал. Только подумал, что непременно посвящу ей какую-нибудь из своих новых вещей.

Литературный институт доминировал в нашей беседе, но вскоре мы незаметно перешли от Юрия Владимировича Томашевского к Виктору Пелевину. Татьяна Александровна, похоже, по-новому открыла его для себя. Она почти восторгалась им. А когда я осмелился накинуться на пелевинский стиль и буддизм народного образца, призывая на помощь «Девять рассказов» Дж. Д. Сэлинджера, отстояла его. Я говорил о пробужденном сознании — сатори, без которого невозможно написать многомерный текст, о перевозке и «Девятивратном граде», теории раса — «главных чувств», о колокольном отзвуке, дзен-буддистских коанах и их предположительном назначении... Вспомнил о замечательной книге Ирины Львовны Галинской «Философские и эстетические основы поэтики Дж. Д. Сэлинджера», которую вместе с «Хроникой Российской саньясы» Владислава Лебедько обещал как-нибудь закинуть Бек. Думаю, что в эту минуту я просто ревновал к Пелевину, и ревность моя была очевидна и для Валеха, и для Татьяны Александровны. Не зря она, чуть прищурившись, скрывала огонек интереса к моему не совсем чистому чувству.

Позволив мне выговориться, не вступая в спор, она спросила, верю ли я в знаки судьбы, связь между мирами, предопределение, и случилось ли со мною то, что называется откровением.

Я, конечно, знал, что говорить на такие темы, не соскочив в элементарное суеверие, бытовую пошлость - практически невозможно. Однако, почему-то поддавшись вопросу, коротко, без подробностей, обрезая и недоговаривая где только можно, рассказал о том, что случилось со мной однажды много лет назад. Закончив

свой рассказ, удивился, что он не показался им пошлым, а я - смешным. Ожидаемой неловкости не возникло. Более того, рассказ мой, кажется, сблизил нас троих, вывел на новый виток откровенности. Говорили мы о том, о чем всегда будут говорить люди, обладающие даром воспринимать поэзию как реальность. И нет ничего удивительного, что вспомнил строки из дневника Бодлера, утверждавшего, что ближе всего к Богу - священники, воины и поэты.

Татьяне Александровне эти слова страшно понравились.

— Как вы думаете, что он имел в виду? — спросила она.

Поскольку я об этом сам размышлял и не раз, ответил без заминки:

— Наверное, именно священники, воины и поэты ближе всего к смерти, к пределу человеческого существования.

— Вы ручаетесь за точность цитаты?

Несколько удивившись, я ответил, что да, ручаюсь.

— Мне это может пригодиться для одного текста.

Я не стал уточнять для какого характера текста: и так уже было приятно, что эти строчки из Бодлера могут каким-то образом пригодиться Татьяне Александровне.

Занимала Татьяну Александровну в ту последнюю встречу прозрачная пелена, отделяющая этот мир от мира иного, пелена, на которой выступают порою знаки-символы, которые мы, многогрешные, почти всегда расшифровываем с роковым для нас опозданием.

Уходить не хотелось, казалось, не договорили.

Выходили вдвоем с Валехом, прощались легко, без свойственных многим московским прихожим тяжеловесных банальностей.

По дороге к метро кольнуло: мог бы, между прочим, купить во «Времени» ее «Сагу с помарками» и попросить автограф. Ладно, успокоил я себя, как-нибудь в следующий раз.

Те, кто часто перечитывают одни и те же книги, как правило, не очень жалуют газеты. В лучшем случае перелистывают где-нибудь за столиком в кафе или в метро, осведомляясь в первую очередь о курсах валют, погоде, подвигах любимой футбольной команды, то есть о том, что превращается в прах, стоит лишь выйти из кафе, метро или каких-либо других пригодных для чтения общественных мест.

Многолетнее, стойкое недоверие к газетам у меня возникает уже от одних названий. В мое поле зрения газеты попадают уже в виде внушительной стопки на рабочем столе, то есть тогда, когда их единственное назначение начисто пропадает. Так было и в этот раз.

В издательстве на моем столе образовалась стопа в рост компьютера. Решив, что скоро работать за столом будет невозможно, я начал обрабатывать ножницами газеты месячной давности, уделяя особое внимание «Книжному обзору» и приложению к «Независимой газете», печатной продукции менее всего адресованной людям фаустовой культуры.

Вдруг натыкаюсь на статью Яна Шенкмана «Писатель и все такое», с подзаголовком «Памяти безвременно ушедшего от нас Сэлинджера, с любовью и всякой мерзостью».

Первое, что пришло на ум: «Не может быть, уж кто-кто, а я бы почувствовал его уход из жизни». Слишком многим обязан ему. Откуда во мне была такая уверенность, объяснить не могу. Не читая статьи, кинулся в интернет, — все спокойно, как и думал, ни намек на кончину Сэлинджера. Спокойно, но только не у меня на душе: чувствую что-то должно случиться, чего остановить не дано никому, и что каким-то боком это страшное «что-то» связано с Сэлинджером и с нашим разговором на кухне у Татьяны Александровны.

Принялся за статью Шенкмана, по ходу понимая, какую крученную подачу выдал Ян на сей раз. Оказывается, умер другой Сэлинджер, политический деятель, соратник Джона Кеннеди. А, ну раз другой... И забываю то главное, чему учила знаменитая проповедь Джона Донна о смерти: других смертей не бывает в принципе.

После концовки шенкмановской статьи: «Там живут не старея и подолгу медитируют над загадочными предметами. Там нет времени, а есть только молчание и покой. Там отказываются от самого себя, своей примитивной логики и человеческих, слишком человеческих слабостей... На границе с этой вселенной кончается литература», - почему-то решаю без проволочек позвонить Татьяне Бек и занести ей обещанные книги. А еще - продолжить наш разговор о священниках, воинах и поэтах: я засомневался в точности цитаты, мне показалось, что у Бодлера на первом месте были воины.



Придя домой, нашел книги на полке, отложил, готов был звонить Татьяне Александровне и договариваться о новой встрече, но...

Позвонил Максим Амелин, сказал, что Татьяна Александровна Бек умерла.

— Сердце не выдержало. Они добились своего, — затравили ее!

Спросил, кто «они»; и он рассказал мне, взволнованно, сбивчиво, все, что предшествовало ее гибели.

Трудно сказать, чего во мне было больше, скорби или негодования. Каюсь, в первые недели — негодования. Причем росло оно день ото дня, стоило только узнать, самому увидеть, как почтенные, много лет завоевывавшие себе имя литераторы уходят в тихую гавань, чтобы переждать бури, отмолчаться-отсидеться где-нибудь на подмосковной дачке, в каком-нибудь издательстве делают вид, что ничего не случилось, ничего не произошло.

Сие есть не дипломатия, которой успешно прикрываются эти люди в расчете на то, что время все спишет, сие — трусость, низость, подлость, предательство...

Господа не берут в расчет, что служить одновременно и Богу и мамоне невозможно, за все придется платить, и очень скоро, намного быстрее, чем им кажется.

Не уходит, не выветривается из памяти, как один молодой поэт, которому Татьяна Бек написала предисловие к книге и которую он при жизни боготворил, трясаясь от страха, говорил мне: «Простите, Афанасий, но я ничего не хочу знать, я хочу быть в стороне от всего этого», а замечательный критик N, который однажды в подпитии уверял меня в своей полной независимости: «Я никогда и никем не был ангажирован», сказал мне в одном длинном-предлинном коридоре: «Ну, умерла, ну и что?!» Глядя на удаляющуюся фигуру много работающего критика N, я подумал: «Вот где кончается наша литература — в длинных-длинных коридорах: три шага, и сгибается прежде неподкупная спина».

Не знаю, куда качает мир вместе с нашими литературными ульями, в последнее время, кажется, болтает его, как алкаша-шаромыгу. Эти болтания у нас отличаются знаками свыше. Сначала новая эпоха впервые, пожалуй, попробовала официально отметить юбилей Иосифа Бродского, крутила знаменитый венецианский фильм: авось поэт сгодится, послужит. Вышло не очень. Ну разве так следует себя вести нобелевским лауреатам?!

Иосиф Александрович отказывался понимать, что время изменилось, что нынче бронза снова в чести: то о любимых сигаретах Одена молвил, то о каких-то вольных поселениях и трактористах, то италийскую виноградинку подбрасывал и ртом ловко ловил, и все ведь это на глазах у своего учителя. А потом и того круче события грянули, потом обесточенная столица вручала премию первому поэту. Выглядело это так, будто нашли единственную батарейку «на ходу».

Кто вручал премию, зачем и кому, ввиду произошедшего ЧП, большого значения не имеет; ушедший в мир иной великий поэт, конечно же, не несет никакой ответственности за содеянное своим учителем. Кто ближе к Богу на сегодняшний день, священник, воин или поэт, сказать трудно. Есть подозрение, что Бодлер не учел ряженых. Ему бы следовало уточнить - настоящий священник, настоящий воин, настоящий поэт. В одном у меня сомнения нет после ухода из жизни Татьяны Александровны Бек: ближе всего к Богу те, кого выбирает Большая История, кто гибелью своей как бы отмечает границу между миром вчерашним и сегодняшним.

### **Мой дядя Валентин**

Я шел брать положенные мне, как родственнику, несколько экземпляров «Чертова колеса», и подходил уже к месту дислокации «Зебры», как грянул июньский ливень. Такой любили снимать кинематографисты и фотографы в 60-х XX века, такой как бы подтверждает правоту твоих действий...

А раз так, сказал я себе, не ропщи, прими условие дождя и улицы: переждать под ближайшим козырьком, подумать о неслучайностях мира...

Стоя на пропускном пункте, я припоминал, что связывало меня с автором «Чертова колеса», моим дядей - Львом Новогрудским. И было это во всех отношениях занятие небесполезное. Однако утомлять медитативным опытом не собираюсь, скажу только, что в долгу перед ним.

В 1946-м он из Крыма в Баку вывез мою умирающую от туберкулеза бабушку. Представляю себе бакинскую красавицу тридцати шести лет, задыхавшуюся после каждых двух шагов, и ее бравого племянника в коверкотовой форме без погон, дошагавшего до Берлина.

«Знаешь, – рассказывал он мне незадолго до смерти, – я провел на фронте без малого четыре года, столько повидал, а как Сарочку из санатория увозил - забыть не могу, помню даже, как он назывался: «Красный маяк»!..» «Напишите рассказ», – предложил я. Дядя не замедлил отмахнуться.

Я понял почему, после того, как прочел его роман: для человека, сформированного «Советами», это воспоминание носило слишком личный, слишком семейный характер. Вот и Асар Эппель, предваривший книгу теплыми словами об авторе, начинает с интервью, в котором мой дядя, будучи честных правил, честно свидетельствовал: «Что по-настоящему удалось Советской власти, так это воспитать мое поколение. Патриотизм, любовь к родине, уверенность, что в случае опасности каждый смело пойдет защищать свою страну, высокая идейность, – сидели в нас крепко».

Именно так, а личное почему-то глубоко запрятывалось, казалось маловажным.

Личное и не личное, принесенное в жертву молоху войны, более всего интересовало меня в «Чертовом колесе», отрывки из которого я слышал от самого дяди, а некоторые истории сизмальства знал от других членов семьи.

Сказать, что в этой книге, которую издательство «Зебра-Е» посвящает памяти писателя, рассказывается о девушках-зенитчицах Великой Отечественной войны и об их послевоенных судьбах, было бы не совсем верно: все-таки она еще и повествует о судьбе главного героя, в котором без труда угадывается автор, как справедливо заметил Эппель: «Обходительный, деликатнейший и романтически влюбчивый человек».

Он очень хотел, чтобы роман был документально точным, прекрасно понимая, что это может быть и его минусом. Отдавая должное повести «А зори здесь тихие...», все-таки не мог простить Борису Васильеву, что его зенитчицы занимаются совсем не тем, чем занимались на войне именно зенитчики. Ему же хотелось показать достоверность страшных будней, может, кто знает, еще раз пережить их, ведь они были не только кровавым месивом, еще – началом жизни, понимания, что есть любовь и дружба.

Сюжет романа прост. 9 мая 1985 года звонит своему комсorghу - а ныне писателю - однополчанка и предлагает

встретиться в парке Горького; но не зря его называют еще и «горьким парком», не выдерживает она груза прожитых лет, еще до Дня Победы попадает в больницу с инфарктом. Однако этого не знают постаревшие за сорок лет девчонки-зенитчицы и их комсорг. И не узнают, пока не появится внучка самой красивой девушки 318-го отдельного зенитного артиллерийского дивизиона, одно лицо с бабушкой. Пока же «девчонки» ждут, а ждать они умеют, война научила, вспоминают прожитую жизнь, и оказывается, что жизнь каждой крепко сцеплена с жизнью другой. И комсорг, ненадолго пришедший к чертову колесу и убежавший вскоре на встречу фронтовиков в Дом литераторов, тоже вспоминает, и его воспоминания живо вплетаются в канву романа, расцветчивают тем личным переживанием, которого искал я и как читатель, и как родственник.

Мужество и красота русской женщины, офицерская честь, геройство и предательство, мародерство и танцы без пяти минут победителей, поднимающие на земляном полу клубы пыли в польском бараке, фронтовое братство и ни с чем не сравнимый фронтовой юмор, а еще - любовь, все лики фронтовой любви, а еще время, благодаря которому и крутится колесо обозрения, оно же Сансары, с какой стороны ни стой и ни смотри на него... «Я всегда глубоко переживаю смерть близких и дорогих мне людей, мне кажется, что вместе с каждым из них уходит какая-то частица меня самого, обедняя и укорачивая мою собственную жизнь. (...) Я решил, что больше звонить не буду, я просто этого не выдержу — новых встреч со смертью. Пусть звонят мне, кто вспомнит. И оставил телефон надолго в покое. Телефон молчал».

Одна из отличительных черт «Чертова колеса», — позднее свидетельство, взгляд на войну ее участника, дожившего относительно благополучно до других времен. Именно другое время и цензурировало роман, делая из колеса обозрения колесо Сансары. Интересно, как при полной свободе изложения, роман, написанный уже в другой стране, все-таки продолжает традиции советской литературы. В любом случае, роман, начинающийся словами: «Встретились мы через сорок лет...» и кончающийся: «Телефон молчал», заслуживает внимания читателя хотя бы по тому, как по-чеховски легко, без аффектации заводится и останавливается механизм повествования.

Композиция романа выдает в авторе драматурга. И тут следовало бы отметить, что сам Лев Соломонович прежде всего им себя и считал — написал в соавторстве и самостоятельно два десятка пьес, хотя были и рассказы, и повести, и роман «Назначение».

Эппель пишет: «Роман «Чертово колесо» никак не удавалось опубликовать. Наконец из министерства сообщили, что на издание выделен необходимый грант... А произошло это через неделю после того, как Льва Новогрудского не стало. Кто скажет, почему такое бывает?»

Кажется, дядя мог бы сам ответить на вопрос, в сердцах заданный другом. Кажется, знал он что-то, что скрыто от тех, кому не приходилось возвращаться назло смерти.

Есть у Ремарка персонаж, кочует из романа в роман, зовут его Валентин, чудом оставшись в живых, он живет за тех, кто не вернулся с войны, помнит даты всех сражений, в которых довелось участвовать, отмечая их вином, дружбой и любовью. Таков был и мой дядя, и в семье мы часто называли его Валентином.

**P.S.** На похоронах дяди я не был: улетал в Германию. Бродя по Берлину, вспоминал о нем неоднократно. Перед самым отъездом домой, остановился на мосту, глядя на Шпрее, оторвав взгляд от темной реки, вдруг увидел Берлин 1945-го и дядю, все в той же коверкотовой форме, только в погонах, спешившего в сторону Рейхстага, вокруг которого кипел тогда международный рынок, чтобы купить маме французские духи «Вечерний Париж», а себе «небольшие часики в прямоугольном корпусе из белого металла на браслете того же цвета»...

### **Порочный представитель сорока веков**

Трудно ответить на вопрос, отчего у нас сегодня отношение к творчеству Брюсова, как бы выразиться помягче, не соответствует тем немалым усилиям, тому весомому вкладу, который этот поэт, прозаик, переводчик, теоретик символизма внес в русскую литературу.

Поэзию и прозу Валерия Брюсова у нас забывали постепенно, от десятилетия к десятилетию, от одного застоя к другому. Я застал еще годы, когда в хороших домах по случаю цитировали его стихи или вспоминали в связи с каким-нибудь серебряновечным поэтом. А первое мое настоящее знакомство с творчеством Валерия

Брюсова, ставшее, можно сказать, судьбоносным, началось с книги его прозы, наудачу купленной в букинистическом магазине города Баку.

Я открыл для себя Брюсова-прозаика буквально накануне отъезда в Москву и, как это часто бывает с людьми в момент сложения всей их судьбы, восприятие мое было обостренно настолько, что многие вещи из той книги запомнились мне на всю жизнь. Запомнились не всем своим строем, строчка в строчку, но скорее вызванным чтением послевкусием, по которому, впрочем, можно было легко восстановить и содержание. До сих пор хорошо помню такие брюсовские новеллы, как «Под старым мостом», «В подземной тюрьме», «В зеркале», «Бемоль», «Ночное путешествие», «Восстание машин»...

«Восстание машин» преследует меня всегда, когда я смотрю на строящуюся новую Москву. А стоит мне оказаться в Замоскворечье, затеряться в «купеческой» Москве середины XIX века, я всегда вспоминаю замечательную повесть Валерия Яковлевича «Обручение Даши» — нежную, тонкую, без затей, выбивающуюся из общего ряда им написанного. Еще один утонченный «лирический рассказ в десяти главах» - «Моцарт». Но, конечно, главной вещью в том сборнике малой прозы Валерия Брюсова была повесть «Последние страницы из дневника женщины», написанная в форме дневника. Я был буквально сражен этой повестью, и про себя сразу назвал ее «самым декадентским романом в русской литературе». (Примечательно, что думал я так, не будучи еще знаком с «Опасными связями» Шодерло де Лакло.) В темном эротизме повести улавливались мною и «тамарисковое дыхание лесов», и терзающий подъем телесной силы, поражала неисчезающая словесная вязь — наподобие муарового узора на галстук или восточном ковре, по которому ползает черепашка с вмонтированным в панцирь драгоценным камнем...

Я мечтал снять по этой повести фильм. Даже приступил к разработке сценария. На главные роли мною были «приглашены» — Елена Яковлевна Соловей (автор дневника Наталия Глебовна), а на роль ее возлюбленного Модеста — Армен Борисович Джигарханян.

По приезду в столицу, ничего не подозревающей о назревающих в стране переменах, я первым делом отправился в библиотеку на Гоголевском бульваре, чтобы прочесть «Огненного ангела» и «Алтарь победы» — на них

несколько раз ссылались авторы предисловия, они же составители сборника повестей и рассказов С. Гречишкин и А. Лавров. А потом Москва закружила меня в вихрях последней советской «пяtilетки», всем моим существом завладела не изданная тогда еще в СССР проза Владимира Набокова и так же не удостоенная прилавков советских книжных магазинов поэзия Иосифа Бродского.

И уж совсем под конец эпохи, буквально за год до развала СССР, появился на экранах фильм Василия Панина «Захочу - полюблю» по повести Брюсова «Последние страницы из дневника женщины». Стоит ли говорить, что фильм мне не понравился решительно - он показался чрезмерно аляповатым и больно плотским. Чего-чего, а плоти в малой прозе Валерия Брюсова не больше, чем в графике Обри Бердслея.

### **Обмеление Тон-Тин-Дона**

Древний мир вписан в круг океана, опоясывающего Землю - Азию, Европу, Африку. На примитивных картах, не передающих реальных соотношений расстояний, он напоминает букву Т: вертикальный столбец - Средиземное море, левая перекладина - Танаис (Дон), правая - Нил. Страбон упоминает: «К Европе примыкает Азия, соприкасаясь с ней вдоль реки Танаис». Древнейшие письменные свидетельства о территории России начинаются с рассказа об этой реке. Конец Российской империи и начало одной из величайших утопий человечества тоже связаны с этой рекой, о которой писал еще Геродот: «Восьмая река - Танаис, которая течет сверху, впадает в большое озеро, называемое Меотийским».

С древних времен на картах, не имеющих масштаба, эта река, названная одним из нобелевских лауреатов «Тихой», отмечается как важнейший структурный компонент в ориентации мира, определяемого древнегреческими географами как Ойкумена.

У древних римлян она - один из основных элементов мироописания «Круга земного». По Дону шла торговля с античными колониями в Крыму и на Таманском полуострове, а в начале I тысячелетия н. э. в районе нижнего течения реки находился путь, по которому

проходили орды гуннов и болгар, после ухода которых возникли поселения антов.

Широко известно, что когда-то Нижний и Средний Дон находились под властью хазар, что венгры и печенеги вытеснили славян на верховья древней реки и ее притоки, что в XI веке в районе Нижнего Дона находились кочевья половцев, а с XIII века он оказался под властью Золотой Орды. Энциклопедические справки обязательно напомним нам, что в XV веке на Дону возникли поселения вольных людей — казаков, а в XVI веке образовалось Донское казачье войско. Но мало кто знает, что земли донские и приазовские были когда-то землями Сима, любимого сына Ноя: «И на жребий Сима вышла середина земли, которую он должен был получить как наследие для своих сыновей и потомков вовек, от середины горы Рафу, где изливается вода из реки Тоны; и идет его наследие к западу через середину той реки, и идет, пока не подойдешь к водному бассейну, из которого выходит эта река, и река эта вытекает и изливает свою воду в море Миот, и идет эта река до великого моря. И все, что к югу от него, принадлежит Симу; и идет его наследие, пока не подойдешь к Карасо, т. е. до залива перешейка, который смотрит к югу. И идет его наследие к великому морю и выходит прямо, пока не подойдешь к западу перешейка, который смотрит к югу. Ибо это море называется египетским морским заливом. И оттуда направляется на юг к устью великого моря до берегов воды, и идет к Аравии в Офру, и идет, пока не достигнет воды потока Гигон, и на юг от воды Гигон, вдоль берега этой реки, и идет на юг, пока не подойдет к раю Едем, на юг от него и на восток от всей страны Едем [...]; и обращается на восток от него, и идет, так что подходит к востоку горы, которая называется Рафа, и спускается к берегу устья реки Тины».

Далее ангел, явившийся Моисею, рассказывает о строительстве башни в стране Синаар. Бог говорит, что не отступит от людей, сойдет с ангелами и смешает языки, «чтобы они не понимали друг друга и рассеялись в страны и народы», была названа страной Бабель (Вавилон). А еще ниже говорится, как Ханаан, сын Хама, увидел земли Либаноса и что они понравились ему, и он пошел не в страну своего наследия, а в земли Сима, на что недовольный Хам пенял ему, говорил, что проклят будет сын со всем своим потомством. Ханаан же ослушался отца. И сыны Ноя начали вести борьбу друг с другом.



Не с того ли все и началось; в какой степени можно доверять ветхозаветному апокрифу; в какие времена эта земля принадлежала Симу и его потомкам?

Сегодня историки культуры, теологи, исследователи древних манускриптов считают, что ключи к пониманию многих не то чтобы очень древних, даже средневековых текстов современным человеком безвозвратно утеряны, мы никогда не сможем понять всего, что кроется за написанным, мы вне образов и вооружены часто ложными ассоциативными рядами. Интересно насколько пристально можно обсуждать процитированный отрывок? Середина горы Рафу - это что, часть Рифейской (Гиперборейской) гряды, географическая локализация которой до сих пор до конца не прояснена? Сейчас, после открытия Аркаима, арийского города-невидимки, некоторые ученые склонны отводить Рифейским горам место на Урале, но тогда причем тут море Миот и река Тона? Откуда им быть на Урале? Как связаны арии с семито-хамитской группой и связаны ли вообще?

Если исходить из той же «Книги Юбилеев», иудейского апокрифа II века до новой эры, посвященной событиям, описанным в библейских книгах Бытие и Исход, то можно сказать, что восточная часть света Азия начинается за рекой Танаис (так греки называли Дон), которая впадает в Меотиду (Меотское море - Азовское море). Здесь же, к северу, располагались Рифейские (Уральские) горы. Составитель апокрифа приспособил библейские представления о мире к античной традиции и отдал восточный материк Азию Симу, которому дан был Восток в Библии.

Реку Дон называли то Тоной, то Тиной до относительно недавних времен, например, в книге «Истории о донских казаках», изданной в 1846 году, читаем: «В родословной Татарской истории о Козаках, живущих в стране, как Татары именуют, “Кипчацкой”, то есть на землях тех же самых, лежащих между рек Тин, или Танаис, и Бористен, ныне же именуемых “Доном и Днепром”, что когда Татарская сила начала упадать, то Козаки, видя, что россияне начали явно противиться Татарам, также напали на них всеми своими силами, а при сем случае поселились они на берегах реки Дона, где и ныне пребывают».

Однако попробуй с помощью этого свежесвежипеченного «ныне» отыскать того самого ветхозаветного землемера,

что когда-то победоносно всадил копье в плодоносный берег Восьмой реки. Реки забвения.

### От «Шинели» до жилета

Есть, есть у меня подозрение, что естественное, благородное своеобразие поэмы Иосифа Уткина «Повесть о рыжем Мотэле, господине инспекторе, раввине Исайе и комиссаре Блох» стало важной частью основания моей судьбы (только ли моей?): кто-то вышел из гоголевской «Шинели», а кто-то примерил в оттепельном Баку кишиневский жилет и остался в нем на долгие годы. И дело тут не только в том, что на Песах за праздничным столом я, по просьбе взрослых, читал отрывки из этой поэмы, которые до сих пор помню наизусть, но в той, данной Богом силе, которой обладает любая травинка, занятая своим произрастанием в бесприютном мире, или любое произведение, которому все равно, какой строй на дворе бушует - монархический, революционный, демократический или... комсомольско-олигархический. «Первый случай в Кишиневе» стал моим «первым случаем в Баку», призвавшим меня и к сохранению своеобразия, и к тому обширному набору чувств, которые я называю «еврейскими». В масштабах «своеобразия» и «еврейских» комплексов чувств, как мне кажется, следует рассматривать и Иосифа Уткина, чье небольшое поэтическое наследие сегодня предмет для наслаждения немногочисленных ценителей.

Объединяющей чертой таких поэтов, как Тихонов, Уткин, Багрицкий, Светлов, - разумеется, кроме официального признания их творчества в СССР, - было то обстоятельство, что все они, пусть каждый по-своему, стали заложниками строя с грифом «советский», на который безоглядно тратили молодость. Не с этим ли обстоятельством связан уход Уткина в так называемую гражданскую лирику с ее лукавой простотой и народными обертонами? Почему Уткину, человеку с железным характером, с поэтическим вкусом, в 1930-х годах не хватило сил вообще покинуть красный мейнстрим, уйти в литературное подполье, как это сделали, скажем, Мандельштам с Ахматовой?

После распада СССР хорошим тоном стало отрицание художественной ценности советского культурного

мейнстрима. Можно было бы сказать: «И поделом, товарищи», но это в ряде случаев было бы не только не этично, но и преступно.

Путешествуя по Интернету с уткинской темой, я обнаружил, что поэт сегодня не забыт, его цитирует с высокой частотностью даже наша молодежь, которая не должна была бы увлекаться им, правда, цитирует все больше из 1930-х — начала 1940-х, что говорит в какой-то степени и о падении поэтического вкуса, и о том, что сегодня «комсомольская лирика» оказалась востребованной: время, мол, такое, в чем-то схожее, - всемирная история циклична, все от века - единообразно.

В предвоенные годы Уткин вращался в «высшем свете» столицы с утвердившейся репутацией классического бонвивана. За ним даже закрепился образ этакого салонного поэта. Теперь, напротив, Уткина считают поэтом высоконравственным с «советским почерком». Оно понятно: «плачут о времени большевиков и “фронтowych поэтов”», но как же «Мотэле»?

«Повесть о рыжем Мотэле» - как к ней ни относиться, - не уступает многим шедеврам советской литературы, хотя некоторые исследователи 1920–1930-х годов полагают, что вышла она из произведений Бялика, Жаботинского, Маяковского и потому-де, мол, «вторична, не оригинальна».

Возможно, Уткин времен «Мотэле» и был «советским преемником» Жаботинского, и его «Повесть о рыжем Мотэле» в какой-то степени появилась благодаря «Чужбине», вышла из многослойных языковых пластов знаменитой пьесы, возможно, что и известная поэма Бялика сыграла не меньшую роль, только что с того? Повесть Уткина оригинальна, самобытна, поскольку не отвечает на вопросы Жаботинского и Бялика, но исключительно на свои. А то, что Уткин «угадал» с ними, то, что в итоге они оказались вопросами не только его, так это свойство дара - угадывать, прозревать.

«Повесть о рыжем Мотэле» для религиозного еврея, да и не только для религиозного, - произведение в значительной степени кошунственное. В то же время, как оказалось в ходе моего спонтанного расследования, «Мотэле» Уткина многим помог ощутить себя евреями. Он

такой — «Экходус» до «Экходуса»<sup>1</sup>. Возможно, в споре с Богом, в споре со своим народом острее ощущаешь Его присутствие и свое - в своем народе?

### **Налево стулья, направо — тельцы**

В «Издательстве Ивана Лимбаха» вышло третье, дополненное издание комментариев Юрия Щеглова к диалогии Ильфа и Петрова. Юрий Константинович выхода в свет этого издания не дождался, скончался 6 апреля 2009 года. Труд свой определил как «Спутник читателя». Понятно, многие слои культовой диалогии сегодня уже не воспринимаются или воспринимаются иначе. То, что «Двенадцати стульям» и «Золотому теленку» понадобятся «караванщики-проводники», Щеглов не сомневался: при жизни оказывал содействие тем, кто исследовал творческую лабораторию Ильфа и Петрова. Но существует и противоположное мнение. В этой связи вспоминается борхесовский рассказ «Поиски Аверроэса». Комментируя «Поэтику» Аристотеля, Аверроэс наткнулся на два слова, значения которых не знал: «трагедия» и «комедия». Опустить их было невозможно — ими был испещрен текст «Поэтики». Решив, что мы часто ищем то, что лежит рядом, комментатор отложил на время перо. К рукописи вернулся, когда муэдзины призывали на молитву первого луча. Твердым каллиграфическим почерком вывел: «Аристу (Аристотель) именует трагедией панегирики и комедией — сатиры и проклятия».

Не повторим ли мы в той или иной степени историю борхесовского Аверроэса, комментируя бессмертную диалогию? Но с другой стороны, кто объяснит сегодняшним пешеходам, зачем вчерашним нужно было, переходя улицу, смотреть «налево» и «направо», что такое «южнорусская школа» и какова была ее связь с «загадочной еврейской душой».

Я тут на стороне комментаторов. И дело тут не только в «загадочной еврейской душе», не мыслящей себя без комментариев. Тот, кто смеется, должен знать, над чем смеется, иначе «поиски Аверроэса» обернутся поисками

---

<sup>1</sup> Здесь имеется в виду роман Леона Маркуса Юриса (1924–2003) «Exodus» («Исход»), ставший одной из главных книг советских отказников-сионистов.

самого Аверроэса. И тогда уже не важно будет, что за графиня «бежала пруду» и чьи апельсины надо «грузить бочках».

### Куда улетают утки

Я открывал его для себя дважды. За вторым, «зимним», открытием (скамеечка в Филевском парке, кто-то, похожий на меня, поедая «небезопасные» для «Ловца во ржи» беляши, оказывается в Пэнси, закрытой школе в Эгерстауне, штат Пенсильвания) скрывалось первое, летнее, - «надцатью» годами ранее объезжаю крутой двухколесный велик, дядя, согнувшись, бежит за моей «целостью и сохранностью» по тенистой «аэропортовской» аллее.

— Да разве ж так учат?! — останавливает его пожилая дама «с папиросными манерами».

Теперь уже она бежит за моим седлом... Мгновение - и я понимаю, что меня обманули: пожилая дама и мой дядя Марик - уже в дымке летнего вечера. Все, что остается мне, - крутить педали. Держать равновесие.

— Знаешь, кто это? — спрашивает Марик, когда мы остаемся одни. — Райт-Ковалева. Переводчик Сэлинджера.

Двенадцать лет прошло с той поры, как ушел от нас Сэлинджер, а планетарный отряд из ныне здравствующих словно бы и не заметил этой потери. Это с одной стороны. С другой - двенадцать лет без Сэлинджера показали, что образы, созданные им, не стерлись и прочно вошли не только в американское сознание. И все-таки в России он остается автором романа/повести «Над пропастью во ржи», с его пронзительной темой перехода-взростления. Сэлинджер таинственных «Девяти рассказов», древнеиндийских метафор сегодня мало кем воспринимается всерьез. «Куда улетают утки?» - знаменитый дзенский коан, вопрос, задаваемый учителем ученику, - естественно, не для того, чтобы получить ответ. Как и вопросы, заданные нам Сэлинджером, не из тех, на которые отвечают.

Я мог бы назвать его своим учителем, если бы у сотен тысяч людей не было бы того же права, что и у меня. Я мог бы называть его «мой гуру», если бы в нашей многоэтажке окнами на все четыре стороны у кого-то можно было бы чему-то научиться.

Мы учимся, пока молимся, пока милосерствуем «над пропастью», пока читаем и чтим прочитанное или когда нам есть что сказать, но мы почему-то молчим, как десятилетия «молчал» Сэлинджер.

**P.S.** Как-то я спросил Глеба Шульпякова, что он думает по поводу уток, куда же они все-таки улетают? Его ответ сначала смутил меня, а потом порадовал:

— Никуда они не улетают, остаются зимовать в Центральном парке на канализационных люках.

### **Король и нищий** *К 120-летию Юрия Олеши*

*«Любовь чудесна и нелепа — непонятное дело — посещает всякие души. Но людей нелепых и чудесных не так уж много; да и тот, кто бывает таким, бывает лишь недолго, в ранней юности. А потом начинает принимать все как оно есть и теряет себя».*

*Хуан Карлос Оннети. «Бездна»*

Сворачивая с Моховой на Тверскую, всегда немного притормаживаю автомобиль, чтобы успеть заглянуть в большие дымчатые стекла первого этажа гостиницы «Националь», а если повезет — подзастрять на светофоре в крайнем левом ряду. Но это мне редко удается. Должен выстроиться определенной длины автомобильный хвост, да и, если паче чаяния красный загорится, у него тут счет короткий, кремлевский, без задержек. Автомобильные хвосты в этом месте никому не нужны, их легко обрубают.

Как бы там ни было, а я все равно успеваю подумать о связи «Бездны» Оннети и «Зависти» Олеши, а еще взглянуть в окно, за которым любил сживать «Князь „Националя“», «Король метафор», «Великий мастер неоконченных вещей» и «Величайший из неудачников» после Колумба — Юрий Олеша.

В 1927 году в журнале «Красная новь» он опубликовал свой первый и единственный роман — «Зависть», который сразу же стал литературной сенсацией и принес Олеше немеркнущую славу.

Кто-то «Зависть» хвалил, кто-то считал надуманной, однако маленький, на сто страниц роман никого не оставил равнодушным. И хотя Олешей были написаны еще и «Три толстяка», и «Смерть Занда», и около трех десятков рассказов, среди них великолепные «Лиомпа», «Любовь»,

«Альдебаран», — «Зависть» так и осталась его *opus magnum*.

Я заглядываю в окно «Националя». Чаще всего тот самый столик в заведении, которое нынче шикарно именуется «Гранд-кафе Dr. Живаго» — по-видимому, литературной подоплеки сему гранд-кафе с ориентацией на холеного иностранца не избежать и в будущем зоне — оказывается пустым. Никто не бросит ответного взгляда из-за стекла, но даже если за столиком кто-то вдруг и окажется, вряд ли богатенький интурист догадается, что занял место того самого Юрия Карловича Олеша, писавшего прозу, похожую на картины Пикассо голубого периода.

Когда-то столики этого кафе стояли и по другую сторону стекол, на улице. Сюда любила заглядывать богема, Модесты Занды всех мастей со своим сопровождением. Еще бы! Ведь отсюда, можно сказать, для многих начиналась Родина.

Олеша появлялся за столиком у окна ежедневно, говорят, к часу или к двум уже прибывал на почетное место в выдавшем виды вельветовом пиджаке с поникшими плечами. Крал в сторонку блокнот, папиросы, спички и заказывал коньяку. А, заказав, мог сидеть допоздна, ведь там где чисто, — всегда светло.

Его присутствие в кафе гостиницы «Националь» напоминало наше нынешнее присутствие в социальных сетях — здесь он становился публичным, здесь его разглядывали в упор, как в Гранаде Лорку перед расстрелом. Видели, что он не только пьет кофе или коньяк, или раскручивает известных знакомцев на то и другое, не только сидит в глубокой задумчивости, наблюдая за ползущей к мавзолею очередью оболваненных соотечественников, — но еще и что-то пишет. Вряд ли поденщину. Так редко к поденщине не тянутся: от того, что тебя кормит, надолго отрываться нельзя. Кто знает, беспокоились ли, глядя на него, коллеги-конкуренты, лауреаты госпремий, герои социалистического труда, славные мужи великой эпохи, слегка примятые Фадеевым и разглаженные Фединым писатели разных пристрастий, литературных школ и направлений: может, он, того и гляди, отыграется за годы молчания чем-нибудь посильнее «Зависти»?! Что тогда напишет тов. Полонский здесь, а г-н Адамович там? Опять прокомпостируют Олеше билет в Вечность?

Еще одной «Зависти» боялись все. Даже Шкловский: открыть безнаказанно «Гамбургский счет» можно лишь однажды. Еще одной «Зависти» боялся и сам Олеша. Повидимому, не был готов ко всему, что за нею последует. Чувствовал, что не хватит сил пережить славу, о которой так много писал, которую звал и тут же отсылал назад, точно та служила ему лакеем. Понимал, что одна слава не приходит. Она приходит, теребя душу и требуя жертв. Она приходит с подхалимами, стукачами и завистниками, готовыми отправить тебя туда, откуда нет возврата. Уже нет.

А ему так нужна была третья вещь, чтобы расставить все по местам, а главное — доказать всем, что «Зависть» и «Три толстяка» неслучайно вышли из-под его пера, что он — Юрий Олеша, настоящий большой писатель. Просто дыхание у него другое... хоть и одесское, — но не катаевское. Как говорили о нем, на тромбоне Олеша не мог, он мог только на флейте.

Однако нового произведения, равного по силе «Зависти» и «Трем толстякам», так и не будет. Вместо него после смерти Олеша соберут под руководством Виктора Шкловского «комбинаторный роман» и назовут его «Ни дня без строчки». И книга эта станет мостиком в новое время. Однако, та ли эта самая книга, о которой мечтал Юрий Карлович и которой так боялись все вокруг?

У читателей и издателей есть одна общая, можно сказать, фамильная черта — каждый год они ждут от своего писателя очередного шедевра. Ждут, как от футболиста гола, как от эстрадной певички — шлягера, а от телешоумена — скандала «ребром под кадык». Их можно понять. Но что же делать писателю, который желает быть собой, собой и только, до конца? Жизнь-то одна, напишешь больше положенного — обесценишь то, что было написано прежде. Олеша это прекрасно понимал, но, понимая, тем не менее, пытался перехитрить самого себя. И, часами просиживая в «Национале», почти что был у цели. Не рассчитал малость самую — смену эпох. Менять себя, писать иначе было уже поздно.

А вот чего не знал «Король метафор» и те, кто проставлялся в «Национале», что «Зависти», «Трем толстяков» и нескольких рассказов окажется вполне достаточно, чтобы остаться в мировой литературе до конца дней нашей цивилизации. Потому что у нее, у цивилизации,



счет на книги совсем иной, не тот, что на светофоре у поворота с Моховой на Тверскую.

### «Все мы вышли из Джойса...»

Вспоминаю, как усилиями поэта Максима Амелина оказался в компактной группе литераторов и переводчиков, возглавляемой Екатериной Юрьевной Гениевой, историком литературы, специалистом по творчеству Джеймса Джойса и директором Библиотеки иностранной литературы.

Мое знакомство с ней состоялось где-то на высоте десяти тысяч метров в самолете, направлявшемся во Франкфурт-на-Майне. Максим спросил, знаком ли я с Гениевой, услышав мой ответ, сказал:

— Пошли!.. — подвел меня к ней и познакомил.

Кажется, мы даже немного выпили за наше знакомство.

Поездка во многом оказалась памятной. По крайней мере, я часто ее вспоминаю, в особенности один момент, из-за которого, как мне кажется, я и оказался в составе нашего «посольства». По окончании моего выступления в Городской библиотеке Ганновера, где я читал отрывки из «Фрау Шрам», Гениева подошла ко мне со словами:

— Вас уже переводили?

— Нет.

— И не скоро будут, — обнадежила Екатерина Юрьевна.

— Почему? — не понял я.

— Вы вышли из Джойса...

— Тогда, скорее уж из Хемингуэя и Генри Миллера... — я думал, что удачно пошутил.

— И ваши Хемингуэй с Миллером тоже вышли из Джойса, — и добавила с заминкой, как если бы мы говорили об изгнании из рая:

— Все мы вышли из Джойса.

Большую часть своей жизни Джеймс Августин Алоизиус Джойс (1882–1941) прожил в изгнании. Не будет преувеличением сказать, что он возвеличил свое изгнание ровно настолько, насколько возвеличил оставленный им Дублин, покинутый остров. В случае с Джойсом слово «изгнание» следует писать с прописной буквы, как слово Бог. Изгнание по Джойсу - страна, не имеющая границ, все языки которой спаяны в единое целое. В Изгнании растет художник. Джойс понял это раньше всех остальных. Очень может быть, что это осознание окончательно пришло к нему в башне Мартелло, где Джойсу суждено будет прозреть в

один прекрасный момент, когда его бесшабашный дружок Гогарти решит забавы ради пострелять из револьвера по кастрюлям и сковородкам, висевшим чуть повыше головы Джойса... Не просто так, наверное, великий «Улисс» открывается сценой в Башне - слово «башня» у Джойса тоже следует писать с прописной.

Далее - взаимоотношения художника и Творца. Особые для Джойса. Для него в диалоге с Богом падать ниц - необязательно. Именно поэтому Джойс не падает на колени, когда его просит об этом умирающая мать. «Седая нежная мать», мать - как море, в которое вглядываешься с высоты Башни. «Талатта! Таллатата!» Любая точка отсчета, любое начало пути — это провинция, без которой нет Изгнания. (Он рано понял, что для того, чтобы пойти своей дорогой, надо остаться одному.) Художник вытравливает из себя провинциальность с каждым новым произведением. И потому слово «провинциальность», как и слова Изгнание и Башня, следует тоже писать с большой буквы. Так же, как Мастерство, составляющее едва ли не единственный смысл существования художника.

Вспомним, как Стивен Дедалус выдвигает свой знаменитый тезис - молчание, изгнание, мастерство - ставший на многие годы жизненной программой самого Джойса: «Я не боюсь одиночества, не боюсь быть отвергнутым или расстаться с тем, с чем должен расстаться. И я не боюсь совершить ошибку, даже большую ошибку, - длиною в жизнь, а может быть такую же длинную, как вечность... Я рискну...».

Расставшись с Провинцией, где он не встал на колени, как это сделали другие, Джойс принимает главное условие: назад возврата нет, и тем самым обеспечивает себя в избытке столь необходимыми для «рискованного» творчества грустью и тоской. Теперь эти две парки будут сопровождать Джойса во всю его жизнь. В Цюрихе, Пуле, Триесте, Париже, Риме... Их не разгонят даже знаменитые меценатки Харриет Шоу-Уивер и Эдит МакКормик, на деньги которых Джойс будет существовать. Точно и тонко, с частотой падающего на черную брусчатку снега передал эти чувства Михаил Шишкин в своем эссе «Больше, чем Джойс»:

*«С каждым днем мировой войны „Поминки по Финнегану“, главный труд его жизни, становится все ненужнее. Что ж, он не первый писатель, потративший себя на писание никому не нужных книг, и не последний. И с каждым днем все сильнее боли*

*в желудке, он не может ни есть, ни спать - принимает обезболивающее, снотворное, пьет - ничего не помогает.*

*Он боится собак. Когда-то в детстве на него набросилась собака и испугала навсегда. Он бродит по полям с карманами, набитыми камнями. Он швыряет камни в лающую пустоту».* (Михаил Шишкин, «Больше чем Джойс»)

В конце своей жизни Джойс, у которого с детства были проблемы с глазами, практически ослепнет, и судьба, не иначе как шутки ради, пошлет новоиспеченному Гомеру в ученики, секретари и конфидененты Сэмюэля Беккета, у которого были большие проблемы со слухом. И почти слепой будет надиктовывать почти глухому поминки-по-какому-то-там-Финнегану или даже Финнеганам... Роман, который, по мнению многих, невозможно перевести, поскольку и прочесть-то его задача не из простых.

*«Его дорога лежит через языки, созданные для непонимания, чтобы не дать людям построить башню до неба. В „Улиссе“ ирландец отобрал язык у англичан. В „Поминках по Финнегану“ — у всего человечества, чтобы соединить наречия обратно. Этот текст — крепкий настой из 150 живых и мертвых языков».* (Михаил Шишкин, «Больше чем Джойс»)

Но и «Улисса» читать не так-то просто, и лучше всего воспользоваться комментариями Сергея Хоружего, а владеющим английским языком обратить внимание на «Блумсдей» Гарри Бламайерса, «Руководство для читателей по Джеймсу Джойсу» Уильяма Йорка Тиндалла и другие книги, дающие путеводные нити.

Кто только из молодых писателей не искал с ним встречи: и Эрнест Хемингуэй, и Уильям Фолкнер, и Фрэнсис Скотт Фицджеральд, и даже Всеволод Вишневский. С кем только Джойса не сравнивали, и кто только о нем не писал - от Вирджинии Вулф до наших Евгения Замятина, Алексея Ремизова, Анны Ахматовой. А вот, к примеру, что говорил об «Улиссе» Хорхе Луис Борхес: «Среди рассказов, которых я не написал и, видимо, не напишу (хотя они на свой странный и зачаточный лад как-то оправдывают мое существование), есть восемь-десять страничек, многословный черновик, который носит титул „Фунес, чудо памяти“, а другие, более сжатые версии — попросту „Иренео Фунес“. Можно увидеть в загадочном бедняге из моего рассказа зародыш сверхчеловека, этакого маленького Заратустру из пригорода, но одно бесспорно: он чудовищен. Я вспомнил о нем здесь лишь потому, что прочесть, не отрываясь, все четыреста тысяч слов

джойсовского „Улисса“ одно за другим под силу разве что подобным чудовищам».

Можно соглашаться с Бродским, говорившим, что для него Джойс — явление куда менее значительное, чем Марсель Пруст, Андрей Платонов или Роберт Музиль, можно не соглашаться, несомненно одно - именно Джойс определил развитие всей западной литературы XX века. К тому же, и это очень важно, он один из тех писателей, которые просто принуждают вести любой разговор о его творчестве от первого лица, сбросив все маски. Он учит нас вспоминать не только единственный день, запечатленный им в «Улиссе» во всех подробностях, но и каждый день своей жизни. И если Эзра Паунд прав, назвав «Улисс» отчетом эпического размаха о состоянии человеческого ума в XX веке, то следует признать, с отчетом этим наша память, увы, не справляется. И верную дорогу к изгнанию, которую открыл для нас Джойс, мы вечно теряем из виду, продолжая жить там, откуда нас гонят и гонят.

### **Черно-белое фотобниение**

*«Объектив — это кто-то в будущем, пристрастно разглядывающий твоё прошлое, чтобы окончательно убедиться в своём существовании».*

*М. Новогрудский*

Недавно наткнулся в семейном архиве на старинный билет — приглашение «почтить своим присутствием бракосочетание» моих прадедушки и прабабушки. Приглашают родители брачующихся. Со стороны Новогрудских - «комплект», со стороны Берешковских - только Сарра Берешковская: раввин Берешковский был против того, чтобы его дочь выходила за купца, пусть и преуспевающего. Семейное предание гласит, что раввин разгневался, когда его попросили хотя бы сфотографироваться на память: посчитал фотографию сатанинском промыслом. Потому-то и нет его на фотокартине родителей жениха и невесты, которая хранится у моего дяди - Марка Новогрудского. Но ведь в иудаизме как такового запрета на изображение нет, нельзя создавать статуи и маски, не разрешается изображать в какой бы то ни было форме Самого Бога и Его ангелов, а также создавать изваяния человеческой фигуры. И всего этого мой пращур не мог не знать, почему же он так отнесся

к фотографии? Обычная человеческая реакция на новое диво, дела семейные, а может, раввин чувствовал тогда то же, что и я теперь, вглядываясь в черно-белую метафору текучести жизни, примиряющую меня, временного созерцателя, с концом и началом вечного Ничто. И все это благодаря мастерам, которые вовеки останутся для нас незримыми ловцами Вечности. Не эти ли новые ловцы вызвали негодование моего пращура своим посягательством на высокое?

Помню с детства волшебный процесс проявления фотографий, когда Время подбиралось, струилось к Вечности под красный свет фонаря, а потом сушка, прокатывание, резка... А сколько снимков мой дядя фотограф отправлял в мусорное ведро!.. То, что современные мастера сегодня избавлены от этой якобы рутины, мне кажется, влияет на качество фотографий, на духовную составляющую господина фотографа.

Первоклассные фотохудожники и потрясающие снимки были с момента зарождения фотографии, но мне кажется, пик искусства фотографии пал на 60-е годы прошлого столетия, о чем свидетельствуют почти все фотографические и просто иллюстрированные журналы. Но, может быть, моя точка зрения лишь заблуждение малосведущего?

Сегодняшние масс-медиа покупают, а значит, поддерживают не столько саму фотографию, сколько подкрепленное ею необходимое содержание. Два дня назад я купил в ТЦ один известный гламурный журнал, чтобы иметь представление о новых веяниях: много фотографий, отличная полиграфия, а смотреть-то, в сущности, не на что. Из фотографий современных мастеров исчезла глубина, метафоричность и стильность, а животрепещущая, граничащая с бессмертием черно-белая жизнь ушла в подполье.

В древности люди придавали огромное значение памяти, справедливо полагая, что именно она помогает человеку просеять мелкое, наносное, вернуться к главному в своей жизни, вновь пережить его, тем самым развивая в себе духовное начало. Искусство фотографии позволяет нам восстановить и упорядочить события и впечатления связанные не только со своим прошлым, но и с прошлым многих поколений людей. Великое подспорье к обретению знания, существовавшего до нас, но фотография, несомненно, несет в себе и что-то опасное: занимая толику

божественного света, она выхватывает из прошлого, а значит, из Вечности, то, чему положено веками оставаться незримым. Запечатлевая миг, который никогда не повторится, фотография говорит нам о конечности материи и нашем умирании, не отсюда ли грусть, сопутствующая каждой настоящей фотографии? *«Чем незримей вещь, тем оно верней, / что она когда-то существовала / на земле, и тем больше она — везде»*. Так писал Иосиф Бродский, возможно, так же думал и мой пращур.

## Не ходите, дети, в Африку гулять...

*(Из книги "Записки пресс-секретаря Сохнута")*

В начале октября 2012 года главный пресс-секретарь Сохнута Офер Лефлер спросил меня:

- Что ты предпочитаешь: полететь в Тбилиси, а оттуда в Будапешт вместе с группой, снимающей для нас специальный выпуск программы «Афтер шеф», или в Эфиопию?

- Конечно, в Эфиопию! - воскликнул я.

Так я стал главой делегации журналистов, которая должна была на месте ознакомиться с тем, как Сохнут готовит фалашмура к репатриации, и прилететь в Израиль вместе с целым самолётом, который Сохнут зафрахтовал для перевозки олим. До тех пор их переправляли небольшими партиями, по 30–40 человек, регулярными рейсами эфиопской авиакомпании. Но в честь очередного заседания Попечительского совета, руководство Сохнута решило устроить спецоперацию: пригнать целый самолет с 240 репатриантами на борту и наглядно продемонстрировать членам совета, на что тратятся их денежки. Руководство Сохнута хотело не ударить в грязь лицом перед спонсорами и, к тому же, громко провозгласить, что этим рейсом оно начинает последний этап репатриации фалашмура, которому дали название «Канфей Йона» («Крылья Ионы»).

Собственно говоря, в октябре 2012 года все евреи «Бейта Исраэль» - уже давно были в Израиле. Сохнут выскребал остатки этой общины - тех, кто когда-то отошёл от еврейства, но теперь возжелал вернуться в лоно своего народа. После того, как 11 ноября 2010 года правительство Израиля приняло решение завершить алию фалашмура, и поручило это Сохнуту, к октябрю 2012 репатриировались уже 4600 человек. В Гондаре и окрестностях оставалось ещё 1500 имеющих право на репатриацию, которые ожидали выезда. Кроме того, часть из 1900 человек, которые получили отказ от сотрудников израильского МВД, проводивших проверки, - подали апелляции и надеялись на разрешение. Таким образом, речь шла о двух тысячах

человек максимум. Поэтому главный посланник Сохнута в Эфиопии Ашер Сиум не устал повторять на каждом углу: «Я приложу все усилия, чтобы в течение года отправить всех в Израиль, спустить флаг над нашим лагерем в Гондаре, и тем самым поставить точку в эпопее возвращения эфиопских евреев на родину».

В среде русскоговорящих израильтян отношение к эфиопским евреям было, мягко говоря, отрицательным. За месяц до поездки у меня состоялась встреча в русской библиотеке Яффо. Меня пригласили как писателя, автора разных книг: про отказников, про Кнессет, про израильских премьер-министров. И я думал, что разговор пойдёт, конечно же, о премьерах, о всяких интересных бытовых деталях поездок и встреч с ними, о которых меня всегда с удовольствием расспрашивала публика. Но не тут-то было! Узнав, что я работаю пресс-секретарем Сохнута, все вопросы мои собеседники сосредоточили только на одной теме: «Какого чёрта Сохнут везёт из Африки этих чёрных гоев? И почему им дают всё, в том числе практически даровые квартиры, а мы не получаем ничего?»

Когда мы с Офером обсуждали состав журналистской группы, которую я должен был сопровождать в Гондар и Адисс-Абебу, я рассказал ему про такое отношение русской публики и предложил: «Давай именно поэтому возьмем с собой в Эфиопию группу Девятого телеканала. Не сомневаюсь, они снимут объективный репортаж. Может, это как-то повлияет на их зрителей?» Офер согласился, и я предложил поездку Лёне Блехману, гендиректору «Девятки». В результате на «Девятке» появился сперва короткий, минуты на три, репортаж о церемонии встречи олим в аэропорту, а затем тринадцатиминутная статья, смахивавшая больше на мини-документальный фильм.

На моё приглашение прокатиться в Эфиопию Лёня откликнулся сразу и попросил два места - для себя и для оператора. Таким образом, наша группа представляла собой внушительный набор ведущих израильских СМИ: Бени Тейтельбаум от радиостанции «Решет Бет», Йори Алон от «Израэль ха-йом», Ави Хофман от «Джерузалем пост», Ицхак Гильдерстайм от «Магор Ришон», два человека от «Девятки». И два оператора - видео и «стиллс», которые должны были поставить фото и видеоматериалы всем остальным СМИ.

По дороге обратно, из Адисс-Абебы в Израиль, Лёня предложил мне написать статью, чтобы по приезде он, как



главный редактор сайта «Зман.ком», тут же мог повесить её на сайте .

- У меня нет с собой компьютера, - расстроено ответил я.

- Зато у меня есть, - сказал Лёня. - Три часа его батарейка выдержит, так что можешь спокойно писать в самолёте.

Так я и сделал. Рейс был ранним - мы вылетели в семь утра. Поэтому, помолвившись сразу после взлёта, я взял Лёнин лэптоп и начал писать, пользуясь своими заметками, сделанными во время поездки. Интересного материала оказалось столько, что я просидел над компьютером все четыре часа полета, - и всё же не успел закончить статью. Поэтому мы с Лёней договорились так: он сразу же перешлёт на мою электронную почту то, что я успел написать, и я постараюсь закончить статью - если не к вечеру, то к следующему утру.

Так я и сделал. Зная, что думает русская публика про "эфиопов", я намеренно пошёл на расширение статьи и включил в неё историю евреев Эфиопии. Я был уверен, что подавляющее большинство читателей не имеет понятия об этой истории. Я был также уверен, что мой материал вызовет массу гневных откликов. Но я всё же надеялся, что, прочитав его, кое-кто немного задумается .

Статья получилась длинной - около 16 тысяч знаков, но, на мой взгляд, интересной. И не только на мой взгляд. Когда на следующее утро я отправил её Блехману, тот тут же выставил её на сайте, а мне отправил мейл: «Статья очень информативная и очень актуальная».

Не знаю, сколько у этой статьи было просмотров, но уже к вечеру набралось больше ста гневных откликов. Уж как только там меня не называли; самое мягкое определение – «предатель, продавший свою душу чёрным». Авторы откликов нападали и на Сохнут, занимающийся привозом «чёрных бездельников».

Хотя я всё ещё чувствовал себя плохо, вечером мне пришлось поехать в Иерусалим. Плохо я себя чувствовал из-за трёх прививок, которые мне вкатал перед отъездом врач в специальной клинике. Он прописал ещё и таблетки от малярии, приём которых надлежало начать за сутки до отъезда в Эфиопию и закончить спустя неделю после возвращения.

На моё счастье, вечером того дня, когда я сделал прививки, в канцелярии Натана Щаранского состоялось его

интервью Лёне Блехману для фильма «20 лет алии». Снимали долго, больше часа, а когда собирали аппаратуру, мы с Лёней, естественно, заговорили о предстоящей поездке, и он меня предупредил: не вздумай принимать таблетки от малярии.

- Почему? - удивился я. - Мне же их врач прописал.

- И мне прописал. Но у меня есть приятели-врачи, которые сказали, что у многих от этих таблеток начинаются галлюцинации, и вообще чёрт-те что. Они не только помогают от малярии, но и почему-то влияют на нервную систему.

Конечно, после такого предупреждения эти таблетки я выбросил в мусорную корзину. Но мне хватило и трёх прививок. За несколько часов до вылета в Адисс-Абебу я почувствовал себя нехорошо, но приписал это предотъездному мандражу. Когда мне стало совсем плохо, я померил температуру, - и был немало удивлен, когда на электронном термометре высветилось «38 градусов». Деваться уже было некуда, у меня были все паспорта журналистов с визами, и поэтому я, напившись жаропонижающего, отправился в аэропорт.

Практически всё время пребывания в Эфиопии я жил от таблетки к таблетке, сбивая постоянно поднимавшуюся температуру. Только на обратном пути, в Аддис-Абебе, температура упала. Но ещё и в Израиле я чувствовал себя не в своей тарелке.

А не ехать в тот вечер в Иерусалим было невозможно. Сарит, глава канцелярии Натана Щаранского, праздновала 13-летие своего старшего сына, и я просто не имел права не присутствовать. С Сарит у меня сложились очень тёплые отношения, она всем всегда заявляла, что «вот этого человека я люблю». Не появиться на бар-мицве - значило обидеть её до глубины души.

Бар-мицва проходила в банкетном зале кибуца Рамат Рахель. Я хорошо его знал, поскольку там в своё время состоялись свадьбы дочерей Натана. И первым, кого я увидел, войдя в зал, была Авиталь Щаранская. Она с радостью подошла ко мне, поскольку практически ни с кем из гостей не была знакома.

Разговор начался с того, что Авиталь посетовала: Натан за границей, во Франции, куда отправился вместе с Биби, и ей пришлось поехать сюда одной. Потом мы перешли - как же иначе? - на политику, и к делам моим скорбным. Я рассказал, что вчера вернулся из Эфиопии, написал статью

про алию фалашмура, и на меня уже успели за полдня накатить пять бочек арестантов.

- Перешлите мне, пожалуйста, вашу статью, - сказала Авиталь, - я с удовольствием её прочитаю.

Вернувшись домой, я отправил статью на домашний адрес Натана и забыл об этом.

Через два дня Натан Щаранский вернулся из поездки в Тулузу, где состоялась церемония поминовения погибших во время теракта в еврейской школе. В этой церемонии принимали участие и Нетаниягу, и президент Франции Олланд. Я организовал интервью с Натаном на радио РЭКА. Дело было в пятницу, и я, позвонив ему на мобильный телефон рано утром, сообщил про интервью, про время, когда ему позвонят с радио, и собирался отключиться.

- Давид, минуточку,- остановил меня Натан. - Вот тут моя жена передает вам, что прочитала вашу статью про Эфиопию. Прекрасная статья; вам не следует обращать внимания на эти дурацкие постинги. Наоборот, вы можете этим только гордиться...

Привожу выдержки из этой статьи.

«Нередко мне приходится слышать заявления типа: “Зачем нужно везти сюда какое-то африканское племя?” или “Может, когда-то они и были евреями, но было это давным-давно, и никакой связи с еврейством у них уже не осталось”. Мнения эти базируются на абсолютной неинформированности, поэтому я позволю себе краткий экскурс в историю евреев Эфиопии.

Царица Савская вернулась из поездки в Иерусалим беременной от царя Соломона. Когда её сын Менелик подрос, он тоже отправился в Иерусалим, где был тепло принят отцом. Существует даже легенда, что, когда Савская уезжала домой, Соломон дал ей кольцо и сказал: «По этому кольцу я узнаю сына». Но кольцо не понадобилось - Менелик был хоть и темного цвета, но походил на отца как две капли воды. Соломон выделил для личной гвардии Менелика несколько сотен отборных воинов, которые, согласно легенде, и стали родоначальниками еврейства Эфиопии .

Община росла довольно быстро, и играла видную роль в политике и экономике страны. Поэтому, после распада Соломонова царства, именно в Эфиопию бежали несколько тысяч евреев из колена Дана.

До IV века нашей эры евреи жили в Эфиопии спокойно. Но в 325 году местный царь принял христианство и велел креститься всем своим поданным. Евреи сменить веру отказались и подняли бунт. А чтобы физически отделиться от христиан, они переселились в восточные районы страны. Бунт и переселение достигли цели – на какое-то время евреев оставили в покое, а царь даже дал им имя «Бейта Исраэль» («Дом Израиля»). Но только на время. Попытки любыми способами крестить евреев продолжались.

В 960 году, когда положение стало уж вовсе нестерпимым, евреи вновь подняли вооруженный мятеж. Возглавила его некая Иегудит, которую в еврейских источниках именуют также Эстер-царица. Мятеж так преуспел, что «Бейта Исраэль» получили не только религиозную, но и административную независимость, а Эстер-Иегудит превратилась в полновластную властительницу целого района. Восставшие убивали монахов и священников, жгли монастыри и церкви, и чуть было не искоренили христианство во всей Эфиопии. Мятеж привел к смене царской династии, и новые правители хорошо относились к тем, кому были обязаны своей властью. Но, как это уже не раз случалось в еврейской истории, довольно быстро хорошее отношение сменилось ненавистью, и в 1270 году еврейская автономия была полностью и очень жестоко аннулирована.

С XIV по XVII век евреям Эфиопии пришлось выдержать несколько очень решительных попыток властей заставить их отказаться от религии предков. Царь Исхак Первый был последовательным «жидомором» и придумал евреям новое название – фалаши, что в переводе означает «лишенные права на землю». Тем самым он хотел подчеркнуть статус евреев, как граждан второго сорта. Это название привилось, и с тех пор (с 1413 года) эфиопских евреев иначе и не называли. Прежним названием «Бейта Исраэль» продолжали называть себя исключительно сами евреи.

Веками «Бейта Исраэль» упорно сопротивлялись ассимиляции и крещению, но с середины XIX века в общине начало появляться все больше и больше тех, кто ради карьеры, привилегий, да и просто спокойной жизни стали принимать христианство. Они получили название фалашмура, то есть ассимилированные фалаши. По-русски: выкресты.

После разрушения Израиля и ухода народа в изгнание, связь с эфиопской общиной была надолго утрачена - уж

слишком далеко находилась Эфиопия от основных районов еврейской диаспоры. Хочу напомнить, что ещё даже в начале XX века попасть в Эфиопию было чрезвычайно сложно. Николай Гумилёв, написавший замечательные стихи об Эфиопии, добирался вместе с российской этнографической экспедицией из Петербурга в Адисс-Абебу больше девяти месяцев.

Спорадические контакты всё же существовали, о чём свидетельствует раввинское постановление Радбаза, одного из глав общины Египта в XVI веке. После опроса воинов-фалашей, попавших в плен к египтянам, Радбаз указал, что они являются потомками колена Дана.

В двадцатые годы прошлого века главный раввин Эрец Исраэль Симха ха-Коэн Кук написал знаменитое письмо, в котором постановил, что евреи Эфиопии являются настоящими евреями. На основании этого письма главный раввин Израиля Овадья Йосеф вынес в 1973 году галахическое постановление, содержащее аналогичное утверждение. На этом основании правительство Израиля и приняло решение о репатриации членов общины.

После операций «Моше» и «Шломо» практически вся «Бейта Исраэль» оказалась в Израиле. И вот теперь дело дошло до фалашмура.

"Да, они отошли от еврейства, - сказал мне Ашер Сиум, - Но сейчас они хотят вернуться. Так почему их надо отталкивать?" Тем более что ушли они не очень-то и далеко. Отношение эфиопских христиан к фалашмура очень напоминало отношение испанцев к марранам. Их не очень-то долюбливали, и считали пусть и христианами, но второго сорта. В свою семью истинные христиане фалашмура не допускали, поэтому выкресты женились в основном между собой. Что этнически сохранило их евреями.

Репатриация фалашмура началась в 1993 году, после решения израильского правительства разрешить им въезд на основании не Закона о Возвращении (не дающего права на репатриацию сменившим веру), а в качестве гуманитарной меры по воссоединению семей. До августа 2010 таким образом в Израиль въехала 31 тысяча человек.

А число желавших попасть в Израиль возросло. Побывав в Гондаре и посмотрев, как там живут люди, могу сказать: чтобы вырваться из этих несусветной нищеты и убогости, человек будет готов сделать всё, что угодно».

Дело осложнялось ещё и тем, что лагерями, в которых фалашмура проверяли и готовили к репатриации, заправляли частные американские организации, которые были заинтересованы в том, чтобы эти лагеря просуществовали как можно дольше. Поэтому свое решение о завершении репатриации фалашмура правительство Израиля обусловило полным переходом и лагеря, и всего процесса подготовки и алии под контроль Еврейского агентства.

Вот так в январе 2011 года Ашер Сиум в качестве посланника Сохнута прибыл в Гондар, в окрестностях которого проживала большая часть оставшихся в Эфиопии фалашмура. Он сам уроженец этих мест, в возрасте 13 лет вместе с семьей бежал в Судан, и в 1984 году добрался до Израиля. Служил в боевых частях, имеет вторую академическую степень. Свободно говорит на иврите, английском. И немного на русском. Азам языка его научили русскоязычные приятели, а чтобы лучше понять, что к чему, Ашер на три недели поехал в Москву, где знакомился с языком и культурой.

Приехав в Гондар, Ашер изменил всю систему проверки и подготовки к алии. Предыдущие руководители лагеря содержали 160 штатных сотрудников, получавших огромные зарплаты. Ашер сократил штат на 40 процентов, уволил всех учителей иврита, которыми являлись... местные эфиопы, прошедшие трехнедельные курсы. Но, самое главное: Ашер наладил ежемесячную раздачу тефа – злакового растения, из которого изготавливают инджеру - «эфиопский хлеб», базовый продукт рациона всех жителей страны. Семье, получившей разрешение на репатриацию, выдавалось 25 килограммов тефа в месяц на человека. Сто килограммов тефа стоили 75 долларов, а средняя зарплата в Эфиопии - 50 долларов. Но до неё в Гондаре дотягивали далеко не все. Получение тефа позволяло семье потенциального репатрианта достаточно сытно жить в Гондаре и спокойно готовиться к отъезду.

Мы попали на очередную раздачу тефа, и я видел, какой радостью светились глаза тех, кто выволакивал со двора офиса Сохнута тяжеленные мешки.

Улучшенное питание резко сказалось на состоянии здоровья потенциальных олим. По статистике сотрудников медпункта Сохнута, число обращений в медпункт существенно сократилось. Странного в этом, конечно же,

ничего нет – если человек не голодает, то он меньше болеет.

Условия, в которых фалашмура ожидали репатриации, по нашим понятиям, просто ужасные. Ашер привез нас в семью, которая через день должна была, вместе с группой олим, отправиться в Израиль. В комнатке размером не более 10 квадратных метров проживали семь человек. Стены комнатки были слеплены из грязи, а крышей служил пластиковый тент. Окна, электричество, вода, туалет отсутствовали. Еду готовили прямо перед входом, на костре, как, наверное, и сто, и двести, и триста лет назад. Правда - спасибо Сохнуту - лепешек из тефа было от пуза.

Когда я выразил Ашеру свое удивление по поводу того, как Сохнут позволяет людям жить в таких жутких условиях, тот усмехнулся: «Дорогой, это считается замечательными условиями. Ты не видел, что такое в понятиях Гондара – жить плохо. За такую комнатку семья платит целых двадцать долларов – вот и посуди сам, хорошо это или плохо».

Европеец, впервые попавший в Гондар, испытывает самый настоящий культурный шок. В городе с населением в 250 тысяч человек асфальтированных дорог только две. Всё остальное – это наезженные колеи или... просто земля в своем первозданном виде. Поэтому сотрудники Сохнута возили нас по Гондару, имеющему, кстати, свой университет и аэродром, на джипах. Другие машины здесь проехать не могут.

Такого понятия, как дорожные знаки, в Гондаре не существует. О светофорах здесь даже не слышали. Тротуаров как таковых нет - люди идут по улицам и уворачиваются от проносящихся машин. Не существует в городе и уличного освещения. С заходом солнца он погружается в полнейшую тьму. Что не мешает толпам беззаботно фланировать по этим же улицам. Если убрать с них автомобили, то можно с уверенностью сказать, что вот так они выглядели и двести, и триста лет тому назад.

Потенциальных олим в Гондаре не пугали ни угрозы Ахмадинежада, ни хамасовские «кассамы». Все новые репатрианты, прибывшие спецрейсом, отправились в молодежную деревню Ибим, переоборудованную Сохнутом для их нужд. Деревня расположена неподалеку от Сдерота, то есть олим приехали прямо под ракетные обстрелы.

В Гондаре я присутствовал на инструктаже, который главы семейств получили перед отъездом. Им объясняли,

что такое сигнал ракетной тревоги, и как надо вести себя, услышав его.

Воспользовавшись своими связями в русскоязычной прессе, я сумел разместить свою статью ещё в газете «Новости недели» и журнале «Алеф». Кроме того, я выступил по радио РЭКА, а затем на интернетовском телеканале «Итон-ТВ». На этом канале зрители имели возможность публиковать свою реакцию, и спустя короткое время более двадцати разгневанных зрителей вновь проклинали Сохнут и всех тех, кто «везёт сюда эту чёрную шелупонь».

И всё же я считаю, что моя статья внесла пусть маленькую, но всё-таки лепту в изменение отношения «русской публики» к эфиопам. Ведь она, пожалуй, впервые в русскоязычной израильской прессе рассказала от имени очевидца, что происходит в знаменитом лагере в Гондаре; и, кроме того, в ней была приведена подробная история евреев Эфиопии, с которой не было знакомо подавляющее большинство русскоязычных израильтян.



## Воспоминания о Покотиловском млыне

*«Дай Бог памяти вспомнить работы мои...»*

*С. Гандлевский*

Что страшно раздражало кадровиков – так это наши трудовые книжки. На нас, «летунов» (и это было ещё самым безобидным нашим обозначением), смотрели как на людей, абсолютно не достойных доверия, а на наши трудовые книжки – как на гулящих девок. А что? – пухлые, и пробы, то бишь штампа, негде ставить. Моя ещё что! – хоть и пухлая и с нагулянным вкладышем, но всё же соблюдавшая - знавшая какую-то меру, а вот трудовая книжка моего приятеля ленинградского поэта Виталия Дмитриева – это была «Сага о Форсайтах» плюс «Великий Моурави» в одном лице. Причём, в отличие от меня – трудового патриота родной губернии и родных, так сказать, осин – трудовая книжка Виталия пестрела и иногородними записями. Я думаю, что дополнительным пунктом раздражения кадровиков (как правило, отставников) было то обстоятельство, что по нашим книжкам нас было невозможно, по научному говоря, атрибутировать, то есть, отнести к какой-нибудь чёткой социальной группе – и привыкшего к армейскому порядку или, скажем точнее, к армейской определённости отставника это не могло не бесить. Например, у меня соседствовали записи: рентгенолог высшей квалификации и вахтёр ресторана «Баку», а у Виталия спокойно уживались рядом работы лаборантом, журналистом и грузчиком винного магазина, где вторая считалась престижной, а третья денежной. Вот тут и разберись!

Случались работы довольно интересные. К таким относилась служба в фирме «Росаттракцион». Фирма эта устанавливала карусели и тому подобную лабуду в культурно отсталых углах российского Нечерноземья. Работа проходила по хорошо накатанной схеме. Собрав где-нибудь в Великих Луках или Вышнем Волочке свои качели-карусели, аттракционщики начинали ждать зарплату из метрополии, заполняя это время пьянством и посильным развратом. Деньги не шли. Тогда они начинали разбирать и

продавать по частям (идя от дорогого к дешёвому) только что собранное, и не останавливались до тех пор, пока от аттракциона ничего не оставалось. После чего с сознанием выполненного долга возвращались в родной город. В этом, по-видимому, и заключался главный аттракцион. Позже я узнал, что карусели и прочее были ширмой для других, более выгодных, но куда менее законных дел. Мой приятель, знакомый по работе с директором этой конторы – грузином ковбойского вида, однажды пытался пристроить меня к нему на работу. Мы сидели в кабинете, куда пара молодых людей с внешностью сегодняшних «братков» принесла водку и закуску, и мой приятель путано и почему-то велеречиво рекламировал мою скромную персону. Через некоторое время не только хозяин кабинета, но и я перестали что-либо понимать. «Достаточно, - сказал ковбой и повернулся ко мне. - Давай по делу. Ты чем спекулируешь книгами? иконами?» Поскольку я был далёк от подобных занятий, как декабрист от народа, то рассмеялся и предъявил обычную программу: пишу стихи, нужно время и т. д. «Ясно, - сказал босс, - будем думать». Интересно не то, что он меня на работу не взял, а то, как это аргументировал. «Понимаешь, - сказал он моему ходатаю, - его посадят за стихи, а у меня будут неприятности». Контора была криминальной, «светиться» ему резона не было. Особо я туда не рвался, потому и не огорчился – даже обрадовался редкому по тем временам пониманию специфики творческого труда в России.

Трудовую деятельность я начинал слесарем-сборщиком (спасибо Хрущёву с его «политехнизацией» среднего образования: второй разряд по этой специальности я вынес из школы) на маленьком заводе гаражного оборудования. Всё, чему я там научился, можно перечислить по пальцам одной руки: пить водку стаканами (до этого пил, но стопками, «залпом») и разговаривать (именно разговаривать, а не ругаться) матом. Я и до этого умел вставить в разговорную речь несколько «русских» слов – здесь же я научился вставлять обычные слова в сплошной мат. И, наконец, говорить «ты» всем, без различия пола и возраста. Позже всё это как-то рассосалось, хотя и сейчас могу принять на грудь стакан водки, да и из мата тоже кое-что помню.

Следующая работа была в рентгеновской лаборатории – об этом я уже писал. Могу только добавить, что после отсидки «суток» я был взят на заметку «первым отделом»

и, например, когда был большой пожар на заводе «Имени 22-го Съезда» (один из ленинградских гигантов), где полностью сгорел цех, мой начальник был вызван и спрошен на предмет моего алиби. За непростого человека держали в Союзе вашего покорного слугу!

А со сгоревшим цехом произошла привычная история: как не раз бывало: горел цех сенокосилок, а после пожара находили одни обгоревшие миномёты. Вот так. И работал бы я себе в рентген-лаборатории до старости, но случилось мне возомнить, что великая русская литература требует меня целиком, а посему уволился я из лаборатории и – после творческого отпуска в восемь месяцев (отложена была хитрым образом на него сумма в 560 рублей, из расчёта 70 рэ на месяц) – пошёл работать на работы временные, неквалифицированные и низкооплачиваемые, предвосхищавшие нынешнюю мою карьеру в Эрец Исраэль. Поскольку от должности начальника смены в лаборатории до сторожа была довольно большая дистанция, я преодолел её в два приёма, поработав некоторое время лифтёром и вахтёром. На престижной и выгодной должности вахтёра (не где-нибудь, а на служебном входе ресторана «Баку») я продержался только три (три!) дня. На четвёртый – вернувшийся из отпуска директор уволил меня сразу и без церемоний. Проступков я к тому времени совершить не успел – просто сей опытный торговый волк намётанным своим глазом сразу увидел, что место занимает не тот человек. Я его понимал (на этом месте можно было делать неплохие деньги - а я их не делал) и не возражал. Могу только добавить, что за эти три дня положенными мне бесплатными обедами я накормил трёх человек. Из которых один живёт нынче в Лондоне (Юрий Колкер – надо бы ему напомнить!), вторая – в США, а третья – в Бельгии. Учитывая то, что эти строки пишутся в Иерусалиме, думаю я сейчас: а не было ли в тех «бакинских» обедах чего-нибудь, позывающего на отъезд?

Дежурным электромехаником по лифтам (читатель помнит, что в электричестве я ни бум-бум) я проработал несколько дольше. Вспомнить об этой работе тоже почти нечего, кроме, разве, того, что принят туда я был по причине ненаблюдательности исполнявшей обязанности начальника отдела кадров. Когда я принёс подписанное ею заявление к управляющему трестом (он лично утверждал работников такого масштаба), тот тут же вызвал виновницу, с отвращением подписал бумагу и, не успев я затворить за

собой дверь кабинета, рывкнул: «Я же говорил не брать ЭТИХ на работу!» (Времена были отъездные). На третий день моей новой работы на летучку, проводившуюся в начале смены, явился профорг, оказавшийся пожилой энтузиасткой по фамилии Каценельсон. К этому времени я уже полностью разобрался и с комсомолом, и с профсоюзом, в том смысле, что вышел из обоих, поэтому дама с такой недвусмысленной фамилией меня взбесила: уж евреям-то, - думал я, - давно пора бы понять, что такое советская власть со всеми её атрибутами, типа профсоюзов, - и держаться от них подальше. В соответствии с избранным образом жизни («Жить не во лжи» – много ли, кроме меня, было последователей у сегодняшнего классика и властителя дум?) на её предложение вступить («Как, вы не член?!») мною был дан решительный отлуп. Она, зараза, накапала наверх (неплохо сказано?), и через пару дней при встрече с начальником участка – забавным парнем со странным именем Джон Иванович, я услышал следующий текст: «Ты что это, понимаешь, того? Это, понимаешь, не дело! Так что ты того, понимаешь, давай!» Я уже знал, что есть люди и идеи, абсолютно не согласующиеся между собой, и объяснять вторые первым не представляется возможным. Поэтому я решил ответить на понятном милейшему Джону языке и сказал: «Да чего я, понимаешь? Я – ничего! А то что тут, понимаешь, чего она в самом деле!» Ответ был признан удовлетворительным, и мы разошлись, испытывая друг к другу искреннюю симпатию. Клянусь, я ничего не наврал.

Этот случай был в моей практике вторым. Первым был такой. На «сутках» случилось как-то следующее. После работы мы сидели в камере, восемь человек, и курили самодельные сигарки из табака, который я каждый день приносил на всех курящих. Сидим, разговариваем, поглядывая на «глазок». Хотя вся тюрьма курила, официально это было запрещено и, в общем, чревато. Как и все, я заметил, как качнулась заслонка «глазка» – и через секунду в открывшейся «кормушке» абсолютно по Гоголю показалось довольно-таки свиное лицо мента по кличке «По камарам». Все тут же ловко стрельнули окурками в парашу, и я остался один с нагло дымящейся сигаркой. Я бы, конечно, тоже сумел её выкинуть, но никогда – ещё со школьных времён, когда нас заставляли курящими в туалете - не мог себя заставить отрицать очевидное, будучи

застуканным на месте преступления, так сказать, с поличным. Думаю, что так проявлялось, может быть, в те времена ещё не осознаваемое чувство собственного достоинства. Те, кто меня застигал, этого почему-то не понимали, и считали проявлением наглости, которой у меня никогда не было. Итак, радостный «По камарам» смотрит, сигарка дымится, народ безмолвствует. Наконец, мент открывает засов, говорит «Пой-дём!», и я выхожу. Что мне угрожало? Очень мало, почти ничего. В моей личной карточке стоял один штамп предупреждения. Второй был не опасен. Он обещал только кучу матюгов и подъём нескольких мешков с бобинами (очень лёгких) на третий этаж. Вот третий штамп был опасен: он означал карцер. То есть, ходьба весь день по камере (койка с подъёма до отбоя пристёгнута к стене) и – главное – невывод на работу, что автоматически лишало доступа к табаку, который я потреблял в больших количествах. Короче, я был спокоен и решил провести небольшой литературный эксперимент. Мне всегда казалась неправдоподобной ситуация, когда – это часто встречалось в книгах – сержанта или ефрейтора называли капралом (более высокое звание), и повышенный таким эфемерным образом в чине ловил кайф, а наглый лъстец пользовался этим для решения своих гнусных замыслов. Тут был удобный случай проверить литературу жизнью, и я решился. Назвать рядового с девственно чистыми погонами капитаном или хотя бы лейтенантом я себя заставить не смог и выбрал вариант не столь вопиющий. Остановившись и сделав зависимое лицо, я сказал: «Ну, что ты, НАЧАЛЬНИК, чего ты... Я больше не буду, НАЧАЛЬНИК...» Права оказалась литература! За минутную паузу насладившись повышением, необыкновенно довольный, с расплывшимся лицом «По камарам» отвёл меня обратно – к моим нарам и сигарке. Надеюсь, зачтётся мне на Страшном Суде, что сделал я одного человека счастливым, пусть и на малое время.

Наконец, я опустился до сторожки. Вспоминать об этих работах также нечего. Получал я от 68 до 75 рублей, как здесь говорят, брутто – и ухитрялся не только жить на них, но и откладывать гроши, чтобы каждую осень ездить на месяц-два в деревню в Литву. Хорошо помню, что однажды поехал на два месяца, имея в руках 95 рублей – включая расходы на дорогу. Сумма кажется неправдоподобной, но я всегда был малоежкой, да и в Литве жил в самых грибных

местах, каковой продукт (плюс крепкий чай) был моей основной едой. Так продолжалось до 1979-го – предрелигиозного - года. Предрелигиозный же год означал удвоенную бдительность органов по отношению к диссидентам и, если можно так выразиться, диссидентствующим. В общем, вожжи натягивались, гайки закручивались, маразм крепчал. И как раз в это время меня перестали брать на работу. На последнем месте работы сторожем, откуда я ушёл на два месяца по договорённости с бригадиром, новый зам начальника милиции, поначалу пославший меня к станку, начал было уже колебаться (люди ему были нужны) и спросил у моего бригадира – пожилого человека, фронтовика и орденосца, а ныне пенсионера: «Ну, возьмишь его? Нужен он тебе?» И на это решительно ничем не рискующий герой и ветеран, которому я действительно был нужен, зачистил: «Нет, нет, мне – как скажете». Вот так непросто у нас с ветеранами. И с их геройством.

Ситуация складывалась мрачная – и небезопасная. Милиция требовала устраиваться на работу, а на работу нигде не брали. Однажды ночью я был поднят с постели и усажен в «воронок», куда еще через пару минут усадили Глеба Богомолова – художника из «левых» или, как называли нас тогда, «нонконформистов», ныне именуемого не иначе как «патриарх ленинградского андеграунда», моего соседа по двору и – по тем временам – приятеля. Через какое-то время мы были доставлены в ОПС (отдел профилактической службы) 51-го родного отделения милиции, где я имел удовольствие посмотреть на своё весьма пухлое персональное дело, лежавшее перед начальником отдела – капитаном. На, а не внутрь, отчего и посегодня содержимое этого «дела» для меня тайна. К слову сказать, этак пару лет назад, в период разгула демократии, попытались мы с ленинградской поэтессой Леной Пудовкиной познакомиться со своими досье, хранящимися в Лен.КГБ, на что получили ответ, что дела уничтожены – несомненная, надо думать, ложь.

Так в поисках работы добрёл я до Государственного Эрмитажа, где - я это знал точно – требовались люди в охрану. И требовались, по-видимому, очень сильно, потому что меня взяли, правда, при условии, что я принесу какую-нибудь бумагу из Союза Писателей, из которой следовало бы, что я не обычный тунеядец, а – напротив – сравнительно молодое литературное дарование. В те

времена в Союзе Писателей комиссию по работе с молодыми (как принято было говорить – по борьбе с молодыми) возглавляли фольклорист Владимир Бахтин (кому же, как не еврею, заниматься русским фольклором?) и поэт Герман Гоппе. Ситуация им была понятна, меня они – по имени – знали, и без лишних слов выдали справку о том, что и т.д. Ту, что была нужна. Так я оказался в Эрмитаже, точнее, в его охране, а ещё точнее, в охране военизированной, пресловутой ВОХРе. Хотя, благодаря справке, меня взяли, но с подозрения не сняли.

Подозрения, скорее, увеличились, ибо в глазах чиновников литературные занятия простительны только классикам, то есть мёртвым. Так что через некоторое время, придя в отдел кадров за справкой – уже из Эрмитажа для милиции – я застал там своего начальника команды, воспетого мной впоследствии в цикле «Эрмитажные басни», подробно докладывающего обо мне начальнице отдела. «Очень странный человек, - говорил мой шеф, - понимаете, спит днём». Мы работали сутками, и режим был таков: четыре часа на посту, два – перерыв. А поскольку я типичная «сова», то ночью во время перерывов я, в отличие от всех, не спал, а днём – в отличие от всех же – спал. Атмосфера на этой работе была мерзкая (несколько лет после неё я не мог переступить порог Эрмитажа): стучали все на всех – и опять-таки без какой-либо личной выгоды, по зову сердца. Хорошо помню стихи из новогодней стенгазеты «Голос охраны»:

*А недавно отличилась  
Наш стрелок Снарская,  
За что администрация ей  
Стала благодарная.*

(Рифма, блин! Умри – лучше не напишешь!)

*Задержав парней с иконой,  
Вызвала милицию.  
Так работать надо всем,  
Поддержать традицию.*

(Пришли люди со своей иконой, спросили, где можно её атрибутировать?)

Тут кто-то спрашивал, что такое «социалистический реализм»? – так вот он – в полный рост! И в ВОХРе карьеры я не сделал. Через некоторое время выяснилось, что лекции по международному положению, которые раз в месяц «докладал» нам наш малограмотный начальник (необыкновенно трепетно относившийся к руководству

страны: он никогда, например, не говорил: «Леонид Ильич Брежнев сказал», но только «указал»), являются не личной его придурью, но политзанятиями, обязательными для нас – да ещё и с экзаменами, венчающими этот идиотизм. В один прекрасный день мы получили экзаменационные билеты. В верхней части тетрадного листка был написан вопрос (в моём билете: каким образом американский империализм... и дальше в том же духе. А суть вопроса была в злорадстве по поводу захвата в Иране американского посольства, а также поход «ограниченного контингента» наших войск в Афганистан). А ниже был дан развёрнутый ответ. Каждый должен был встать и зачитать свой текст. Когда дошла очередь до меня, я сказал, что против Афганистана совершена агрессия, так расценивают ситуацию и западные компартии, а что касается Ирана, то советскому правительству должно быть стыдно поддерживать бандитов. «Достаточно, - сказал шеф, - садитесь». По этому поводу мне разные люди говорили: нашёл, перед кем геройствовать; перед старухами, которые и понять-то ничего не поняли... На что я отвечал, что геройствовать и не думал, но изображать говорящую обезьяну не хотел и впредь не буду. Интересно, что в КГБ, куда меня вызвали полгода-год спустя по иному поводу, мне сказали то же самое: нашли, перед кем... и т.д. «Так что, - спросил я, - накатал-таки Карпыч (начальник команды) на меня донос?» «Накатал», - скорбно вздохнул гэбэшник. Скорбь должна была означать: «С каким дерьмом приходится работать...» И в этом качестве, предполагаю, он рассчитывал на моё сочувствие, даже, в каком-то смысле, солидарность.

После сдачи (или несдачи – это как посмотреть) экзамена меня довольно быстро выперли из Эрмитажа – с негромким скандалом. Вопрос о работе снова стал ребром. Однако, акценты сместились: нужно было зарабатывать на жизнь, но можно было не бояться высылки на 101-й километр. Олимпиада, бойкотированная Западом, слава Богу, закончилась. Как всегда, победила дружба.

Друзья и коллеги по литературному цеху давно звали меня в котельную. Я не шёл туда по одной причине: нужно было учиться на курсах. Я же в своей жизни учился так много, что одна мысль об учёбе приводила меня в ужас. Однако работа сторожем себя явно исчерпала, и я сдался. Сдался я в трест котельных, на предприятие и участок, где уже трудился Юрий Колкер – поэт, литературовед и



кандидат наук, или, как он называл себя позже – «кочегар физико-математических наук». Но до этих высот – должности рядового кочегара – надо было ещё подняться, а пока что – по причине кандидатства – Юру взяли мастером. С мастерами нашему участку вообще везло. Кроме Юры, мастерами были Слава Долинин, через год после поступления на работу арестованный и посаженный по делу НТС – полностью сфабрикованному гэбистами; Саша Кобак – инженер и, по настоящему призванию, историк, позже выпустивший несколько книг о церковной архитектуре, из котельной ушедший – в пору перестройки – в вице-президенты Ленинградского фонда культуры; прозаик Серёжа Коровин. Так что публика была ещё та! Например, бумаги, которые приносил ко мне в котельную мастер Долинин, крайне редко были связаны с отопительным процессом, а чаще были письмами протеста и т.п., которые я подписывал, не отходя от котла. Удачная карьера в нашем понимании означала движение не вверх, а вниз, и со временем все наши мастера, кроме Долинина, успешно перешли в рядовые операторы котельной, или, как говорили романтики нашей профессии, в кочегары. Наше Адмиралтейское предприятие особенно выделялось среди предприятий города – настолько, что на одном из совещаний кто-то из высокого начальства сказал нашему директору – доброму и, как кажется, порядочному человеку (а такие среди начальства встречались уже редко): «Ты у себя всю ленинградскую контру собрал!» Не знаю, как насчёт контры, но литераторов наша профессия дала России (и Израилю, и Германии, и Англии – лучше сказать, русскому языку) поболее, чем зазнавшаяся медицина. Так что поэтесса Ольга Бешенковская, живущая в Германии, могла издавать машинописный самиздатовский журнал ТОПКА, что расшифровывалось как Творческое Объединение Пресловутых Котельных Авторов.

Приблизительно двенадцать лет работал я в котельных – и двенадцать лет, придя на рабочее место, перед тем, как лечь спать – так неукоснительно начинал я трудовой день – благословлял эту работу! (На которую, к тому же, мы ходили раз в четверо-пятеро суток. Сравните-ка со своей сегодняшней, а?).

В первой своей трестовской котельной я задержался ненадолго. На освободившееся в связи с арестом Долинина место мастера пришла – поднялась из рядовых операторов (обратная, с нашей точки зрения, карьера)

женщина - кадр старого образца, с ужасом и негодованием, как вскоре выяснилось, наблюдавшая наплыв в котельные странных, непонятных и чуждых ей людей. Чуть освоившись в новой должности, она обнародовала свою программу преобразований нашего участка, весьма, надо сказать, нехитрую. Пора очистить участок, - гласила программа, - от всех волосатых, бородатых, очкастых и жидов. Редкий человек с нашего предприятия не подпадал под хотя бы один из этих пунктов, я же подпадал под все четыре, и, сравнив наши с тётёй Машей арсеналы, счёл за лучшее откланяться, тем более, что теперь – с удостоверением – все котельные города были для меня открыты.

Следующей была котельная ЦТУ (центрального телефонного узла), куда меня привёл и устроил Саша Смирнов – прекрасный прозаик и оригинальный поэт, умерший молодым – лет сорока – от водки, наркотиков и туберкулёза. Маленький его рассказ я сумел опубликовать в Израиле в одной быстро развалившейся газетке. Сашин мозг был как-то удачно и легко настроен на словесные игры, и, приходя на смену, я, как правило, слышал что-нибудь забавное. Где-то в архиве хранятся Сашины автографы, а так – сходу – вспомнилось два палиндрома: «Не диво ли – макак, а миловиден». И самый короткий: «Я у Ханана - .....?» – грамотный читатель может сам подставить недостающие пять букв. А также афоризм: «Человек долга – человек долго», свидетельствующий о наличии у автора редкого для России мировоззрения. Работа в этой котельной, где позже трудились ленинградские поэты Борис Лихтенфельд и Владимир Ибрагимович Эрль, была уже полным кайфом. Кайф этот состоял, в частности, в том, что начальство меня не проверяло. На что обычно проверяется кочегар? На отсутствие на рабочем месте и, главным образом, на пьянство, бывшее обязательной приметой нашей профессии в её каменноугольный период. Ближайшее наше начальство – бригадир – звонила мне первое время по утрам – самое активное, с её точки зрения, время. Но поскольку по утрам я всегда спал, то и был, естественно, на месте. А что до пьянства, то, ещё когда Саша только заявил мою кандидатуру, она спросила: «А он не пьёт?» На что Саша, всегда пораженной количеству выпиваемого мной за смену спиртного, ответил: «Что вы, Вера Николаевна, он

же еврей!» «А-а, - сказала Вера Николаевна, - ну, тогда конечно...».

Котельная ЦТУ находилась в самом центре города – на Мойке, в двух шагах от Невского проспекта. Кроме того, что она располагалась поблизости от нескольких книжных магазинов, коих я был постоянный посетитель. Стояла она также на пересечении литературных троп, благодаря чему редкую смену я проводил без гостей. Среди которых не редкостью были и самые любознательные люди нашей планеты – американские профессора и студенты. Бывали и гости иного рода.

Но будем по порядку. Где-то в начале 80-х среди московских поэтов-«нонконформистов» родилась идея делать московско-ленинградский альманах, с туманной перспективой печати на Западе. С целью сбора материалов в северную столицу прибыл московский эмиссар Саша Сопровский – прекрасный поэт и умный публицист, несколько лет тому назад трагически погибший. Сашу я давно знал и любил (читатели ещё оценят его до сих пор не опубликованный шедевр, посвящённый и обращённый ко мне: «Ты помнишь, Володя, дороги Сент-Джоржеса?»). Сашу я рад был видеть, однако, недоумевал по поводу его роли, точнее, его к ней пригодности. Дело было не в том, что Саша, «как и все его товарищи» (и мои, естественно, тоже) часто, помногу и с удовольствием пил водку, а в том, что он имел привычку всё терять, включая дорогие для нашего бюджета пишущие машинки. Сбор материалов проходил в состоянии перманентной пьянки с сопутствующей этому процессу трепотнёй по телефону. Так что организация «кому надо» (по Войновичу) была в курсе всех наших дел. Содружество поэтов-альманашников должно было называться «Вольное русское слово». Короче говоря, собравший все материалы и протрезвившийся Саша был задержан милицией на вокзале у московского поезда «по подозрению в совершении серии квартирных краж» – каковые подозрения были отброшены тут же, в пикете милиции, как только из соседней комнаты вышел гэбист. «Ну, что вы, Сопровский, - сказал он с некоторой даже скукой, - опять затеваете...» и т.д. Через день выпущенный на свободу Саша звонил всем подельникам и давал инструкции, как держаться на допросе. И ещё дня через три всех участников несостоявшегося альманаха вызывали в различные конторы – от КГБ до ЖЭКа – и пытали об антисоветской организации «Вольное русское

слово». «Обрати внимание, - сказал мне, больному с похмелья, только что приступившему к работе и, естественно, примеривающемуся к кушетке, Олег Охапкин, - всех, кто служит на обычных работах, уже вызывали, а нас, кочегаров, не трогают. Что с нас возьмёшь?» Однако, только я с облегчением улёгся, проводив Олега, как был поднят звонком начальницы, требующей меня к директору. Предприятие было большое, директор назывался генеральным, надо ли говорить, что общих дел у нас с ним не было. «Сейчас мы с вами поедем» – сказал директор, не уточнив, куда. Мне это сразу не понравилось. Тут было ещё одно обстоятельство: сколько раз меня вызывали в места, грозившие серьёзными неприятностями – я всегда был в состоянии похмелья. То ли они так удачно подгадывали, то ли я пил слишком часто – но дело обстояло именно так. А как понимает любой соотечественник, человек в таком состоянии депрессивен, не уверен в себе, себя не любит и, по большому счёту, не уважает. Приехали мы не куда-нибудь, а на специально созданную комиссию райисполкома, где находилось человек десять, причём, гэбист, как всегда, был виден издалека. «Что это за антисоветская организация «Вольное русское слово», в которую вы вступили?» – спросили меня сразу же, в лоб. Дальнейшее неинтересно. «Вы балансируете на грани закона», – говорили мне». «Какого?» – тупо спрашивал я (ибо действительно не знал). «Ну, это вы знаете лучше нас», – говорили они (ибо и сами не знали). Во время всего этого действия я не боялся каких-то серьёзных репрессий и только уныло прикидывал, что с работы меня уволят непременно, ибо зачем моему директору лишние неприятности. «Идите и подумайте». – сказала комиссия. «Подождите меня в машине», – сказал директор, задержавшийся, чтобы, по-видимому, получить инструкции, что со мной делать. Через некоторое время он вышел и впервые посмотрел на меня с интересом. «Мало у меня перед Новым Годом забот... - проворчал он довольно дружелюбно. - А тут ещё с вами...». И я понял, что новую работу искать, скорее всего, не придётся. Мало того, когда летом я попросил двухмесячный отпуск за свой счёт, чтобы ехать в деревню, а отпуск на такой срок не давали никому и никогда, мне дали. «Я понимаю, - сказала начальница, - у вас творческие планы». А вы говорите!

Регулярное совпадение состояния похмелья с угрозой наказания заставило меня задуматься, и вот что я понял.

Быть может, обязательного совпадения и не было. Но чувство, похожее на похмелье, присутствовало всегда. Не только у меня, постоянно нарушавшего идеологические установки общества, но у каждого советского человека, ибо каждый из нас был виновен в каких-либо нарушениях – не в тех, так в этих – знал это, и в той или иной степени вину свою ощущал. И это ощущение было большим подспорьем для власти в деле управления народом.

Вернёмся к гостям котельной. С некоторых пор в мою котельную зачастил (не в мою смену) руководитель Пятого отдела КГБ – отдела присмотра за творческой интеллигенцией – майор Соловьёв. Как все знают, фамилии, которыми рекомендуются гэбисты – суть псевдонимы (и мы разведка, блин!), начальство Пятого отдела предпочитало псевдонимы с орнитологическим уклоном (все пташки-гонорейки!). Так, майора Соловьёва на ответственном этом и опасном посту сменил со временем полковник Коршунов. Но это случилось позже. А пока что заходил майор Соловьёв к моему сменщику Саше Смирнову с самого раннего утра, когда Саша поправлял здоровье крепким чаем, напрашивался нагло на этот бедняцкий чай и заводил разговоры. На второй или третий раз Саша решил его чаем не поить. «А не попить ли нам чайку?» – набивался майор. «А нету чая!» – оборонялся Саша. «А я с собой принёс – индийский!» – наглел матёрый разведчик. А разговоры были интересные: «Вы знаете такого-то? Нет? А познакомьтесь! Вы же такой общительный». «Эх, Саша, Саша... - скорбел иногда чекист, - не понимаете... Они тут стихи пишут и на Запад переправляют, место себе готовят – там, жить хотя красиво...». (Ну, то есть, гады!) А в том, что там живут красиво, в КГБ, по крайней мере, в идеологическом отделе, не сомневался, похоже, никто. «Хотят ехать – пусть едут! – не сдавался похмельный Саша. - Зачем вы людей насильно держите?» «А кого мы держим?» – лицемерно удивлялся Соловьёв. «А Колкера?» - вспоминал Саша коллегу по котельной». «Колкера? – припоминал майор, - так Колкер у нас едет в следующем квартале».

Дело это – общаться с ГБ – было скользким, поэтому Саша регулярно пересказывал друзьям все диалоги, и мы широко обсуждали их по телефону. Через несколько дней после разговора о Колкере мне позвонила Лена Игнатова, сидевшая тогда в отказе, и попросила, чтобы Саша справился у майора о них с мужем. Был там и ещё один для

меня очень важный нюанс: спрашивая обо мне, Соловьёв обязательно упоминал несколько книг «тамиздата», бывших настоящим криминалом, которые в течение длительного времени действительно находились у меня дома и щедро раздавались в дружеские (очевидно, и не только) руки. Это было уже по-настоящему опасно, так как содержало вполне реальные пункты обвинения. Я почувствовал себя неуютно. Обстоятельства складывались так, что я мог сделать вывод: за меня взялись. Неутомимый Соловьёв посетил и сторожку моего приятеля, где спрашивал опять – про меня и те же книги. А другого моего знакомого, живущего под Воркутой, вызвали в ГБ Воркуты, где задавали те же вопросы. Делать мне было нечего, влиять на ситуацию я не мог, - и уже подумывал сушить сухари, как тут приказал («Указал» – как сказал бы мой эрмитажный начальник) долго жить восемнадцатидесяти (я как-то раз подсчитал) Герой всех соцстран и народов Брежнев, за ним – два его верных соратника. В воздухе потеплело, зацвело, запахло, и грянувшая – мордой об стол – перестройка изменила все перспективы.

Что сказать о перестройке, отдалённым следствием которой стала моя репатриация? О ней пишут и ещё напишут Эвересты умного и ещё больше глупого. Я откликнулся на неё парой желчных басен разного художественного достоинства, но самым точным откликом считаю четверостишие: «Решено одним Завхозом //Перестроить склад с навозом. //Перестроил он – и что-с? //Был навоз и есть навоз». А вообще-то лучше всех о перестройке сказал умница Бялик. (Сказал о революции 17-го года, но подходит ко всем русским революциям и перестройкам). Когда его спросили: «Что там, в России? – Революция! Переворот!! Колоссальные изменения!!» Он сказал: «Ничего подобного, просто хазир перевернулся на другой бок».

О работе, которая ждёт меня в Израиле, я знал ещё в России, и не ошибся. Так что данные строчки пишутся в будке, где я сижу в качестве шомера – охранника, или, проще говоря, сторожа. Работа меня устраивает, ибо оставляет свободной голову и даёт возможность думать и писать. Я дежурю по ночам с одиннадцати вечера до семи утра, и четыре раза за ночь обхожу вверенную мне территорию. Так и сейчас я выхожу из своей хорошо освещённой будки под высокое, звёздное и ясное иерусалимское небо и с удовольствием совершаю обход. С

удовольствием ещё и потому, что и здесь, на службе, есть тонкость, благодаря которой я себя ощущаю РЕПАТРИАНТОМ, то есть, ВЕРНУВШИМСЯ. Как я уже писал, мой прадед Хуне был владельцем мельницы в местечке Покотилово под Уманью. Поэтому я чувствую себя как бы прикосновенным к семейному бизнесу (хотя какой там, к чёрту, семейный, если прадед был первым и последним в нашей семье хозяином этой мельницы, отобранной в 1917-м году), ибо предприятие, которое я охраняю – главная (хочется мне думать) иерусалимская мельница, снабжающая мукой весь Иерусалим и – судя по номерам огромных грузовиков – Палестинскую автономию. Я обхожу мельницу, поглядывая на неё будто бы профессиональным взглядом, бормоча при этом что-то вроде того, что «наша-то была не меньше, разве что чуть-чуть...», что является беспардонной ложью. «Так ведь, - непоследовательно оправдываюсь я, - и время было другое, да и Умань всё же поменьше Иерусалима». Что ни говори, а была она предприятием значительным, иначе с чего бы мой умный прадед имел привычку говорить: «Я хозяин Покотиловского млына!» (мельницы по украински). И звучало это – по отзывам родни – веско. «Кто это? – посмотрев на самую старую в моём доме фотографию, спросил мой молодой зять. - Ваш прадед? Какое умное лицо! *(В нашей семье у всех мужчин такие – В.Х.)* Такого не обманешь». А лицо у моего прадеда на этой фотографии, где он снят в окружении многочисленных домочадцев, действительно умное, ироничное и даже несколько хитроватое, как, по-видимому, у всех людей, которым – в силу обстоятельств места и времени – приходилось использовать свой ум в качестве оружия не только наступательного (как, скажем, англичанину или американцу), но и оборонительного. Я думаю, что моего прадеда действительно было трудно обмануть, поэтому судьбе пришлось заставить его обмануться. Когда уходящие из Одессы в числе последних дочь Фаня и внучка Мэна звали его с собой, он сказал: «Что я, немцев не видел?» – и остался. Так говорили тогда многие старые евреи, видевшие немцев в Первую мировую войну, когда для евреев опасность была больше от русских казаков и администрации. Мой умный прадед вырос в мире, где Злу противостояло Добро, и как раз в силу ума и рациональности его склада оказался не подготовленным к ситуации абсурда, когда Злу противостояло ещё большее

Зло. И если одно Зло отняло у него его добро, то второе забрало последнее, что оставалось – жизнь. «Он думал, - говорит моя двоюродная тётя Мэна, - что немцы вернут ему мельницу». Нет, не дождался мой прадед мельницы, а дождался он чёрной и сырой украинской ямы без надгробия – и, наверное, поэтому часто чудится мне в по-особому густом иерусалимском воздухе странное как бы присутствие моего по-человечески не похороненного прадеда Хуне.

«А кто это у нас такой умный? – вдруг слышу я – как будто изнутри – незнакомый и одновременно знакомый голос (говорящий, к тому же, на идише, которого я не знаю, но сейчас почему-то понимаю). - Такой умный, что всё-то он знает. Видать, поэтому, - с совершенно явственной иронией продолжает голос, - он и занимает такую высокую должность – сторожит мельницу. Не знаю, взял бы я на свою такого сторожа? Я-то, по темноте своей, думал, что в университетах по десять лет учатся не для этого». «Ты, конечно, прав, - уныло соглашаюсь я, - всё так... Университет – и сторожка... Стихи, которые ты вряд ли бы одобрил, да эта маловразумительная проза... Это верно, что работы поумней да поденжней мне не по плечу, а уж о своём деле, как у тебя, и речи нет... Но ведь как раз потому, что я такой – в сторожке – я и тебя могу почувствовать и – хотя бы так – разговаривать...».

«Может быть, ты и прав, - неожиданно соглашается он. – Что ж, коли нет у тебя способностей на большее – сторожи эту мельницу... Всё как будто при семейном деле...».

И вдруг – я перестаю его слышать и понимать, и быстро светлеет – кончается ночь над Иерусалимом. Надо открывать калитку и ворота. Пару слов со сменщиком. Домой.

Мой прадед Хуне Бабинский владел мельницей в местечке Покотилово Уманского уезда Киевской губернии (ныне Черкасская область), а также долями паровых мельниц в разных местностях Украины и Царства Польского.

Если в Украине и в Польше примут закон о реституции, прошу считать эти строки официальной заявкой.



**Туда и обратно**  
**Как я в иудаизм ходила**  
*(журнальный вариант)*

Окончив университет в 2002 году, и благополучно разведясь, я оказалась в точке абсолютного нуля. Ни личной жизни, ни планов, ни денег, никаких конкретных пожеланий или мечтаний. Зато была собственная двухкомнатная квартира и полная свобода действий.

Как думаете, что я сделала? Правильно, ничего. А точнее, решила устроить себе глобальные каникулы от всего и всех. И заодно проверить, не является ли полное одиночество состоянием бесконечного счастья (проверила – не является).

На исходе третьего месяца, в течение которого перебирались разные безумные варианты - от работы психологом в школе (кошмар!) до фиктивного брака (только, пожалуйста, не с тем, кто это предложил!), я поняла: вот он тот самый момент, когда в книжках с героем происходит что-нибудь неожиданное. Фея там какая-нибудь, или чего похуже. Потому что иначе он, герой, с места не сдвинется. И даже не из-за лени, а от полной растерянности.

Пожалуй, это был первый раз в жизни, когда я в буквальном смысле взмолилась о чуде. Недели три молилась, надо сказать, ежедневно. И чудо пришло. И было оно как в том анекдоте:

Опаздывает человек на важную встречу, ищет место для парковки, а всё занято. И начинает он молиться: «Господи, мне бы только припарковаться, а я всё для тебя сделаю, обещаю!» В этот момент прямо перед ним выезжает со стоянки машина. «Господи, можешь не беспокоиться, я сам нашёл!»

Лежание на диване было не единственным моим занятием в те три «каникулярных» месяца. Я ещё повадилась ходить в синагогу, где два раза в неделю можно было посещать нескучные уроки, получать небольшую стипендию - на жизнь в тот момент вполне хватало, - и хорошо пообедать.

Самая ранняя встреча с иудаизмом произошла у меня лет в двенадцать с половиной. Тогда в Одессу приехала американка, которая устроила для еврейской общины

Одессы бат-мицву и бар-мицву для детей примерно соответствующего возраста. Церемония была красивой, устраивалась в синагоге. Каждый из детей заходил перед этим поговорить с раввином. Смутно помню добрые глаза и большую белую бороду, но личность осталась неизвестной. Страшно не было, только странно: вроде бы происходило что-то важное, но я решительно ничего не понимала. В качестве подарка каждый ребёнок получил портфельчик. В нём был большой иллюстрированный русско-ивритский словарь; тогда я впервые увидела ивритские буквы. Портфельчики девочек содержали два подсвечника и две свечи. Я уже знала, что их надо зажигать в пятницу, но так и не поняла - зачем, поэтому просто хранила и любовалась. Много лет потом хранила, кстати. Пыталась одно время даже какие-то благословения читать по книжечке «Мой первый сидур»...

Подростковая компания, приятели и молодые люди еврейскими не были. Друзья детства, точнее, их еврейские родители, уехали при первой возможности в Америку или Израиль. А в своих личных предпочтениях я руководствовалась, очевидно, чем-то другим. Национальности своих друзей очень долго не знала и не интересовалась.

В перестроечные годы я оказалась, следом за мамой, в еврейской организации «Мигдаль». Там не прижилась, однако представление о еврейской традиции получила.

Одно время активно участвовала в играх «Что? Где? Когда?», где в одной из команд был мальчик, недавно сделавший тшуву и получивший насчёт девочек подробные инструкции. Я, испытывавшая тогда своё женское обаяние на всех понравившихся мальчиках, никак не могла с этим смириться. Как-то буквально ворвалась в комнату, где сидели преподаватели «Мигдаля», громко возмущаясь: почему, ну почему он не даёт к себе прикоснуться?! Одна из сидящих в комнате женщин спокойно поинтересовалась: «Ты хочешь выйти за него замуж?» «Нет, конечно!» – фыркнула я в ответ. «Тогда зачем ты его трогаешь?» Я так и замерла столбом, внезапно сообразив, что внятной причины-то и правда нет. Молча развернулась и выбежала из комнаты. Как мне потом было стыдно – и не описать. Зато урок возымел действие: с тех пор я никогда не позволяла провокаций в адрес религиозных людей ни себе, ни кому-либо в моем присутствии.

В один прекрасный день девушка-судьба, с которой мы вместе ходили в синагогу, позвонила мне по телефону. Она узнала о какой-то странной религиозной школе в Москве, куда можно поехать учиться. Всем, кто приедет ознакомиться с обстановкой, руководство школы обещало оплатить дорогу и проживание в Москве в течение десяти дней. Зная, что я в последнее время "до пятницы совершенно свободна", девушка попросила сопровождать её. За компанию, и чтобы не ехать одной в поезде. Просьба была настолько бредовой, что я немедленно согласилась.

Школа принадлежала супружеской паре ортодоксальных евреев литовского направления. Рабанит Ривка Вайс – женщина удивительного темперамента, невысокая, но очень подвижная, сильная, она постоянно находилась будто бы внутри пылающего облака неукротимой энергии. Родом из Антверпена, из богатой семьи (отец её занимался алмазами), она свободно владела русским, английским, французским, ивритом и ещё двумя-тремя языками, легко переходя с одного на другой.

Делу свое жизни – обучению и возвращению религиозных девушек, - она была предана и отдавалась ему до конца. Лет за десять до того они приехали в Москву, чтобы заботиться о местных евреях. Ривка стала собирать девушек и проводить с ними уроки, сначала у себя на дому, потом в арендованном помещении. На момент моего приезда Ривка уже несколько лет как открыла государственную еврейскую школу для девочек, где учились по обычной программе плюс «еврейские» предметы, и в конце получали аттестат государственного образца. Тем, кто окончили школу, или просто более взрослым, приехавшим со стороны, предоставлялось общежитие и специальная обучающая программа, называемая «семинар».

Впервые в жизни я встретила человека, который настолько уверен в том, что говорит, и говорит при этом настолько убедительно. Ее манера поведения чуть напрягала, но в целом я была заинтригована.

Что касается рава Вайса, знакомство с ним произвело на меня огромное впечатление. Вообразите себе человека с глубокими религиозными корнями, родившегося в Чехословакии и всю жизнь прожившего в Израиле. Человека, который годами сидит в России и воспитывает тамошнюю интеллигенцию. Поверьте, это очень, очень сложно.

Оба Вайса разными способами дали понять, что причина всех моих несчастий – прошлых, настоящих и будущих, – лишь в том, что я до сих пор не признала свою еврейскую природу. В смысле, не соблюдаю заповеди. Соблюдаешь заповеди – живёшь в соответствии со своей природой – счастлива. Последовательность была проста и убедительна, терять мне было нечего, и я решила – почему бы нет? Попробую. Не понравится – сбегу и поселюсь в Москве.

Через несколько месяцев жизни в общежитии школы «Бейт-Егудит» я приняла окончательное решение остаться религиозной. Почему? На сегодняшний день я могу придумать четыре фактора, которые на это повлияли. Два «отталкивающих»: меня абсолютно ничего не держало в Одессе и в предыдущей жизни («дочитанная книга»), и я чувствовала себя очень одинокой. Два «притягивающих»: личность рава Вайса и обещание, что соблюдающий еврей обязательно чувствует себя счастливым, а жизнь его меняется к лучшему. По крайней мере, так я поняла то, что мне говорили...

В школе «Бейт-Егудит» я провела два полных учебных года. Для меня сама жизнь там была настолько тяжёлым испытанием, что на соблюдение заповедей я почти не обращала внимания. Тем более, что от соблазнов нас всячески оберегали.

«Бейт-Егудит» состояла из двух зданий. В одном – старом, двухэтажном, помещалась школа. При мне там учились несколько десятков девочек, по большей части москвичек, и с десяток иногородних. Москвички после уроков шли домой, иногородние возвращались в общежитие. Общежитие было новым, специально построенным по Ривкиному проекту трехэтажным зданием. Надо отдать должное рабанит Вайс: комнаты были по первому разряду, спланированные по принципу гостиничных. Светлые: по два окна в каждой плюс вделанные в потолок лампы дневного света, и на удивление вместительные. Две кровати, книжный стеллаж с полками и крошечный журнальный столик. В коридоре во всю стену одежный шкаф с раздвижными дверцами, и туалет с душем и раковиной. Всё абсолютно новое, целое, качественное. Остаётся лишь поддерживать чистоту.

Мы, иногородние, жили на втором этаже. Комнаты первого этажа были побольше, на четыре кровати, и

мебель в них была старая. Там останавливались гости, приезжавшие на шabatы и праздники. Третий этаж занимали учебные комнаты, библиотека и, конечно, синагога.

Наш будний день выглядел примерно так. В семь утра подъём. Моёшься, одеваешься и бежишь через двор в школу, в большой учебный класс. В семь тридцать начинается молитва. Каждая девочка молится сама, а Ривка, не отрываясь от сидура, грозит пальцем опоздавшим. В восемь начинается урок. Ривка объясняет «мусар» - что-нибудь про еврейскую этику и мировоззрение. В девять часов общий завтрак. В огромной школьной столовой собираются все ученицы, каждый школьный класс садится отдельно; мы – семинар, взрослые девушки, за своим столом. Еду приносят работники столовой в общих мисках. Можете догадаться, к чему это приводит? Правильно, к вечному «а мне не хватило!».

Весь первый год, что я там провела, в семинаре учились девчонки, только в прошлом году закончившие школу. Они уверенно накладывали себе полные тарелки с горкой, а в ответ на все увещевания отвечали: «Но я голодная! Пойди попроси добавки!» Добавки, к слову, не полагалось. Наша главная повариха вела кухонное хозяйство весьма экономно, дрожала над крошкой и отмеряла очень точно «норму питания» для каждого стола. Исключение составляли лишь праздничные трапезы, на которых экономить не полагалось. Стыдно и противно вспоминать, как я каждый день, утром и днём (с ужином было полегче) бежала за едой, чтобы успеть набрать себе порцию. Рав Вайс как-то пытался меня убеждать, что Всевышний заботится о голодных, и рекомендовал ходить на обед медленным шагом. Я верила раву Вайсу, и даже провела эксперимент пару раз. После чего стала бегать в столовую ещё быстрее. К счастью, на второй год девочки исчезли. Их заменило несколько взрослых и очень милых гийорет (проходящих гюр), и проблемы с едой больше не возникали.

После завтрака начинались уроки. Недельная глава, кашрут, еврейская история, иврит, английский, компьютер. С компьютерами, кстати, был у меня связан эпизод, светлое пятно в моей памяти о «Бейт-Егудит». На второй год один из постоянных шabatних гостей школы и учеников рава Вайса как-то заговорил с Ривкой о том, что девочкам хорошо бы на выходе из школы иметь на руках какую-

нибудь простую специальность, которой можно было бы зарабатывать. Ривка и сама так считала, поэтому с благодарностью приняла подарок: восемь оплаченных программ-тренажёров для слепой печати. Идея была в том, что мы научимся быстро печатать и сможем работать наборщицами или секретаршами. Программа называлась «Соло на клавиатуре». Надо сказать честно: будь это простой тренажёр, я забросила бы дело на третий день. А тут втянулась «на слабо». Я бегала к компьютеру каждый день, как только появлялась возможность. Преподаватель смотрел на меня со смешанным чувством гордости и жалости, но всегда предупреждал об «окнах» в расписании работы класса. В среднем получалось проводить за тренажёром три часа в день, кроме пятницы и субботы. Три месяца потребовалось мне, чтобы пройти тренажёр до конца.

Часа в два дня был обед, потом еще уроки до четырёх. В семь часов был ужин, на котором следовало появиться и отметить свое наличие в школе. Оставшиеся три часа можно было использовать на то, чтобы постирать, сделать домашние задания, сходить в продуктовый магазин за шоколадкой или фруктами, а также на китайский рынок за одеждой и обувью. Вещи там были дешёвые, даже нам по карману, и качества соответствующего. Но шиковать нам было негде.

*Идет урок рава Вайса о тшуве (возвращении к соблюдению заповедей иудаизма).*

*- У нас со Всевышним есть близкие отношения. Представьте их себе в виде верёвки, которая вас соединяет. Что происходит, когда вы отворачиваетесь от Него? То же, что и при любой ссоре – верёвка рвется. Что произойдёт, когда вы решите помириться?*

*Голос из класса:*

*- Верёвка никогда уже не будет целой!*

*- Да, но не это главное, – спокойно отвечает рав Вайс.*

*– Главное, что она станет короче, если завязать на ней узел. А значит, вы станете ближе.*

В первый год, чтобы не дать нам свободно шататься по Москве и влипать во всякие истории (а неприятные прецеденты со старшими школьницами из общежития уже бывали), Ривка придумывала нам бесконечные занятия на этот короткий промежуток времени. То дополнительные уроки, то украшение школы к празднику, то ещё что-нибудь.

И ещё обязательно что-нибудь было после ужина, так что спать лечь можно было никак не раньше десяти.

Первые полгода у меня физически не было ни минуты свободной, чтобы просто подумать. Всё время надо было что-то делать. Пока у меня ещё была идея, что школа – это временно, я активно искала новые связи в Москве и старалась сбежать при первой же возможности. А выходя на улицу и знакомясь с людьми, продолжала думать над услышанным и никак не могла сосредоточиться. Идеологическое давление оказалось очень сильным, я была к этому совершенно не готова и понятия не имела, что делать.

Помню, однажды меня пригласили в дом, чтобы познакомить с хорошей семьёй. Мужчина, который занимался рейки и прочим целительством, очень тепло меня принял. Обсуждал, чем может помочь в устройстве, с кем познакомить. А я смотрела на маленький столик в углу его комнаты. На столике стоял керамический будда, горели ароматические палочки, были разложены мандалы, талисманы и всякая эзотерическая атрибутика. Половина меня говорила: попроси его найти тебе временную вписку в Москве! Вторая половина говорила: ты находишься в одной комнате с идолом, сейчас же убирайся отсюда! Ощущения были мучительными. Горько было осознать в момент прощания, что больше я этого человека никогда не увижу.

В качестве подарка я попросила у него маленькую книжечку по философии, которая валялась у него где-то за диваном. Он с лёгкостью согласился. Эту книжечку я принесла в школу как большой компромат и спрятала под постелью. В редкие моменты одиночества доставала и читала, заливаясь слезами и не понимая ни единого слова, только вдыхая размеренно-логичные, умозрительно-универсальные, отстранённые суждения как глотают свежий воздух, приоткрыв форточку в душном помещении.

Когда меня потом спрашивали, что ж такого страшного было для меня в этой школе, и почему, - стоит вспомнить, как меня трясет крупной дрожью, - я толком не знала, что сказать. Отсутствие свободы? Да. Всё-таки, когда тебя поднимают по утрам стуком в дверь, не доверяя твоему будильнику, и требуют «быть дома» в семь – это слегка напрягает. Но когда тебе специально придумывают занятия и назначают обязательные (всегда обязательные!) уроки так, чтобы у тебя просто не оставалось времени выйти в город, это достаёт. Постоянно и непредсказуемо

меняющиеся требования и условия жизни? Однозначно да! Ни до, ни после «Бейт-Егудит» я не жила в ситуации постоянного напряжения, когда в любую минуту тебя могли послать делать что угодно, причем немедленно. На часах десять тридцать вечера, собираюсь доделать уроки на завтра и пойти, спать. Стук в дверь. Девочку, которая дежурила на кухне, срочно послали готовить украшения к завтрашнему праздничному вечеру, поэтому я теперь срочно должна идти на кухню дежурить.

И всё же самым тяжёлым испытанием была уравниловка. Нас в общежитии жило примерно человек тридцать в первый год, двадцать во второй. Девочки, только что закончившие школу. Молодые женщины, закончившие университет. Очень взрослые женщины, чьи дети учились тут же в первом, втором или пятом классе. И абсолютно все мы шли под одну гребёнку. Нам давались одни и те же обязанности. К нам предъявляли одни и те же требования. На нас накладывали одинаковые ограничения. Мы посещали абсолютно одни и те же уроки (были исключения, конечно, но не много). Ели, стирали, убирали, молились, учились, каждую минуту с трепетом ждали очередных неожиданных указаний – все, абсолютно все вместе. Эта жуткая уравниловка сваливала нас в кучу так, что никакие Ривкины попытки говорить о достоинстве не могли уже возыметь действия. Какое может быть достоинство, если девочку семнадцати лет и женщину сорока пяти отчитывают в коридоре с одними и теми же интонациями? Если обязанность, которую дали сегодня тебе, завтра могут передать кому угодно другой, а тебе дать её обязанность? Просто так, без особенной причины. Если на занятие по рукоделию и рассказыванию историй должны являться в условленное время все как штык?

В «Бейт-Егудит» я приехала в состоянии тупика, а из новых перспектив открывалась лишь одна, зато абсолютно ясная: религиозная жизнь и построение еврейской семьи. Проверить свою религиозность «в полевых условиях» случая почти не представлялось, кроме редких поездок домой. Даже времени на то, чтобы спокойно подумать, почти не оставалось

Через год я окончательно перестала представлять себе дальнейшую жизнь как-либо вообще, кроме как в религиозном Израиле. К чему нас подспудно и настойчиво готовили.



Не только рав Вайс с Ривкой, но и те девушки, которые дольше соблюдали, упорно твердили: приобщение к иудаизму меняет жизнь. От недалекой, примитивной, бессмысленной, наполненной всякой грязью, пошлостью и зависимостями, ты переходишь практически в мир иной: к жизни в Торе, в гармонии со своим народом, осмысленной и прекрасной. Я готова была примириться с тем, что второй этап наступает как-то очень уж медленно. Но категорически, всей душой была против тезиса номер один.

Дело в том, что среди наших общежитских девушек большинство были из маленьких городков, куда и вернуться-то можно было лишь работницей на фабрику. Жизнь в Москве, пусть даже в закрытом интернате, была стократ лучше всего, что могло ожидать их дома. У некоторых, с кем мы вели длинные и душевспасительные беседы, положение было лучше. Но и они в один голос твердили: «моя жизнь была безвидна и пуста, и тьма над бездною, пока не настал свет: я познакомилась с иудаизмом. И теперь точно знаю, кто я на самом деле, как должна жить. Чувствую, что Тора обращается лично ко мне. И счастлива тому, что я еврейка».

Что же я могла ответить на это? Что Тора, охотно верю, рассказывает о моих предках, но я тут ни при чём? Что обязанность соблюдать по той причине, что я еврейка, а иудаизм – единственно правильный для еврейки способ жизни, не имеет никакого отношения к ощущению своего пути? И, наконец, главная проблема: моя прошлая жизнь, понимаете ли, не была бессмысленной и пустой! В ней было искусство и книги, любовь и секс, психология и магия. У меня были друзья, учителя, хороший муж. Все не евреи, кстати. Я к чему-то стремилась, училась, менялась... Да, в какой-то момент меня настиг кризис, но нельзя же считать книгу скучной только на том основании, что она дочитана!

Так что я, покладисто соглашаясь делать всё, что было велено, упорно отказывалась раскаиваться в своём прошлом. Отказывалась обесценить всё, что было мне дорого, счесть «ошибками молодости» важных и любимых людей, а все интересные мне вещи – глупостями и шелухой. Отказывалась признать себя заблудившейся во мраке, с радостью вышедшей на яркий свет.

4 октября 2004 года мой самолёт приземлился в аэропорту «Бен Гурион». Этот день запомнился мне удивительной спокойной радостью, естественным продолжением нескольких месяцев отдыха, пересмотра

прошлого и сбора вещей. Мне казалось, что я не поднимаюсь в Израиль, а спокойно въезжаю на эскалаторе вместе со всем багажом.

Где-то через год после приезда я начала ходить на шидухи, надеясь, что с выходом замуж моя жизнь, наконец, определится.

Для начала мне объяснили, как устроена система шидуха - сватовства через посредника, принятая в еврейской религиозной среде. Оказалось, что существуют специальные люди, обычно женщины среднего возраста, которые известны как шадханийот (свахи), владеющие банком данных потенциальных женихов и невест. Их имена и телефоны легко выяснить, просто расспрашивая знакомых.

У шадханит есть специальная тетрадка, в которую она записывает основную информацию о пришедшем: возраст, образование, место рождения, род занятия родителей, степень религиозности, профессию (если есть), и ещё парочку каких-нибудь «особых примет». После чего тебя спрашивают, с кем ты хочешь познакомиться. Ты говоришь, шадханит ищет по своей тетрадке подходящих персонажей, называет тебе приметы, говорит о своём личном впечатлении. Если тебе кажется интересным один из вариантов, шадханит набирает телефонный номер. Традиционно (хотя не обязательно) мальчику даётся телефонный номер девочки, и он звонит ей сам, договариваясь о встрече.

После встречи каждый из участников звонит шадханит и сообщает вердикт: хочет ли он продолжать встречи (то есть, собеседник понравился) или не хочет, если, соответственно, не понравился. Получив обратную связь от обоих, шадханит перезванивает каждому и передаёт – хочет партнёр следующую встречу или нет.

Таким образом, на шадханит лежат две главные задачи: предоставить тебе информацию о потенциальных партнерах из числа тех, кто обращался к ней, и служить посредником в переговорах. В роли посредника шадханит может передавать телефоны, назначение места встречи (если молодые люди не хотят предварительно разговаривать), иногда предоставление места для встречи у себя дома, впечатление партнеров друг о друге и, самое главное – отказы. Замечу, что по моему личному опыту возложить эту нелегкую задачу на постороннего человека - во многих случаях буквально спасает.

Процедура с виду была простой, и я пошла к шадханит. В гостиной стоял низкий столик и два мягких кресла. Ги́ла принесла бутылку с водой, два стакана и обычную тонкую тетрадку. Это была женщина лет сорока пяти со спокойным лицом и внимательными глазами. Открыв чистую страницу, она начала расспрашивать и записывать. Надо сказать, что, побывав после неё ещё у трех шадханийот, я поняла смысл этих вопросов, на которые сначала даже не обратила внимание.

Возраст, понятно, обозначает возрастную группу. Считается, что следует знакомить людей с разницей в пределах пяти лет, если «заказчик» не говорит что-то другое.

Место рождения означает не только возможность найти земляков, хотя это тоже считается преимуществом. Различаются выходцы из маленьких городков и деревень, средних городов, Москвы и Петербурга. Статистика, которой в избытке располагают и охотно обмениваются шадханийот, гласит, что всегда лучше знакомить «подобное с подобным». Однако успешным может оказаться вариант любого союза, кроме одного. Ну, вы уже догадались. Кроме союза Москвы и Петербурга. Таких браков, тем более устойчивых, очень и очень мало.

Образование и род занятий родителей определяют, если можно так выразиться, культурно-социальную прослойку. Технари, гуманитарии, с высшим образованием, без высшего образования, интеллектуалы или практики. Заодно выясняются дополнительные, но не менее важные детали. Например, вырос ли потенциальный кандидат в полной или неполной семье, есть ли у него братья-сёстры и какова их судьба. Это говорит об общей «благополучности» семьи, откуда вышел кандидат и (что ещё более важно) – о его семейном опыте.

Это что касается происхождения. Дальше идут уже вопросы личной биографии.

Образование кандидата и его профессия, если есть. Работает ли в данное время, или учится, или просто дома сидит. Этот пункт, определяющий в материальном положении, поэтому особенно важен он в отношении мужчины. Проще говоря, если предполагаемый кандидат вырос с мамой, живёт с ней по сей день (а ему уже 31) и целыми днями учится в ешиве – можно вообразить, какой он себе представляет свою семейную жизнь.

Опыт создания собственной семьи, если есть. Здесь тоже имеет значение подобие. Считается, что если девушка ещё не бывала замужем, то «зачем ей вдовец или разведенный?» К разведенным вообще отношение осторожное, ведь причины точно выяснить практически невозможно. Ещё более осторожно относятся к детям. Если кандидат – женщина с ребёнком, то ее может взять в жены только тот, кто готов на это изначально. А если кандидат платит алименты, то это означает постоянное затруднение в его материальном положении плюс то, общается ли он с первой семьей, или нет. Кроме того, подозрение вызывает мужчина в возрасте старше 30 лет, который ещё ни разу не был женат, или женщина, которая разводилась к этому возрасту два раза или больше (с такой могут побояться связываться).

«Кама зман ата ба-арец?» («сколько времени ты живешь в Израиле?») – один из первых вопросов, задаваемых при знакомстве с любым эмигрантом. Здесь он имеет опять же материальную подоплеку. Человек, проживший в Израиле десять лет и больше, скорее всего, уже имеет постоянную работу, машину, и копит на квартиру.

Следующий блок вопросов касается религиозности. Напоминаю, речь идет не просто о религиозных евреях, а о бывших «русских», которые сделали тшуву и стали религиозными раньше или позже. Учились ли в специальных религиозных заведениях, имеют или не имеют своей твердой позиции по этому вопросу, и так далее. Поэтому шадханит тщательно изучает в подробностях каждый конкретный случай.

Недостаточно сказать «я соблюдаю все заповеди», чтобы оказаться записанным в ряды религиозных. Значение имеет еще и степень твоей готовности быть частью религиозного общества. Например, могут спросить, есть ли у тебя свой раввин. Наличие раввина говорит о готовности человека к уважению галахического авторитета, а также о принадлежности к определенной общине или хотя бы определенному направлению в иудаизме. Если у человека нет собственного раввина, это означает, что он хочет жить «сам по себе», то есть в неоднозначных случаях искать или придумывать галахическое решение самостоятельно. Особенно это актуально знать в отношении мужчин: традиционно для женщины ее «раввином» может вполне выступить муж.

Далее вас спросят, сколько времени вы соблюдаете, и – с особо пристальным вниманием – где и у кого вы учились законам и Торе. Иногда бывает достаточно назвать место или имя преподавателя, чтобы шадханит прекратила все расспросы на эту тему и перешла к главному: выбору кандидата.

Встреча должна проходить не где попало – это должно быть обязательно открытое людное место, или квартира самой шадханит (при условии, что она сама находится дома, и дверь в вашу комнату остается приоткрытой). По моему опыту, лучше всего для этой цели подходят лобби гостиниц: много места, мягкие сидения со столиками, где легко можно уединиться, оставаясь на виду. Тут можно провести всю встречу, или через некоторое время, по обоюдному решению, отправиться в другое место.

Основных правил поведения на первом свидании несколько: вести себя по возможности спокойно и естественно, говорить о себе только хорошее, не требовать от собеседника подробностей. В остальном всё получается индивидуально.

Надо сказать, что в моем личном опыте попадалось немало любопытных вариантов. Еще раз напомним, что речь шла исключительно о русских баалаей тшува – то есть, о тех, кто стал религиозным сознательно и в зрелом возрасте. Один парень, к примеру, принес на первое свидание длинную, пунктов на двадцать, анкету, и предложил ответить на вопросы. Пообещав, впрочем, взаимность. Я от удивления тут же согласилась, после чего некоторое время послушно отвечала что-то про любимый фильм, оказавшую самое больше влияние книгу, желанное количество детей и отношение к животным. Отмечу, кстати, что ни одного вопроса по религии задано не было, хотя парень вполне религиозный. Другой молодой человек сказал, что ищет себе обязательно еврейку с двух сторон, потому что его дедушка считает это важным. Один сразу повёл меня в хороший ресторан, другой – в забегаловку на центральной автобусной станции. С одним мы весело поболтали о русском роке, с другим – о религиозных задачах мужчины и женщины в семье.

Однажды вообще получилось грустно и трогательно. Мы как-то сразу ощутили взаимное доверие и, отбросив условности, перешли на более личные темы. Тут оказалось, что этот тридцатипятилетний мужчина всего полгода назад пережил тяжёлый развод, а у жены осталась

маленькая дочка, о которой бедняга вспоминал через каждые десять слов. Рабаним (раввины) колеля, где он жил и учился, буквально выгнали его на шидухи силой, настаивая на следующем браке, к которому бедняга совершенно не был готов.

Свидание на скамейке в тихом зелёном скверике медленно и плавно переросло в психологическую консультацию. В конце он сказал, что собирается отстоять у рабаним право на залечивание душевных ран хотя бы ещё полгода, и с благодарностью принял у меня телефон хорошего психотерапевта. Надеюсь, у этого человека всё сложилось благополучно.

Осенью 2006 года я вернулась в Иерусалим, поселившись в одной квартире с подругой. Я ходила на уборки, оплачивая свою половину за жильё и хозяйство, подруга училась в университете и работала, а в свободное время мы общались.

По вопросам быта договорились сразу же: посуду мы не делим и не кашеруем, ограничиваемся тем, что не покупаем откровенно некашерных продуктов и не едим молочное и мясное в одной трапезе. На шабат мы делали символический кидуш, что-нибудь готовили и старались не пользоваться электричеством.

Время, которое мы прожили вдвоём, оказалось для меня целительным. Впервые за очень долгое время я могла чувствовать себя в полной безопасности и отдохнуть. Меня понимали, принимали и готовы были вести бесконечные разговоры о смысле жизни - это ли не счастье!

Так что жизнь я пересмотрела всю, от начала до конца. Честно признала, что в религию шла исключительно в надежде решить какие-то свои личные проблемы, или того хуже – ради авантюры. По абсурдности это - как выходить замуж, чтобы было кому гвозди забивать. Или чтобы в платье покрасоваться. Проблемы, конечно, не решились - такой-то ценой! Зато теперь я могла поискать другие пути решения, более простые, приятные и подходящие лично для меня.

Через полгода я впервые за долгое время отправилась отмечать Новый Год к знакомым, надев брюки, и внутренне готовая к новой жизни. На этой вечеринке я встретила своего будущего мужа, который родился в религиозной семье, несколько лет назад бросил соблюдение и тоже искал себя в светской жизни. Так что мы нашли друг друга в нужный момент.

Отношения завязались быстро, а поскольку к соблюдению заповедей молодой человек относился отрицательно, я быстро и окончательно всё забросила.

*Кстати, мужа я искала, руководствуясь советами рава Вайса.*

*– Первым говорит тело. Если тело сказало «нет» – значит, нет, и это окончательно. Если тело сказало «да» – нужно попросить его отойти в сторону и пригласить разум.*

*Ищи человека богатого. Не в смысле денег, хотя это тоже хорошо. Он должен быть богат внутренне настолько, чтобы обходиться без тебя. Когда партнёр говорит «я не могу без тебя жить», это сначала сладко, потом горько.*

*Когда долго выбираешь партнёра, на что это похоже? Это как если ты стоишь в магазине игрушек, каждая из которых стоит доллар, а у тебя как раз нужная сумма в кармане. И пока она остается в кармане, тебе принадлежит весь магазин. Но приходит момент, когда нужно сделать выбор. После которого у тебя уже не будет доллара, и будет только одна игрушка. Это очень обидно, очень страшно.*

*Но однажды тебе придется уйти из магазина с чем-то одним.*

Сегодня я замужем за любимым мужчиной, у нас две очаровательные дочери. Живем в Кфар-Сабе, красивом светском городе, и ведем светский образ жизни. В доме не бывает свинины и морепродуктов, я не готовлю и не ем смешанные блюда. Еврейские праздники мы проводим в доме соблюдающих родителей мужа. А если остаёмся дома, не делаем ничего, относящегося к празднику. Исключение составляет Песах: я убираю квартиру, хотя и не так тщательно, как следует, и не впускаю в дом хлебные продукты.

Моя нынешняя жизнь однозначно хороша! В ней есть любовь, семья, самореализация. Присутствует всё настоящему ценное. Как ни парадоксально звучит, но только оставив религиозный образ жизни, я получила то самое счастье, которое мне обещалось.

### На краю бездны

*(Жизнь религиозного еврейства оккупированной Польши. 1939-1942. Из записных книжек раввина)*

Раввин Шимон Хубербанд (1909-1942), родившийся в польском городе Петроков (Петркув-Трыбунальский), еще до войны зарекомендовал себя как талантливый историк-любитель. Его монография «Еврейские врачи Петрокова с XVII века до наших дней» публиковалась в Варшаве в виде серии статей, последняя из которых вышла в свет в апреле 1939 года. Она заканчивалась традиционным «Продолжение следует», однако последующие события смешали все планы.

Война застала Хубербанда в Петрокове. С первых же дней он начал вести подробные записи, посвященные жизни евреев оккупированной нацистами Польши, и, в первую очередь, ее религиозным аспектам: судьбе синагог, попыткам спасения священных книг, поведению верующих евреев, и т.д.

В 1940 году Хубербанд перебрался в Варшаву, где стал сотрудником Эммануэля Рингельблюма, создателя уникального архива Варшавского гетто «Онег шабес» («Субботний покой»). Рингельблюм высоко оценил нового сотрудника, назвав его одним из лучших своих работников. За свои изыскания Хубербанд получил премию общества еврейской культуры «Изкор».

Шимон Хубербанд разделил судьбу большинства польских евреев, однако его бумаги, к счастью, уцелели. Часть из них была переведена на английский и опубликована в 1987 году издательствами Ktav Publishing House и Yeshiva University Press.

Почему мы решили перевести часть свидетельств погибшего раввина Хундербанда. Разве мало на русском языке материалов о Холокосте, чтобы возникла необходимость в еще одном тексте?

На этот вопрос у нас есть два ответа. Во-первых, именно таких материалов - о религиозной жизни польского еврейства в первые годы войны - на русском языке практически нет, да и на других языках немного. Ибо, если тема «религия и Холокост» и возникает, то обычно это либо безудержная апологетика и пропаганда, либо, в лучшем случае, философско-теологический анализ (как, например, в книгах р. Элиэзера Берковича). С фактами и свидетельствами, увы, дело обстоит хуже. А во-вторых и в главных: почти все свидетельства о Холокосте были написаны уже после войны, то есть теми, кто уже знал, чем всё



закончится. И это «послезнание» неизбежно влияло на восприятия прошлого – даже в тех случаях, когда мемуарист не ставил целью намеренно искажать факты (такие случаи, к сожалению, тоже известны). Между тем, события, которые postfactum воспринимаются как этап окончательного решения (например, создание закрытых гетто), участниками и непосредственными очевидцами, не знающими, что будет дальше, могли восприниматься совершенно иначе. Поэтому документальные свидетельства вроде чудом сохранившихся записок р. Шимона Хубербанда - воистину бесценны.

Хотя тексты для перевода мы выбирали, исходя из выбранной тематики (уцелевшие и опубликованные записки р. Хубербанда гораздо пространнее), даже переведенные отрывки не ограничиваются только религиозными вопросами. В них есть немало бесценных свидетельств о положении польского еврейства в целом, преступлениях оккупационных властей, действиях назначенных немцами еврейских администраций... Некоторые приведенные р. Хубербандом свидетельства также помогают лучше понять динамику тогдашних польско-еврейских отношений. Словом, смеем заверить, что даже те, кто хорошо знаком с вопросом, практически наверняка узнают из приведенного текста немало нового.

### **Соблюдение и нарушение субботы**

Большинство польских городов было занято немцами незадолго до осенних праздников. Заняв город, немцы немедленно издавали распоряжение, чтобы все магазины оставались открытыми в субботы и праздники. В большинстве городов магазины работали и в Рош га-Шана, и в Судный день.

На принудительные работы евреев также забирали и в субботы, и в праздники. Еврейское население было вынуждено нарушать субботу и таким образом.

Вскоре в городах и местечках были созданы юденраты, регулирующие поставку еврейской рабочей силы для принудительных работ, а также занимающиеся всевозможными выплатами, наложенными на евреев. Члены юденратов были вынуждены работать по субботам и праздникам, поскольку и в эти дни от них требовали посылать евреев на работы. Это нанесло сильный удар по соблюдению субботы.

Затем начали расти цены. Возникла нехватка различных продуктов, что привело к дополнительному росту цен.

Множество евреев, в том числе очень благочестивых, решили, что вправе нарушать субботу, чтобы делать покупки, если появлялась возможность приобрести нужный товар. Это делалось ради спасения жизни (пикуах нефеш).

Когда «они» вторглись в Польшу, эрувы<sup>1</sup> всех городов и местечек стали непригодными. Военное положение вынудило евреев носить с собой по субботам свои документы, инструменты и другие вещи, невзирая на отсутствие эрува. Впрочем, когда были созданы закрытые гетто, окруженные со всех сторон кирпичными стенами, эти стены стали самым кашерным из всех возможных эрувов.

В городах, аннексированных и присоединенных к германскому рейху, принудительные работы сделали всеобщими. Все евреи, и мужчины, и женщины, работали семь дней в неделю. В этих местах евреи просто забыли, когда суббота. Женщины даже перестали зажигать субботние свечи. В маленьких городках осталось по одной, максимум по две женщины, зажигающие свечи. Даже в тех местах, где принудительные работы не столь суровы, многие женщины перестали зажигать свечи из-за высокой стоимости жизни.

После создания гетто нищета и голод среди евреев достигли таких масштабов, что на улицах Варшавы можно встретить седобородых евреев в традиционных еврейских шапках, просящих милостыню по субботам.

Хотя субботу соблюдают куда меньше, чем прежде, один элемент традиционной субботы, напротив, стал куда популярнее. Речь идет о чолнте, традиционном субботнем кушанье. В пятницу практически все евреи приносят в пекарни свои субботние чолнты. Популярность чолнта связана с высокими ценами и дороговизной горючего. Поскольку пекарни всю неделю пекут хлеб, невозможно воспользоваться их печами, чтобы приготовить чолнт в будние дни. Однако по субботам, когда пекари ничего не пекут, их печь используют, чтобы чолнт оставался горячим. Даже нерелигиозные евреи, не соблюдающие субботу, используют печи пекарен для чолнта. Каждую пятницу около пекарен выстраивается длинная очередь желающих поставить свой чолнт. И хотя печи очень большие, чтобы

---

<sup>1</sup> Эрув - символическое ограждение вокруг некоей территории компактного проживания религиозных евреев. Позволяет во время шабата некоторые действия (в частности, переносить вещи), которые иначе (без эрува) были бы запрещены.

расставить все горшки, уходит несколько часов... Многие пекари дают гарантию на семь злотых, если оставленный у них чолнт укрудут.

В гетто не было неевреев, чтобы зажигать огонь. Отсутствие «шабесгоев» стало серьезной проблемой. У еврея, жившего по адресу ул. Заменгофа, 7, была нееврейская служанка София Лащицка (Sophia Laszicka). София служила у него больше тридцати лет, вырастила его детей, была на их свадьбах, и практически стала частью семьи. Когда было издано распоряжение о создании гетто, пани София надела желтую повязку; она и сегодня живет в доме этого еврея. Благодаря пани Софии по субботам в гетто стало немного легче. По пятницам люди договариваются с ней о времени ее прихода, и заранее платят ей за работу. На протяжении всей субботы она обходит гетто и зажигает огонь для больных. Из-за нее евреи постоянно ссорятся, и просят зажечь для них огонь.

Также есть несколько польских контрабандистов, пробирающихся в гетто по субботам, чтобы зажигать для евреев огонь. Однако, положа руку на сердце, их очень немного, поскольку овчинка выделки не стоит, у контрабандистов есть более важные и выгодные дела.

Пани Софию и контрабандистов зовут только для того, чтобы зажечь огонь для больного, но не для того, чтобы затопить печь. Есть очень мало религиозных евреев, которые могут позволить себе разжечь печь в пятницу и оставить ее гореть на всю субботу. В результате большинство евреев страдает по субботам от жуткого холода в их жилищах.

15 апреля 1941 года было издано распоряжение относительно субботы. Немецкие власти сообщили еврейской общине, что считают, что еврейским выходным должна быть суббота, а не воскресенье, обязательный выходной в польском государстве. Еврейская община попросила освободить от субботнего отдыха евреев, перешедших в христианство. Власти сначала возражали, однако затем согласились сделать исключение для всех выкрестов.

15 апреля 1941 года стены гетто были оклеены уведомлениями об обязательном субботнем отдыхе. Распоряжение подписано главой юденрата Черняковым. Оно гласило, что распоряжение было издано в соответствие с приказом Главного бюро Варшавского округа от 20 января 1941. Распоряжение состояло из

девяти пунктов. Пункт 1 гласил: «Субботний отдых продолжается от захода солнца в пятницу в течение всей субботы, без перерывов». Пункты 2-8 перечисляли общественные учреждения, которые должны будут работать и по субботам, а так же нееврейские праздники, в которые евреи должны отдыхать. Пункт 9 устанавливал наказание за публичное нарушение субботы. За первое нарушение полагался штраф от 200 до 1000 злотых. За повторное – от двух недель до трех месяцев тюрьмы.

Когда распоряжение было издано, оно вызвало сильное возмущение еврейского населения. Действительно благочестивые евреи были против нового закона, поскольку он никак не мог изменить ситуацию с соблюдением субботы к лучшему, и даже приведет к дополнительному осквернению субботы еврейской полицией, которая будет штрафовать нарушителей субботы или брать взятки. Нерелигиозные евреи, разумеется, тоже были против.

Первые две субботы после издания распоряжения магазины действительно оставались закрытыми. Затем магазины начали понемногу открываться по субботам. Почему полицейские не следили за соблюдением закона? Потому, что брали взятки у лавочников. Воистину, новый закон пошел им на пользу!

В целом же можно сказать, что процент публично нарушающих субботу увеличился не слишком сильно. В Варшаве по-прежнему есть немало лавок, закрытых по субботам. Все еврейские учреждения по субботам официально не работают. Все рынки в гетто закрыты, о чем сообщают специальные афиши.

## Свадьбы

В силу чрезвычайных обстоятельств и всеобщего хаоса в первые три недели войны не поженилось ни одной пары. Люди просто не знали, где найти раввина.

Вскоре после этого началось массовое перемещение и бегство на восток. Тогда же возникло такое массовое явление: прежде, чем пуститься в путь, молодые пары заключали брак. Поскольку государственные учреждения не работали, не было никаких официальных свидетельств о браке. Чтобы зарегистрировать свой отъезд, пары приносили подписанную раввином записку, что они поженились по еврейскому закону.

Поскольку ехать поездом было нельзя, до границы добирались на автомобилях. Было немало случаев, когда пары решали пожениться, уже сидя в машине. В этом случае они останавливались на несколько минут, находили раввина, заключали брак и ехали дальше.

Во время войны свадьбы стали массовым явлением. Множество людей, не женившихся прежде из-за возражений родителей, поженились во время войны. Кроме того, из-за войны множество мужчин лишились жен, а множество женщин – мужей. Это также привело к новым бракам. Количество заключенных браков особенно возросло в момент переселения в гетто.

С началом войны свадьбы стали просто официальным актом, совершенно лишенным привычной радости. Свадебные банкеты и праздничные трапезы очень редки.

### Разводы

С началом войны разводов практически не стало. Это объясняется, прежде всего, тем, что в эти трудные времена люди стали вести себя более ответственно. Когда народ тонет в крови, стыдно заниматься семейными дрязгами. Кроме того, нет возможности зажить новой жизнью.

Варшавским раввинам пришлось разбирать одно интересное дело о разводе. Польский еврей, много лет проживший в Германии, был женат на арийской женщине, обратившейся в иудаизм. Вместе с другими польскими евреями они были изгнаны из Германии<sup>1</sup>. Когда они оказались в Польше, муж сбежал в Белосток, а жена и девятилетняя дочь остались в Варшаве. Будучи немкой, она обратилась к властям за помощью, и получила ответ, что до тех пор, пока она официально не развелась со своим мужем, она не сможет получить никакой помощи. Тогда она написала мужу в Белосток, и он специально приехал в Варшаву, чтобы дать жене еврейский развод.

Во время разводов произошла душераздирающая сцена. Муж, жена и дочь горько рыдали. Сразу после развода муж покинул дом раввина и вернулся в Белосток.

---

<sup>1</sup> В октябре 1938 года, когда из Германии массово депортировали польских евреев, у которых были или возникли проблемы с документами (Збоншинское выдворение).

## **Тяжбы в еврейском суде**

Во время войны появился новый тип специфических военных тяжб. Сразу по окончании боевых действий в раввинские суды было подано множество жалоб людей, отдававших на сохранение свои вещи, одежду, товары, ценности или деньги. Те, кому вещи были отданы, утверждали, что они были украдены, сгорели и т.д. Владельцы отказывались в это верить. Раввины требовали дать клятву при свете черных свечей; тяжущиеся договаривались и скрепляли договор рукопожатием.

Во время массового переселения на восток подавались иски против владельцев транспорта и организаторов, не сумевших переправить истцов через границу. Имели место тяжбы между конкурирующими контрабандистами (причем нередко – между евреем и неевреем!), а также иски против ходатаев, обещавших, за соответствующую мзду, освободить из тюрьмы, обеспечить новой квартирой или тем или иным разрешением, и т. п.

### **Вопросы, касающиеся еврейского религиозного права**

Вопросов, касающихся еврейских религиозных законов, сейчас практически не задают. Во-первых, во время войны люди позволяют себе гораздо больше, чем прежде, и не считают нужным советоваться с раввином. А во-вторых, спрашивать практически не о чем. Ритуального убоя скота не стало: у евреев гетто практически нет ни кур, ни мяса, ни молока.

С другой стороны, появилось много специфических «военных» вопросов, касающихся семидневного траура по умершему или убитому родственнику, погребения, чтения кадиша и годовщины смерти. Нужно ли устраивать пасхальный седер, если нет четырех бокалов вина или мацы? Можно ли исполнить заповедь о четырех бокалах, выпив вино, сделанное из сока, выжатого из неподслащенных виноградных ягод? Также задают вопросы, касающиеся слабых и больных. Можно ли им есть в Судный день? Можно ли нарушить субботу ради больного той или иной болезнью? Можно ли накормить больного некошерным мясом, поскольку кошерное труднее достать, и оно гораздо дороже? Один еврей задал вопрос, что ему

делать в следующей ситуации: накануне Песаха он спрятал кусок черного хлеба, чтобы съесть его после Песаха, но не сумел продать его нееврею.

*Перевёл с идиш Евгений Левин*

**Полный текст книги (в электронном виде) можно приобрести у переводчика, связавшись с ним по электронной почте или через Фейсбук:**

Levinevgeny@yahoo.com

<https://www.facebook.com/evgeny.levin.1420>

**Цена 50 шекелей. Заплатить можно:**

Бит: 054-768-57-52

PayPal: levinevgeny@yahoo.com

# ХРОНИКА ТЕКУЩИХ СОБЫТИЙ В ИЗРАИЛЬСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Андрей Зоилов

## «Понаехали тут...», или Литература и алия

Алия накатывает на Израиль волнами. «Большая алия девяностых» принесла стране более восьмисот тысяч новых граждан, понимающих русский язык. В начале XXI века так называемая (если верить «Википедии») «путинская алия» давала в среднем по пять тысяч русскоязычных репатриантов ежегодно. Пришедшая после неё свежая алия 2022-2023 года подняла высокую волну – ещё 64 тысячи потенциальных читателей. И процесс продолжается - и когда я пишу эти строки, и когда журнал окажется в руках любезного сердцу подписчика.

Литература создаётся ежедневно, последовательно, общими усилиями. Вместе с читательской массой в страну приезжают и писатели – причём отличить их от читателей в дороге практически невозможно. Лишь когда они хоть чуть-чуть обживутся, воспримут израильские проблемы как свои, осознают принявшую их страну как непреложный фактор собственного бытия, введут в сознание и в текст понятия, присущие окружающей действительности, и опубликуют здесь свои новые опусы, - только тогда злобные критики, ревнивые собраты и добродушные покупатели книг причислят их к лику русско-еврейских литераторов.

И литература, и алия напоминают свет: это волновой процесс, состоящий из бесчисленных отдельных частиц-квантов. Квант света – фотон, регистрируемый глазом. Квант алии – репатриант, регистрируемый министерством абсорбции и интеграции. Квант литературы – книга, выпущенная типографией, или текст, размещённый в Интернете. Квант войны – каждый солдат и каждый разрушительный снаряд, бомба, ракета.



При чём тут война? Какое непосредственное касательство война имеет к литературе? Ведь литература, как и алия, процесс созидательный, гармоничный, улучшающий жизнь, а война – процесс разрушительный, деструктивный, дисгармоничный. Тем более что битвы происходят довольно далеко от Израиля. Война для тех, кто в ней не участвует – это всего лишь горестная вежа, отметка во времени: довоенные события теряют актуальность, послевоенных люди ждут с нетерпением и надеждой. Со временем в литературе появятся великолепные и правдивые произведения о войне России с Украиной; не сомневаюсь в публикации документальных материалов об истории боевых действий и протоколов суда над её зачинщиками. Но это – в будущем. А пока грядущее неясно и темно, хотя и согрето надеждой на скорую победу над агрессором.

В повседневной жизни, чтобы зажечь свет и рассеять тьму, нужно нажать выключатель, силой электричества выбивая волну фотонов из нити накаливания или неоновой лампы. Или хотя бы ударить кремнём по огниву, высекая искру. По моим наблюдениям, война в Украине послужила детонатором, инициатором, зажигалкой качественно иной, чем прежде литературно ориентированной алии. Она выбила из русскоязычного пространства и побудила перемещаться такие кванты, которые при менее жестких обстоятельствах оставались бы недвижимыми. А наглядно я ощутил это, прослушав в Израиле две бесполезные для развития литературы, но весьма полезные для понимания её механизмов лекции: главного редактора издательства «Астрель» Александра Прокоповича и бывшего руководителя филиала телекомпании НТВ в Петербурге, ныне сценариста телеканала «Россия 1» Ильи Тилькина. Обе лекции были связаны между собой лишь моим пронырливым носом. Оба лектора - продуктивные писатели, оба зарабатывают литературным трудом в России, оба выступали перед израильской аудиторией, чтобы увлечь гораздо менее удачливых местных авторов перспективой окончить платные курсы, на которых обучат творческим навыкам и литературным умениям, обусловленным занимаемой должностью. Оба в лекциях ни разу не упомянули слово «война». Оба надеются в Израиле подзаработать с помощью русской литературы. В этом желании они не одиноки. Совсем не одиноки.

У чиновников, регистрирующих кванды алии, есть такое понятие, такой профессиональный термин: «центр жизни». С его помощью можно установить, ориентирован ли репатриант на пребывание в Израиле, либо ему просто потребовался документ, чтобы при нужде заявить себя иностранцем в стране исхода. У подавляющего большинства писателей-репатриантов из прежних волн алии виртуальный «центр жизни» их литературной деятельности располагался в Израиле, в сионизме, или ещё глубже – в судьбах мирового еврейства. С новой алийей этот незримый «центр» потихоньку смещается в сторону российской парадигмы. Причём это вовсе не значит, что произведение, честно повествующее о глубинных российских нравах, достижениях и проблемах, актуальнее и предпочтительнее для публикации, чем прочие. Нет, но это значит, что к публикации охотнее и активнее принимается то произведение, которое талантливее и точнее потрафит художественному вкусу воображаемого потребителя, воплощённому в личном вкусе вышестоящего в социальной иерархии конкретного заказчика. В качестве примера - фрагмент из лекции Ильи Тилькина. Рассказав о методике написания сценария по способу «Карточного домика», востребованной на современном телевидении – сам лектор этой методикой старается не пользоваться, - и о том, как возглавляемая им группа сценаристов получила заказ на фильм о генералиссимусе Суворове, Тилькин приводит поучительный эпизод.

«Мы сидим с группой на “Мосфильме”, работаем. И вдруг заходит генеральный продюсер Российского телевидения. Заходит.

- Ага, вы здесь? Ну что, - говорит, - Тилькин, будем “Карточный домик” русский делать?

- Хотите “Карточный домик”, - говорю я, - давайте сделаем про Бориса Годунова кино! Давайте сделаем кино про царя, который вышел из-под плинтуса, который вообще никто. Который женился на дочке Малюты Скуратова, и вот эта парочка правила там Россией в течение... ну, нескольких лет.

Он сказал:

- А что вы вообще сейчас делаете?

- Да вот, проект про Суворова.

Он говорит:

- Значит, так. Этот проект закрывается, а вот этот – мы будем ставить.

Честное слово! И вот мы стали ставить про Годунова, хотя то, что получилось, никакого отношения к “Карточному домику” не имеет, естественно».

Интересно, работа под началом подобных продюсеров – это предмет гордости или несчастье?

При кажущейся на первый взгляд созидательной общности процессов, литература и алия разнородны в том, что алия общедоступна, а литература конкурентна. Писателю, желающему не только изложить свои мысли и истории пристойными словами и связными фразами, но и прославиться, зарабатывая своими умениями, приходится выдерживать конкуренцию, чаще всего заочную, с коллегами по цеху. Вот пример.

Двое моих добрых знакомых, вполне приличные русскоязычные израильские писатели, однажды, не сговариваясь, решили поехать со своими книгами на международную Лейпцигскую книжную ярмарку – по размерам вторую такую ярмарку в мире, после Франкфуртской. Встретились они прямо в Лейпциге, арендовали стенд. Дело было ещё до большой войны, хотя в Донбассе тогда уже постреливали.

Когда оба писателя вернулись в Израиль, мне показалось, что они несколько... как бы это точнее сказать? – ошарашены. Их буквально «на разрыв» приглашали выступить, их угощали, у них брали интервью, у их стенда толпились читатели. Почему такой успех? Да просто на эту ярмарку не приехало ни одно российское издательство. Санкции! И вот основными представителями великой русской литературы, о которой немецкие читатели и зарубежные гости что-то хорошее и важное в детстве слышали, - оказались вдруг два израильтянина. Ну, и ещё парочка украинских издательств, привезших на ярмарку несколько книг на русском языке – как неосновную свою продукцию.

Несомненный успех! Правда, этот побочный эффект международных санкций прервался с окончанием ярмарки.

Нынешняя война России с Украиной – при всех её ужасах, мерзостях и страданиях, которые не здесь перечислять – принесла ещё один побочный эффект. Этот эффект может показаться незначительным на фоне общей трагедии, но для людей, живущих и кормящихся русской литературой, он существенный. А именно: русскоязычная

художественная продукция сдаёт свои позиции во всём мире, утрачивает авторитет, теряет читателей – и не только среди убитых российскими же ракетами, но и среди благополучных жителей западных стран. Произведения на русском языке реже станут переводить, меньше будут ими интересоваться, меньше им доверять. У читателей, да и у многих иноязычных издателей не возникает желания разбираться в таких тонкостях, как – бежал ли автор из страны тирании, или продолжает покорно склонять шею под имперским идеологическим ярмом.

Вот ещё пример связи волн алии и наполнения литературного процесса (с позволения сказать, не считите ругательством – литературного дискурса).

«За три десятка лет нас тут собралось, по подсчёту писательской Федерации, более трехсот. Всех нас, в конце концов, объединяет еврейская тема, реже – чисто израильские реалии. Не находя в наших книжках искомого, «средний читатель» проявляет раздражение. Однажды на литературном вечере какой-то пожилой книгочей меня спросил, почему я написал «Тенти» – повесть о Киргизии, о Тянь-шаньских охотниках и пастухах: «Зачем это надо? На Тянь-Шане евреи не живут!» Это наивный и смешной пример, но достаточно характерный.

...Литература изначально предусматривает не одноразовую, пусть даже относительно яркую вспышку, а длительный развивающийся процесс, литература продолжает самоё себя и так переходит из поколения в поколение. А мы представляем собою собрание отдельных писателей, и то, что ошибочно называют «израильская литература на русском языке», уйдет вместе с нами и закончится – до следующей волны алии, которая принесет с собой новых писателей. Но похоже на то, что не будет никакой волны – одни брызги.

“Семидесятники” допустили в свое время интересную ошибку: они были уверены, что новая, мощная волна алии, которую все в Израиле с такой надеждою ждали, даст писателям сотни тысяч новых читателей, и литературные тиражи возрастут многократно. Пришла Великая алия-90, но тиражи остались на прежнем уровне: поэзия – 400–500 экземпляров, проза – 1000. Новые репатрианты, приехавшие из другой России, привезли с собой новых писателей – других. Эти другие писатели, хорошо разбирающиеся в живой проблеме спонсоров, тусовок и бандитских разборок посреди бела дня, куда ближе

интересам и пониманию репатриантов 90-х годов, чем ретрограды-«семидесятники». Эта характеристика, пожалуй, не относится напрямую к религиозным писателям – их творчество все же отличается неизменной основой, а злободневные реалии являются не более чем своего рода убогим украшательством».

Это написал классик современной русско-израильской литературы Давид Маркиш; опубликован приведенный текст в интернет-журнале «Лехаим» в январе 2001 года. Написано более двадцати лет назад, но актуальность лишь возросла. Вот только цифры изменились. «Брызги» стали новой волной алии. Внимательный исследователь сможет насчитать не только «более трехсот», но не менее тысячи русскоязычных израильских авторов по всей стране. Тиражи не остались на прежнем уровне, но успешно снизились. Типичный сегодня тираж для книжки поэзии – 100 экземпляров, прозы – максимум 300. Как заметил по аналогичному поводу другой классик русско-израильской литературы покойный Михаил Генделев: «Пишет – значит писатель. Пишут – значит литература. А много пишут – большая литература»<sup>1</sup>.

Главный редактор издательства «Астрель» Александр Прокопович уверяет, что тираж менее двух тысяч экземпляров экономически невыгоден. По его словам, возглавляемая им редакция выпускает 30 книжек в месяц, то есть в среднем по книжке в день. И это только в Петербурге и только на бумаге; не учитывая интернет-изданий. У досужего слушателя немедленно возник вопрос: «Что же вы при такой высокой производственной нагрузке делаете в Израиле?» На что лектор невозмутимо ответил: «Я здесь живу».

Чем же ответит литературный Израиль? Вот что сообщает местный информационный портал «Вести» (в недалёком прошлом – газета) в заметке<sup>2</sup>, опубликованной 8 июля 2022 года:

«Книжный рынок Израиля насыщен новинками. В 2021 году, согласно Book Report, в Израиле было издано 7344 книги. Это больше, чем в 2020-м (6487 книг), но пока меньше, чем в два доковидных года, когда ежегодно выходило в свет свыше 8 тысяч книг.

---

<sup>1</sup> В Интернете: [www.gendelew.org](http://www.gendelew.org).

<sup>2</sup> В Интернете: <https://www.vesty.co.il/main/article/rymsr4d95>

подавляющее число книг, изданных в 2021 году в Израиле, выпущены на иврите - 91,4%. Число книг на русском составляет всего 0,6%, на арабском - 2,2%, на английском - 4,8%.

Возникает вопрос: в Израиле проживает свыше 1 млн русскоязычных евреев, это более 10% граждан страны. Но при этом издаваемая на русском языке художественная литература составляет всего 0,6%. Почему так?

"Отличный вопрос, - реагирует Нахум Зиттер, директор информационной службы Национальной библиотеки Израиля. - Одна из причин в том, что многие русскоязычные репатрианты достаточно интегрированы в израильское общество. К примеру, я переехал в Израиль параллельно с большой алией из СССР и свободно пишу на иврите".

Однако более вероятной причиной Нахум Зиттер называет то, что такие книги в массе своей импортируются. По его словам, то же явление наблюдается в арабской среде Израиля».

Обоснованно смею заявить, что данные информслужбы Национальной библиотеки о русскоязычных израильских книгах неточны, так как очень многие вышедшие из типографий книги в неё просто не попадают. Библиотека не проявляет никакой заинтересованности в приобретении или даже в бесплатном получении новых книг на русском, несмотря на существующий в Израиле нечёткий и совсем не строгий в исполнении «закон об обязательном экземпляре». Впрочем, тенденции литературного процесса останутся прежними, независимо от того, какую долю составляют издания на русском в общеизраильской книжной массе: 0,6% или 2,6%.

Две специфические особенности заметны в русско-израильской литературе: сдвиг авторского импульса от обязательного процесса к развлекательному для самого писателя; и существенное постарение среднестатистического автора.

Автором – что бы он ни сочинял – движет некий побуждающий к творчеству психологический импульс. Можно назвать его талантом или служебными обязанностями, гонораром или желанием прославиться, поиском истины или сложным и неопишуемым комплексом чувств – от этого суть явления не меняется. Труд и развлечение – явления разнородные, хотя и не взаимоисключающие; суть труда – производство, суть развлечения – потребление. Писатель выступает в роли

изготовителя особого набора и механизма сочетания слов и фраз, именуемого литературным произведением, издатель-популяризатор – в роли логистической цепочки распространения этого товара, читатель – в роли потребителя. Если на уровне издателя и читателя спрос поддерживается – у автора возникают некоторые обязательства, появляются требования к параметрам произведения и производства: жанр, сроки, объёмы, техника изготовления. Если же этот спрос разрушается, исчезает – автор лишается дополнительных побуждающих к работе стимулов и вынужден сам себе служить и заказчиком, и приёмщиком продукции. Утрачивается связь с потребительским сообществом. В этих условиях многие авторы склоняются к изготовлению текста, идеи и посылы которого способны потешить в первую очередь самого производителя; и лишь потом задаются безответным вопросом: какой предполагается дальнейшая судьба этой потехи?

Подавляющее большинство говорящих по-русски израильских писателей получило образование и прошло писательское становление на русскоязычной территории. Репатриация привела их в Израиль зрелыми людьми. По очень приблизительной статистике, в стране насчитывается около миллиона граждан, говорящих по-русски. Местные писательские объединения охватывают примерно 300-400 человек - включая и тех, кто числился, но перестал платить членские взносы. Примерно вдвое большее количество авторов регулярно создаёт свои опусы, не нуждаясь в формальном объединении. Получается одновременно чуть более тысячи писателей, – то есть один на тысячу говорящего по-русски населения. Их имена можно обнаружить, сведя воедино странички с содержанием местных литературных журналов, альманахов, сборников и литприложений к газетам. Проделав эту титаническую работу и вычеркнув из списка тех, кого уже нет с нами, мы обнаружим, что приблизительно каждый второй из оставшихся в живых - старше 70 лет.

Представим себе российский город-миллионник. Провинциальный город. В нём есть приблизительно тысяча писателей, причём возрастное распределение их таково же, каково оно в других городах. Если условно перенести этот воображаемый город в Израиль, то будет заметна особенность: все писатели внезапно постарели на 25-30 лет, тогда как неписателей такое постарение не коснулось. Слесари и полицейские, музыканты и художники, генералы и повара подрастают в городе и по потребности общества пропорционально рекрутируются из его жителей, но вот

писателей приносят только волны алии – как детей в селе приносят аисты.

Конкуренция плодотворна для экономики и профессии в целом, но может создать затруднения в жизни для каждого экономиста и профессионала в отдельности. Кванты новой алии, закалённые и напористые, готовы занять командные высоты, с которых их выбила злая судьба или грязная политика в стране исхода. Что ж, милости просим! Учите желающих тому, как занять места, которые вы покинули. У старшего поколения есть надёжный щит – история русской литературы в Израиле. И в ней немало славных имён, с которыми придётся познакомиться тем, кто в эту литературу ныряет.

*Дина Рубина, Игорь Губерман, Юлий Ким, Роман Тименчик, Григорий Канович, Ицхак Мерас, Рахель Баумволь, Рената Муха, Эфраим Баух, Мира Блинкова, Лия Владимирова, Рафаил Нудельман, Нина и Александр Воронели, Савелий Гринберг, Михаил Вайскопф, Руфь Зернова, Рина Левинзон, Анатолий Алексин, Юрий Милославский, Андрей Дементьев, Феликс Кривин, Эдуард Тополь, Феликс Кандель, Давид Маркиш, Майя Каганская, Марк Галесник, Владимир Лазарис, Зеэв Бар-Села, Анна Горенко, Дора Штурман, Игаль Городецкий, Давид Малкин, Михаил Хейфец, Яков Цигельман, Пётр Люкимсон, Владимир Добин, Александр Верник, Илья Бохштейн, Александр Воловик, Алекс Тарн, Песах Амнуэль, Леонид Левинзон, Юлия Винер, Владимир Глозман, Борис Камянов, Давид Цифринович-Таксер, Сергей Баумштейн, Светлана Шенбрунн, Ирина Васюченко, Георгий Зингер, Михаил Федотов, Георгий Седов, Виктор Панэ, Александр Гольдштейн, Марьян Беленький, Давид и Яков Шехтеры, Игорь Бяльский, Семён Злотников, Михаил Генделев, Григорий и Эли Люксембурги, Михаил Ландбург, Михаил Зив, Моше Винокур, Ян Гальперин, Юрий Моор-Мурадов, Леонид Финкель, Михаил Юдсон, Сергей Каплан, Марк Котлярский, Вера Горт, Алекс Мух, Павел Лукаш, Александр Карабчиевский, Лев Беринский, Лев Меламид, Геннадий Беззубов, Эдуард Кузнецов, Сергей Баев, Арье Вудка, Яков Сусленский, Михаэль Юрис, Александр Бараш, Саша Канес, Виктор Голков, Пётр Межурицкий, Дмитрий Аркадин, Инна Шейхатович, Александр Любинский, Александр Борохов, Евгений Коган-Шварц... Вашу фамилию вписать?*

О каждом из них можно написать восторженную статью или даже книгу – в случае, если этот восторг будет достойно оплачен. Но пока такой оплаты не видно...



**Роман Кацман**  
**Елена Промышлянская**  
**Алексей Сурин**

**Дневник событий русско-израильской литературы**  
**Январь-март 2023**

*В полном объеме дневник публикуется на сайте кафедры еврейской литературы Университета им. Бар-Илана по-русски и на иврите (<https://hebrew-literature.biu.ac.il/en/diary>).*

**11 января 2023**

В Иерусалимской городской русской библиотеке состоялась презентация 15-го выпуска альманаха «Огни столицы», издаваемого Содружеством русскоязычных писателей Израиля «Столица». В номере опубликованы стихи Бориса Камянова, Зинаиды Палвановой, Владимира Ханана, Юрия Фридмана-Сарида и Евгении Босиной. Раздел прозы составили произведения Галины Миневич, Ирины Мороз, Галины Свиденской и других авторов. В рубрику «Эссе, статьи, воспоминания» вошли, в частности, тексты филолога и востоковеда Константина Бондаря, специализирующегося на изучении еврейско-славянских отношений, воспоминания писателя и бывшего редактора радио «Коль Исраэль» Леи Алон (Гринберг), эссе публициста Татьяны Лившиц-Азас. Альманах «Огни столицы» издается в Израиле с 2005 года. Редколлегию издания возглавляет Борис Камянов.

**18 января 2023**

В синагоге «Нахлат Яков» состоялась встреча русскоязычной еврейской общины Иерусалима с писателем Яковом Шехтером. Вечер был посвящен традиции повествования хасидских историй и презентации книжных новинок автора: сборника рассказов «Есть ли снег на небе» (2022) и романа «Хождение в Кадис» (2022). В завершение вечера состоялась автограф-сессия.

**20 января 2023**

В Бат-Яме состоялась встреча, посвящённая выходу в издательстве "Beit Nelly" нового выпуска альманаха "Литературный престиж". Главным редактором выпуска

является Марина Харитонова. В новом выпуске публикуются произведения израильских и зарубежных прозаиков и поэтов.

### **20 января 2023**

В Израиле скончался писатель, поэт, драматург, переводчик и сценарист Григорий Канович. Канович родился в 1929 году в городе Ионава (Литва), окончил историко-филологический факультет Вильнюсского университета, публиковался в советской печати с 1949 года. Проза Кановича главным образом посвящена жизни литовского еврейства, его прошлому и настоящему, попыткам воссоздать традиционный мир и духовную жизнь восточноевропейского еврейства. До репатриации в Израиль в 1993 году писатель издал восемь романов, несколько сборников повестей и рассказов, три сборника стихов, стал автором около 30 пьес и киносценариев (некоторые в соавторстве), переводил прозу с литовского языка и идиша на русский язык. После алии вышли книги Кановича «Шелест срубленных деревьев» (1997), «Продавец снов» (1999), «Лики во тьме» (2002), «Очарование сатаны» (2009). В 1997 году в журнале «Октябрь» печатался роман Кановича «Парк забытых евреев» (№4-5). В 2014 году в Вильнюсе вышло пятитомное собрание избранных сочинений Григория Кановича с параллельным переводом на литовский язык. В 1989-1993 годах Канович возглавлял еврейскую общину Литвы, избирался народным депутатом СССР от Литвы (1989-1991). Канович удостоен ордена Великого князя Литовского Гедиминаса (1995) и других государственных наград Литвы. Книги писателя переведены на 13 языков, включая английский, литовский, немецкий, иврит, французский, чешский, польский и венгерский.

### **26 января 2023**

В Доме Ури Цви Гринберга в Иерусалиме состоялась презентация 67-го выпуска "Иерусалимского журнала". Этот номер вышел на иврите и посвящен переводам ранее опубликованных в журнале произведений. Инициатива проекта принадлежит Игорю Бяльскому, а после его смерти работа была продолжена его коллегами по "Иерусалимскому журналу" Леонидом Левинзоном, Викой Ройтман и Кариной Линецки. Вечер проходил на иврите, его вели Вика Ройтман и Карина Линецки.

В первой части вечера состоялась беседа с переводчиками, которые участвовали в работе над номером: Полиной Брукман, Ионой Гонопольским, Ритой Коган, Валерией Михайловской и Хагит Бат-Элиэзэр. Беседу вел Асаф Барки. Во второй части вечера свои произведения прочли Нахум Виленкин, Рита Коган, Леонид Левинзон, Дина Маркон, Семен Крайтман, Вика Ройтман, Юлия Сегаль, Йона Гонопольский, Виктория Райхер, Карина Линецки, а также другие авторы и переводчики.

### **29 января 2023**

В книжном магазине-кафе "Маленький принц" в Иерусалиме состоялась презентация 40-го номера журнала "Двоеточие" (редакторы Гали-Дана Зингер и Некод Зингер), посвященного поэзии военного времени. Вечере приняли участие Сергей Лейбград, Екатерина Захаркив, Илья Аросов, Геннадий Каневский, Евгения Вежлян, Кирилл Азерный, Дмитрий Герчиков, Анна Соловей, Евгений Никитин.

### **17 февраля 2023**

В Израиле вышел 24-й номер журнала "Артикль". В номере опубликована проза Давида Маркиша, Нателлы Болтянской, Ивана Давыдова, Ирины Лемешевой, Якова Шехтера, поэтические подборки Бахыта Кенжеева, Дмитрия Быкова, Елизаветы Михайличенко, Кати Капович, Владимира Ханана, Алексея Сурина и других авторов. Также в номер вошли переводы произведений современных ивритских авторов: два рассказа Этгара Керета и рассказ Рои Ешуруна "Overqualified".

### **21 февраля 2023**

В Иерусалимской русской городской библиотеке состоялась презентация первого и второго номеров израильского литературного альманаха «Тайные тропы». В презентации приняли участие авторы альманаха, а её гостями стали писатели Дина Рубина и Марк Галесник. Альманах «Тайные тропы» был создан в 2022 году, его основатель, издатель и главный редактор – глава издательского дома «Знак:пресс» Барух-Александр Плохотенко. «Тропы» определяют себя как «альманах литературы и искусств русскоязычного мира», который объединяет авторов, пишущих на русском языке по всему миру. Первый номер альманаха составили стихи Бахыта

Кенжеева и Марины Бирюковой, проза Ирины Горелик и Владимира Горбачева, литературная критика и эссе Светланы Кековой, Наума Резниченко, Юрия Санберга и других. Во второй номер издания вошли статьи исследователей литературы Зеева Бар-Селлы и Олега Кеманова, стихи Кати Капович, Ирины Евса и Александра Габриэля, повесть Эллы Митиной, первая часть фантастического романа Владимира Горбачева «Погружение», а также ряд эссе, посвященных творчеству Михаила Булгакова.

### **23 февраля 2023**

В тель-авивском Музее еврейского народа АНУ прошла презентация книги «Разорённый дом», вышедшей в израильском издательстве «Книга-Сэфер». В неё вошли тексты, написанные в первые недели и месяцы войны молодыми начинающими литераторами и сценаристами, вынужденными бежать из Украины. Книга издаётся в содружестве с киевским издательством «Друкарский двор Олега Федорова». Тираж будет напечатан в Израиле, Украине и Польше. Прибыль от продажи книг будет передана в израильский фонд «Israel4Ukraine» - организации, занимающейся помощью беженцам и их эвакуацией. Составителями книги стали писатель и историк литературы Наталья Громова и сценарист Владимир Громов.

\*

В Доме Ури Цви Гринберга состоялся творческий вечер писателя Леонида Левинзона. Автор романа «Дети Пушкина», сборников рассказов «Количество ступенек не имеет значения» и «Ленинград-Иерусалим» прочел свои новые и старые тексты, рассказал о том, когда и зачем к нему приходит муза, а также ответил на вопросы зала.

\*

В Иерусалимской русской городской библиотеке прошло заседание «Иерусалимского клуба библиофилов», посвященного выходу книги «От Шолом-Алейхема до Бунина» – первого тома из серии книг «Русская история и культура в архивах Израиля». В заседании приняли участие главный редактор серии, профессор Еврейского университета Владимир Хазан, профессор Рижского Свободного университета Анна Клятис и д-р Елена Румановская из Еврейского университета в Иерусалиме.

В первую книгу серии вошла обширная переписка Шолом-Алейхема с писателем Александром Амфитеатовым; неизвестные воспоминания Александра Федорова о Владимире Жаботинском; новые материалы из архива отца и сына Шоров: выдающегося музыканта и музыкального педагога Давида Соломоновича Шора и историка философии и культуролога Евсея Давидовича Шора; переписка Ивана Бунина с еврейским писателем Залманом Шнеуром; статья о творчестве близкого друга Анны Ахматовой художника Бориса Анрепа.

### **1 марта 2023**

Вышел новый, шестой номер журнала ROAR, посвященный годовщине начала войны в Украине. В колонке редактора основатель сетевого издания Линор Горалик объявила, что теперь ROAR расшифровывается не как Russian Oppositional Arts Review или «Вестник русскоязычной оппозиционной культуры», а как Resistance and Opposition Arts Review или «Вестник антивоенной и оппозиционной культуры». Решение убрать из названия слово «русскоязычный» вызвано публикацией в 6-м номере журнала поэмы «Конго» украинского поэта Влада Петренко на украинском языке и в авторском переводе на русский язык. Горалик также отметила, что для журнала будет «честью и дальше публиковать работы наших украинских коллег на украинском языке - с переводом на русский язык или без него, по их желанию». Что касается содержания номера, то, помимо поэмы Петренко, в его поэтический раздел вошли стихи Андрея Родионова, Ивана Цуркана, Анны Русс и других. Раздел прозы представлен рассказами Марии Бурас, Марианны Лаптевой, Булата Ханова, а также «радиопьесой для шести голосов с гобоем» под названием «Хроники недовесны» от автора, пишущего под инициалами М.(К.)Б. В разделе «Арт» опубликована подборка фотографий поэта и переводчика Гали-Даны Зингер под названием «Украинский флаг в Иерусалиме».

### **6-7 марта 2023**

В Музее еврейского народа АНУ состоялся фестиваль детской книги «В чемодане». Свою книжную продукцию представили российские издательства «Самокат», «Арка», «Белая Ворона», «Абрикобукс», «Розовый Жираф», «Альпина.Дети», а также израильское издательство «Библиотека Михаила Гринберга». В рамках фестиваля

прошли презентации книг израильских авторов, вышедших в переводе на русский язык - Рои Хена и Янеца Леви, а также состоялись встречи с русско-израильскими авторами: Линор Горалик, Машей Дубовой, Еленой Горовой. Кроме этого, программу фестиваля наполнили многочисленные мастер-классы, спектакли и экскурсии для детей и родителей.

### **15 марта 2023**

В Иерусалимской русской городской библиотеке состоялась презентация сборника пьес русско-израильских авторов «Драматургия без границ», составителем которого стала искусствовед Злата Зарецкая. В рамках презентации Зарецкая рассказала о драматургах, чьи произведения составили книгу: Александре Радовском, Елене Улановской, Марке Галеснике и других. Также некоторые сцены из пьес сборника были прочитаны актерами израильских театров.

### **23 марта 2023**

В тель-авивском книжном магазине «Бабель» состоялся творческий вечер Семёна Крайтмана. Поэт прочел стихи из своей второй книги «...снова о готике», вышедшей в 2021 году. Первая книга стихов Крайтмана «про сто так» вышла в Иерусалиме в 2015 году.

### **28 марта 2023**

В московском издательстве «Эксмо» вышел новый сборник рассказов Дины Рубиной «Эмиграция, тень у огня» (книга датирована 2022 годом). В него вошли опубликованные ранее тексты, объединенные темой эмиграции. Среди них такие известные рассказы, как «Камера наезжает!», «Яблоки из сада Шлицбутера», «Наш китайский бизнес», «Итак, продолжаем!».

## **БОНУС ТРЕК**

**Феликс Чечик**

### **За столом**

Сохранил, — не любой, но ценой —  
в сердце, будто ребёнок игрушку:  
стол обеденный, шкаф платяной,  
рамы сдвоенные, раскладушку.  
За столом, как во сне — наяву:  
папа, мама, пирог в три объёма  
нафталиновый запах в шкафу,  
скрип ночной, между рамами вата.  
Пусть куражится Белая Русь  
и Великая — сдуру и спьяну —  
я туда ни за что не вернусь.  
Впрочем, это им по барабану.  
Барабань! Барабань! Барабань!  
Днём летальным, водицей ли талой,  
перешедшим границу за грань —  
далеко им обеим до Малой!  
Зимний дождь барабанит в окно.  
Летний снег в ритме вальса кружится.  
Прямо в небо ж/д полотно!  
На перроне любимые лица!  
Машинист — без фуражки и прав.  
Проводница — дорожная скука.  
И гуськом: раскладушка и шкаф,  
рама, стол, да любовь и разлука.

## *АВТОРЫ НОМЕРА*

**Мадина Глостанова** – прозаик, профессор университета Линшёпинга, живёт в Швеции.

**Карина Муляр** – прозаик, преподаватель изобразительного искусства, живёт в Кармиэле.

**Елена Дьячкова** – прозаик, живёт в Мельбурне.

**Давид Маркиш** – писатель, поэт, переводчик, живёт в Ор-Иегуда.

**Урмас Соос** – прозаик, начальник станции измерения космических лучей университета Оулу, Финляндия.

**Аль Затуранский** – прозаик, врач, живёт в Кирьят-Бялик.

**Святослав Марковец** – прозаик, менеджер, живёт в Улан-Удэ.

**Александр Борохов** – врач-психиатр, литератор, живёт в Иерусалиме

**Давид Шраер-Петров** – прозаик, поэт, переводчик, профессор литературы в Бостонском колледже, живёт в Бостоне.

**Яков Шехтер** – писатель, живёт в Холоне.

**Михаил Юдсон** – писатель, жил в Тель-Авиве.

**Менахем Тальми** – писатель, журналист, жил в Тель-Авиве.

**Александр Крюков** – дипломат, переводчик, профессор МГУ, живёт в Москве.

**Афаг Масуд** – прозаик, драматург, редактор, живёт в Баку.

**Анна Гедымин** – поэт, прозаик, переводчик, живёт в Москве.

**Ольга Аникина** – врач, поэт, прозаик, переводчик, эссеист, живёт в Санкт-Петербурге.

**Ирина Маулер** – поэт, художник, автор-исполнитель, живёт в Беэр-Яакове.

**Юлия Драбкина** – поэт, преподаватель английского языка, живёт в Петах-Тикве.

**Елена Кепплин** – поэт, ветеринарный врач, живёт в Сыктывкаре.

**Олег Шварц** – поэт, программист, живёт в Калифорнии.

**Марк Котлярский** – литератор, журналист, живёт в Холоне.



**Андрей Ширяев** – поэт, журналист, редактор, жил в Сан-Рафаэль, Эквадор.

**Геннадий Каневский** – поэт, живёт в Холоне.

**Евгений Сельц** – поэт, прозаик, журналист, живёт в Тель-Авиве.

**Игорь Губерман** – поэт, прозаик, автор знаменитых «гариков», живёт в Иерусалиме.

**Афанасий Мамедов** – прозаик, журналист, редактор, живёт в Москве.

**Давид Шехтер** – публицист, журналист, общественный деятель, живёт в Ришон ле-Ционе.

**Владимир Ханан** – поэт, прозаик, живёт в Иерусалиме.

**Малка Корец** – психолог, живёт в Кфар-Сабе.

**Шимон Хубербанд** – раввин, историк, жил в Петрокове.

**Евгений Левин** – переводчик, преподаватель, живёт в Иерусалиме.

**Андрей Зоилов** – псевдоним литератора, живущего в Тель-Авиве.

**Роман Кацман** – профессор кафедры еврейской литературы Бар-Иланского университета, живёт в Гиват-Шмуэле.

**Елена Промышлянская** – докторантка кафедры еврейской литературы Бар-Иланского университета, живёт в Ариэле.

**Алексей Сурин** – журналист, живёт в Иерусалиме.

**Феликс Чечик** – поэт, живёт в Нетании.

## **ГЛАВНЫЕ РЕДАКТОРЫ**

Яков Шехтер, Михаил Юдсон

### **Ответственный секретарь**

Михаил Сидоров

**Редколлегия:** Катя Капович, Анна Мисюк, Ирина Маулер, Ирина Морозовская, Давид Маркиш, Михаэль Барам, Денис Соболев, Роман Кацман, Давид Шехтер

**Корректор:** Кармит Кособурд

**Сайт журнала:** <http://www.sunround.com/article/>

**Фейсбук:** <https://www.facebook.com/TelAvivskijSetevojZurnalArtikl>

**Электронный адрес редакции:**

[articreda@gmail.com](mailto:articreda@gmail.com)

Почтовую корреспонденцию в «Артикль» можно отправлять по адресу: **Irina Mauler, Journal "Article", Beer Yaakov, Arava 76, 703000.**

Телефон: 050-9080348 (в Израиле)  
(972)-50-9080348 (для заграницы).



מרכז למורשת יהודית בית המועצה

Центр наследия  
евреев СССР

**ГОТОВЫ ЛИ ВЫ ПОМОЧЬ НОВЫМ  
РЕПАТРИАНТАМ ИЗ УКРАИНЫ?**

**АССОЦИАЦИЯ "МААЛОТ" ИЩЕТ ВОЛОНТЕРОВ  
ДЛЯ СВОЕГО ПРОЕКТА "ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ",  
ПРИЗВАННОГО ОБЛЕГЧИТЬ РЕПАТРИАНТАМ ИХ  
ПЕРВЫЕ ШАГИ В СТРАНЕ И ПОМОЧЬ СПРАВИТЬСЯ  
С ПОСЛЕДСТВИЯМИ ПЕРЕЖИТОГО ИМИ УЖАСА.**

**ЕСЛИ ВЫ ГОТОВЫ ПРОТЯНУТЬ РУКУ ПОМОЩИ  
НАШИМ БРАТЬЯМ И СЕСТРАМ – ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ:**

**[lev2lev@maalot.org](mailto:lev2lev@maalot.org)**



## **«Маалот» строит Музей наследия евреев СССР и продолжает помогать репатриантам**

«Маалот» - ассоциация (амута), созданная для реализации в Израиле проекта Музея евреев бывшего СССР и создания на его основе Центра наследия евреев бывшего СССР. Согласно первому проекту 2018 года планировалось, что Музей будет построен в Иерусалиме, но в 2023 году о выделении земельного участка под него объявил мэр города Лод Яир Ревиво.

Ассоциация «Маалот» объединила видных представителей русскоязычной общины Израиля с целью создания в Израиле Центра наследия евреев СССР.

Проект получил поддержку Натана Щаранского, министров Юлия Эдельштейна и Зева Элькина, Еврейского Университета в Иерусалиме и Музея еврейского народа в Тель-Авиве.

Создатели амуты: журналист и писатель Давид Шехтер, директор отделения славистики Еврейского университета в Иерусалиме Вольф Москович, ученый и специалист по разработке и внедрению математических моделей Марк Козенко, Президент Ассоциации творческой интеллигенции Израиля писатель Давид Маркиш, журналист Виктория Долинская, бывший участник известного джазового трио Ганелин — Тарасов — Чекасин (Ganelin Trio) Вячеслав Ганелин, актриса и одна из основательниц театра «Гешер» Наташа Манор, врач-ветеринар Михаил Шапиро.

Совет экспертов ассоциации «Маалот»: бывший посол Израиля в России Дорит Голендер-Друкер, советский активист еврейского движения, узник Сиона Эфраим (Александр) Холмянский, диссидент, отказник, узник Сиона, главный редактор издательства "Даат" Иосиф Бегун, отказник, историк и писатель Михаэль Бейзер.

В Попечительский совет амуты «Маалот» входят Яков Соскин Аркадий Майофис, Евгений Каган, Юрий Зельвенский, Евгений Белов, Евгений Бейлин.

Руководитель амуты «Маалот» - общественный деятель, журналист и писатель Давид Шехтер.

## Музей евреев бывшего СССР

«У огромной общины выходцев из СССР-СНГ, внесшей колоссальный вклад в создание и развитие Израиля, нет ни центра, ни музея, ни даже небольшого помещения, где были бы представлены какие-то материалы, посвященные роли этой общины. Ни у кого из нас нет сомнения, что такой центр необходим», - сказал в интервью международному еврейскому журналу «Алеф» Давид Шехтер.

По словам Давида Шехтера, в Музее наследия будет отдел, посвященный достижениям советских евреев в науке, искусстве, спорте. Отдельно будет освещено противостояние евреев жесточайшему государственному антисемитизму. Раздел, посвященный сионистскому движению, которое возникло на территории Российской империи и не исчезло даже в СССР, будет включать рассказ об идишистской культуре, ХАБАДе и других еврейских религиозных движениях, действовавших в подполье, несмотря на преследования НКВД-КГБ. Важной частью Музея будет экспозиция, посвященная вкладу русскоязычной диаспоры в создание и развитие Израиля. «Главная идея — борьба советских евреев за свое освобождение. Поэтому амута получила название “Маалот”. У этого ивритского слова есть несколько значений — алия, возвышение, освобождение», - подчеркивает Давид Шехтер.

Планируется, что Музей наследия евреев бывшего СССР станет культурным и исследовательским центром крупнейшей израильской русскоязычной общины. Здесь будут устраиваться представления и разнообразные культурные мероприятия, проводиться семинары и лекции.

